

**Луиджи Пиранделло
Покойный Маттио Паскаль**



**Луиджи Пиранделло
Покойный Маттиа Паскаль**

1. Первая посылка силлогизма

Я знал очень мало, а достоверно мне было известно, пожалуй, только одно: меня зовут Маттиа Паскаль. И я этим пользовался. Если кто-нибудь из друзей или знакомых до такой степени терял рассудок, что приходил просить у меня совета или указания, я пожимал плечами, прищуривался и отвечал:

– Меня зовут Маттиа Паскаль.

– Спасибо, дорогой. Я это знаю.

– И тебе этого мало?

По правде сказать, этого было мало даже мне самому. Но тогда я еще не понимал, каково человеку, который не знает даже этой малости и лишен возможности ответить при случае:

– Меня зовут Маттиа Паскаль.

Иные, пожалуй, посочувствуют мне (это ведь так легко!), представив себе горе несчастного, который внезапно узнает, что... ну, словом, что у него никого

нет – ни отца, ни матери, и что ему самому неизвестно, жил он или не жил. Конечно, такие люди начнут возмущаться (это ведь еще легче!) испорченностью нравов и пороками нашего жалкого века, обрекающего ни в чем не повинного бедняка на безмерные страдания.

Ну что ж, слушайте! Я мог бы представить генеалогическое древо, изображающее происхождение моей семьи, и Документально доказать, что я знал не только своих родителей, но и своих предков, равно как их не всегда похвальные дела в давно прошедшие времена.

А что дальше?

А вот что: все происшедшее со мной очень странно и совершенно исключительно, да, да, настолько исключительно и странно, что я решил рассказать об этом.

Почти два года подряд я был хранителем книг, вернее – охотником за крысами в библиотеке, которую завещал нашему городу некий монсиньор Боккамацца, скончавшийся в 1803 году. Нет сомнения, что этот прелат плохо знал привычки и характер своих сограждан, если питал надежду, что дар его постепенно пробудит в их душах любовь к знанию. Могу засвидетельствовать, что такая любовь не пробудилась до сих пор, и говорю это в похвалу моим землякам. Городок был так мало признателен Боккамацце за его дар, что не подумал даже воздвигнуть ему статую – хотя бы бюст, а книги много лет валялись кучей в большом сыром складе. Потом их вытащили оттуда – можете себе представить, в каком виде! – и перевезли в отдаленную часовенку Санта-Мария Либерале, где, не знаю уж почему, запрещено было отправлять богослужение. Здесь их без всяких инструкций вверили, как бенефиций или синекуру, некоему бездельнику с хорошей протекцией, чтобы тот за две лиры в сутки проводил в библиотеке несколько часов в день, глядя или даже не глядя на книги и дыша запахом тлена и плесени.

Такой жребий выпал и мне. С первого же дня я проникся настолько глубоким презрением к книгам, печатным и рукописным (например, к некоторым старинным фолиантам нашей библиотеки), что ни тогда, ни теперь ни за что бы не взялся за перо. Однако я уже сказал выше, что считаю свою историю действительно странной и даже поучительной для любопытного читателя, если он, осуществив давнюю надежду покойного монсиньора Боккамаццы, забредет в библиотеку, где будет храниться моя рукопись. Впрочем, рукопись эта может быть выдана ему для прочтения не раньше чем через пятьдесят лет после моей третьей, последней и окончательной смерти.

Ведь в данный момент (видит бог, мне бесконечно горько это сознавать!) я мертв. Да, да, я умер уже дважды – в первый раз по ошибке, а во второй... Впрочем, слушайте все по порядку.

2. Вторая посылка силлогизма (философская) вместо извинения

Мысль или, вернее, совет писать мне подал мой уважаемый друг дон

Элиджо Пеллегринотто, нынешний хранитель книг Боккамаццы, которому я поручу свою рукопись, как только ее закончу, если это вообще когда-нибудь произойдет.

Я пишу эти записки в заброшенной часовенке при свете свисающего с купола фонаря, в апсиде, отведенной для библиотекаря и отделенной от зала низкой деревянной решеткой с маленькими пилястрами. Дон Элиджо тем временем пыхтит, выполняя добровольно взятую на себя обязанность и пытаюсь навести хотя бы приблизительный порядок в этом книжном вавилонском столпотворении. Боюсь, однако, что ему не удастся довести дело до конца. Никто из прежних библиотекарей не пытался выяснить, хотя бы даже по корешкам, какого рода книги подарил городу прелат. Считалось, что все они – душеспасительного свойства. Теперь Пеллегринотто, к великой своей радости, обнаружил в библиотеке книги на самые разные темы; а так как их перевозили и сваливали как попало, путаница получилась невообразимая. Книги, оказавшиеся по соседству, склеились, образовав самые немыслимые комбинации. Дон Элиджо рассказывал мне, например, что ему стоило большого труда отделить «Жизнь и смерть Фаустино Матеруччи, бенедиктинца из Поли-Роне, которого кое-кто именует блаженным», биографию, изданную в Мантуе в 1625 году, от весьма непристойного трактата в трех книгах «Искусство любить женщин», написанного Антониом Муцием Порро в 1571 году. Из-за сырости переплеты этих двух книг по-братски соединились. Кстати, во второй книге этого непристойного трактата подробно говорится о жизни и любовных приключениях монахов.

Много занятных и приятнейших сочинений извлек дон Элиджо Пеллегринотто из шкафов библиотеки, целый день просиживая на лесенке, взятой им у фонарщика. Иногда, найдя какую-нибудь интересную книгу, он ловко бросал ее сверху на громадный стол, стоявший посредине часовенки; эхо гулко вторило удару, поднималась туча пыли, из которой испуганно выскакивало несколько пауков; я прибежал из апсиды, перепрыгивая через загородку, и сначала той же книгой прогонял пауков с пыльного стола, а потом открывал ее и начинал просматривать.

Так постепенно я приохотился к подобного рода чтению. Дон Элиджо говорил мне, что моя книга должна быть написана по образцу тех, которые он находит в библиотеке, то есть должна иметь свой особый аромат. Я пожимал плечами и отвечал, что эта задача не для меня. Кроме того, меня удерживало еще кое-что.

Вспотевший и запыленный, дон Элиджо спускался с лестницы и шел подышать воздухом в обнесенный заборчиком из прутьев и колышков огородик, который ему удалось развести позади апсиды.

– Знаете, мой уважаемый друг, – сказал я ему однажды, сидя на низенькой садовой стене и опираясь подбородком о набалдашник трости, в то время как дон Элиджо окапывал латук, – по-моему, теперь не время писать книги даже для забавы. В отношении литературы, как и в отношении всего остального, я должен

повторить свое любимое изречение: «Будь проклят Коперник!»

– Ой-ой-ой, при чем тут Коперник? – воскликнул дон Элиджо, выпрямляясь и поднимая раскрасневшееся от работы лицо, затененное соломенной шляпой.

– При том, дон Элиджо, что, когда Земля не вертелась...

– Ну вот еще! Она всегда вертелась!

– Неправда! Человек этого не знал, а значит, для него она не вертелась. Для многих она и теперь не вертится. На днях я сказал это одному старику крестьянину, и знаете, что он мне ответил? Что это удобное оправдание для пьяниц. Простите, но и вы сами не имеете, в конце концов, права сомневаться в том, что Иисус Навин остановил солнце. Впрочем, довольно об этом. Я хочу лишь сказать, что, когда Земля не вертелась, человек, одетый греком или римлянином, выглядел весьма величественно, чувствовал себя на высоте положения и наслаждался собственным достоинством; по этой причине ему и удавались обстоятельные рассказы, полные ненужных подробностей. Как вы сами учили меня, у Квинтилиана сказано, что история существует для того, чтобы писать ее, а не для того, чтобы переживать. Так или нет?

– Так, – согласился дон Элиджо, – но верно и другое: никогда не писали более обстоятельных книг, никогда не входили в более ничтожные подробности, как с тех пор, когда, по вашим словам, Земля начала вертеться.

– Ну хорошо! «Господин граф поднимался рано, точно в половине девятого... Госпожа графиня надела сиреневое платье с роскошной кружевной отделкой у шеи... Терезина умирала с голоду, Лукреция изнемогала от любви...» О, господи, да какое мне до этого дело! Разве не находимся все мы на невидимом волчке, опаленном лучами солнца, на безумной песчинке, которая вертится и вертится, сама не зная почему, без всякой цели, словно ей просто нравится вертеться, чтобы нам было то чуточку теплее, то чуточку холоднее? А после шестидесяти-семи-Десяти ее оборотов мы умираем, причем нередко с сознанием того, что жизнь наша – вереница мелких и глупых поступков. Милый мой дон Элиджо, Коперник, Коперник – вот кто безвозвратно погубил человечество. Теперь мы все постепенно приспособились к концепции нашей бесконечной ничтожности, к мысли, что мы, со всеми нашими замечательными изобретениями и открытиями, значим во вселенной меньше чем ничто. Какую же ценность могут иметь рассказы, не говорю уж о наших личных страданиях, но даже о всеобщих бедствиях? Теперь это только история ничтожных червей. Вы читали о небольшой катастрофе на Антильских островах? Нет? Бедняжка Земля, устав бесцельно вертеться по желанию польского каноника, слегка вспылила и изрыгнула чуточку огня через один из своих бесчисленных ртов. Кто знает, чем вызвано это разлитие желчи? Может быть, глупостью людей, которые никогда не были так надоедливы, как ныне. Ладно. Несколько тысяч червяков поджарилось. Будем жить дальше. Кто вспомнит о них?

Дон Элиджо Пеллегринотто все же заметил мне, что с какой бы жестокостью мы ни старались сокрушить, уничтожить иллюзии, созданные для нашего блага заботливой природой, нам это не удастся: человек, к счастью,

забывчив.

Это правда. В иные ночи, отмеченные на календаре, наш муниципалитет не зажигает фонарей и часто – в пасмурную погоду – оставляет нас в темноте.

А это доказывает следующее: в глубине души мы и теперь верим, что луна горит в небе только для того, чтобы освещать нас ночью, как солнце освещает днем, а звезды – чтобы радовать нас великолепным зрелищем. Именно так. Нам часто хочется забыть, что мы лишь ничтожные атомы и что у нас нет оснований уважать и ценить друг друга, ибо мы способны драться из-за кусочка земли и грустить о таких вещах, которые показались бы нам бесконечно мелкими, если бы мы по-настоящему прониклись сознанием того, что мы собой представляем.

Несмотря на это предуведомление, я, ввиду необычности моей истории, все-таки расскажу о себе, но расскажу насколько возможно короче, сообщая лишь те сведения, которые сочту необходимыми.

Некоторые из них, конечно, представят меня не в очень-то выгодном свете; но я сейчас нахожусь в таких исключительных условиях, что могу считать себя как бы стоящим за пределами жизни, а следовательно, свободным от каких-либо обязательств и какой-либо щепетильности. Итак, начнем.

3. Дом и крот

Вначале я чересчур поторопился, сказав, что знал своего отца. Я его не знал. Мне было четыре с половиной года, когда он умер. Тридцати восемью лет от роду он поехал по торговым делам на одном из своих кораблей на Корсику и не вернулся: он умер там в три дня от злокачественной лихорадки, оставив порядочное состояние жене и двум детям – Маттиа (которым я был и когда-нибудь снова стану) и Роберто, родившемуся на два года раньше меня.

Кое-кто из местных старожилов любит порой намекнуть, что богатство моего отца (которое теперь не должно бросать на него тень, потому что оно целиком перешло уже в другие руки) было, скажем мягко, таинственного происхождения.

Говорят, что он добыл его в Марселе, обставив в карты капитана английского торгового судна, который, спустив все деньги, какие у него были с собой (вероятно, порядочную сумму), проиграл также большое количество серы, погруженной в далекой Сицилии для одного ливерпульского негоцианта, зафрахтовавшего пароход, – знают даже это! А имя? Это никого не интересует; после проигрыша капитан в отчаянии снялся с якоря, вышел в море и утопился, так что по прибытии в Ливерпуль тоннаж парохода уменьшился на вес капитана. Итак, балластом удачи моего отца служила зависть его сограждан.

Мы владели землей и домами. Мой отец был предприимчив и хитер и потому не занимался коммерцией в Каком-нибудь одном определенном месте, а путешествовал на своем двухмачтовом суденышке, покупая, где ему было удобнее и выгоднее, и сейчас же перепродавая самые разнообразные товары; однако он не увлекался слишком большими и рискованными операциями и

постепенно обращал свою прибыль в земли и дома здесь, в своем родном местечке, где, вероятно, рассчитывал вскоре отдохнуть в мире и довольстве с женой и детьми, наслаждаясь достатком, добытым с таким трудом. Так, он купил сначала участок Дуэ-Ривьере, богатый оливами и шелковицей, потом имение Стиа, щедро орошаемое ручьем, на котором он выстроил мельницу, потом всю возвышенность Спероне – лучшие виноградники в нашей округе – и, наконец, Сан-Роккино, где возвел прелестную виллу. В городке, кроме дома, в котором мы жили, отец приобрел еще два других, а также большое здание, приспособленное ныне под верфь.

Его почти скоропостижная смерть принесла нам разорение. Моя мать, не способная сама управлять наследством, вынуждена была довериться человеку, которому отец оказал столько благодеяний, что его общественное положение совершенно изменилось. Этому человеку перепало от нас так много, что он должен был бы питать к нам хоть чуточку признательности, которая не потребовала бы от него никаких жертв, разве что немного рвения и честности.

Святая женщина – моя мать! От природы тихая и застенчивая, она не знала жизни и людей и рассуждала совсем как ребенок. Она говорила в нос и так же смеялась, хотя, словно стыдясь своего смеха, неизменно сжимала при этом губы. Очень хрупкая, она после смерти отца стала прихварывать, но никогда не жаловалась на свои страдания; думаю, что она никогда даже мысленно не досадовала на них, покорно принимая все как естественное следствие своего несчастья. Может быть, она просто думала, что ей следовало бы умереть с горя, и благодарила бога за то, что он, ради ее детей, оставляет жизнь такому измученному и жалкому существу, как она.

К нам она питала почти болезненную нежность, трепетную и боязливую. Она хотела, чтобы мы постоянно были около нее, словно боялась потерять нас, и стоило кому-либо из нас на минуту отлучиться, как прислугу немедленно отряжали разыскивать пропавшего по всему нашему большому дому.

Она слепо подчинялась мужу и, лишившись его, почувствовала себя потерянной в этом мире. Теперь она выходила из дому только рано утром по воскресеньям, когда отправлялась к мессе в ближайшую церковь в сопровождении двух старых служанок, с которыми она обращалась как с родственницами. Занимали мы в большом доме всего три комнаты; в остальных, за которыми кое-как присматривала прислуга, мы шалили. Обветшалая мебель и выцветшие занавеси в этих комнатах источали затхлый запах, свойственный старинным вещам и кажущийся дыханием другой эпохи; я вспоминаю, что нередко подолгу осматривался там вокруг, изумленный и подавленный молчаливой неподвижностью этих предметов, столько лет стоявших без движения, без жизни.

Одной из самых частых посетительниц мамы была сестра отца, старая дева с глазами, как у хорька, ворчливая, смуглая, гордая. Звали ее Сколастика. Но она никогда не оставалась у нас подолгу, потому что во время разговора внезапно приходила в ярость и убегала, ни с кем не попрощавшись. Ребенком я ее очень

боялся. Я глядел на нее во все глаза, в особенности когда она в бешенстве вскакивала и начинала кричать моей матери, гневно топая ногой:

– Слышишь? Под полом яма. Это крот! Крот!

Она намекала на нашего управляющего Маланью, который исподтишка рыл яму у нас под ногами. Тетя Сколастика (это я узнал позже) хотела, чтобы мать во что бы то ни стало вторично вышла замуж. Обычно золовкам такие мысли не приходят в голову и таких советов они не дают. Но у Сколастики было острое и гордое чувство справедливости; оно-то, в еще большей мере, чем любовь к нам, не позволяло ей спокойно смотреть, как этот человек безнаказанно обкрадывает нас. Вот почему, сознавая, как непрактична и слепо доверчива моя мать, Сколастика видела лишь один выход из положения – второй брак. И она прочила маме в мужья одного беднягу по имени Джероламо Помино. Он был вдовец и жил с сыном, который здравствует поныне; зовут его, как и отца, Джероламо; он мой большой друг и даже больше чем друг, как будет ясно из дальнейшего. Еще мальчиком он приходил к нам вместе с отцом и приводил в отчаяние меня и моего брата Берто. Отец его в юности долго добивался руки тети Сколастики, но она и слышать не хотела о нем, как, впрочем, не хотела и никого другого, и не потому, что от природы была не способна любить, но потому, что, как она сама признавалась, даже отдаленное предположение об измене, хотя бы мысленной, любимого человека могло довести ее до преступления. Все мужчины, по ее мнению, были притворщики, мошенники и обманщики. И Помино тоже? Нет. Помино – нет. Но она убедилась в этом слишком поздно. За каждым мужчиной, который к ней сватался, а потом женился на другой, ей удавалось узнать какой-нибудь изменнический поступок, чему она свирепо радовалась. За Помино же таких грехов не водилось: несчастный был жертвой своей жены.

Почему же она не хотела выйти за него теперь? Вот еще! Ведь он уже вдовец! Он принадлежал другой женщине, о которой он, может быть, станет по временам вспоминать. И потом... Ну конечно, это же видно за милую, несмотря на всю его робость! Бедный синьор Помино влюблен, да, влюблен, и понятно в кого!

Да разве моя мать могла согласиться на такой брак? Он казался ей самым настоящим кощунством. К тому же бедняжка и не верила, что тетя Сколастика говорит серьезно; она смеялась своим неповторимым смехом над гневными вспышками золовки и протестами бедного Помино, который обычно присутствовал при этих спорах и которого старая дева осыпала самыми преувеличенными похвалами. Сколько раз он восклицал, ерзая на стуле, как на ложе пытки:

– Боже все милостивый!

У этого чистенького, аккуратненького человечка с добрыми голубыми глазками была одна слабость – он пудрился и, как мне кажется, даже слегка подрумянивал щеки; он явно гордился тем, что у него до преклонных лет сохранились волосы, которые он заботливо взбивал и постоянно охорашивал.

Не знаю, как пошли бы наши дела, если бы моя мать, не ради себя, а лишь

заботясь о будущем своих детей, последовала совету тети Сколастики и вышла замуж за Помино. Несомненно одно: они, во всяком случае, шли бы не хуже, чем при этом кроте, синьоре Маланье.

Когда мы с Берто подросли, большая часть состояния уже исчезла. Спаси мы из когтей вора хотя бы остаток, это позволило бы нам жить если уж не в полном довольстве, то по крайней мере не нуждаясь. Но мы были лентяи и ни о чем не желали думать, продолжая и взрослыми жить так, как мать приучила нас с детства.

Мы у нее не ходили даже в школу. Нашим воспитателем был некто Циркуль. По-настоящему его звали не то Франческо, не то Джованни дель Чинкуе, но всем он был известен как Циркуль и так к этому привык, что сам стал именовать себя этим прозвищем.

Это был омерзительно худой и невероятно высокий человек. Боже мой, он казался бы еще выше, если бы его спина не изгибалась под самым затылком внезапным небольшим горбиком, словно ей наскучило тонким ростком тянуться вверх. Шея у него была как у ощипанного петуха, а громадный кадык непрерывно двигался то вверх, то вниз. Циркуль вечно старался закусить губы, словно для того, чтобы удержать и поглубже запрятать постоянно пробивавшийся сквозь них резкий смешок. Но все его усилия оказывались тщетными: если этому смешку не удавалось сорваться со сжатых губ, он издевательски и зло светился в глазках Циркуля.

Этими маленькими глазками он видел у нас в доме многое, чего не замечали ни мы, ни мама. Но он молчал, может быть, считая, что вмешиваться – не его дело, втайне злобно наслаждаясь тем, что видел.

Мы делали с ним все, что хотели, и он позволял нам все, а затем, словно желая успокоить свою совесть, выдавал нас, когда мы меньше всего этого ожидали.

Однажды, например, мама велела ему повести нас в церковь; наступала Пасха, и мы готовились исповедоваться. После исповеди мы должны были на минутку заглянуть к больной жене Маланьи, затем вернуться прямо домой. Но, едва очутившись на улице, мы предложили Циркулю сделку: мы ставим ему литр хорошего вина, а он разрешает нам вместо церкви и посещения Маланьи пойти в Стиа за птичьими гнездами. Циркуль согласился. Он был очень доволен, потирал руки, глаза его сверкали. Затем он выпил вино, и мы направились в имение. Он бегал с нами три часа как сумасшедший, помогал нам, лазил с нами по деревьям. Но вечером, когда мы вернулись домой и мама спросила, исповедовались ли мы и были ли у Маланьи, он с самым невинным видом ответил:

– А вот сейчас расскажу...

И подробно рассказал обо всем, что мы делали.

И хотя мы каждый раз мстили за предательство, ничто не помогало. А ведь месть наша часто бывала отнюдь не шуточной. Например, однажды вечером, зная, что Циркуль в ожидании ужина дремлет на сундуке в передней, мы с Берто

тихонько соскочили с постелей, куда нас в наказание уложили раньше обычного, раздобыли оловянную клистирную трубку в две пяди длиной и наполнили ее мыльной водою из таза с бельем; вооруженные таким образом, мы тихонько подошли к учителю, приставили трубочку к ноздре и – пффф!.. Циркуль подскочил чуть ли не до потолка. Нетрудно представить себе, как мы преуспевали в науках под руководством подобного наставника. Конечно, виноват был не один Циркуль; он все же старался чему-то нас выучить и, не имея представления о том, что такое метод и дисциплина, изобретал всевозможные уловки, чтобы заставить нас хоть как-то сосредоточиться. Со мной ему это удавалось сравнительно часто, потому что я по натуре гораздо впечатлительней брата. Но эрудиция у Циркуля была очень своеобразная, забавная и странная. Он, например, был весьма сведущ по части игры слов, знал фиденцианскую и макароническую, бурлескную и ученую поэзию,¹ мог без конца декламировать стихи – тавтограммы и липограммы, крипты, центоны и палиндромы² – словом, произведения всех жанров, в которых подвизались поэты-празднословы, и немало таких шуточных стихотворений сочинял сам.

Помню, что однажды в Сан-Роккино он привел нас к холму, отличавшемуся особыми акустическими свойствами, и начал вместе с нами повторять свое «Эхо»:

Ужель она меня навек забудет?

(Будет!)

А может, не любила никогда?

(Да!)

Насмешник, кто ты? Мне ведь не до смеха!

¹ *Фиденцианская поэзия* – в сущности, разновидность макаронической. Получила наименование от литературного псевдонима своего основоположника, графа Камилло Скроффа Фиденцио Глоттокризио Лудима-Гистро (1527–1565). В основе фиденцианской поэзии лежит сатирическое пародирование стиля и языка псевдоученых педантов. *Макароническая поэзия* возникла в Италии в конце XV века в среде гуманистов, развивалась в XVI и XVII веках. Отличительные ее черты: пародийность, острая сатиричность, зачастую весьма непристойный словарь (и соответственная тематика), смешение (в плане пародии и сатиры) итальянского и латинского языков. *Бурлескная поэзия* – от итал. *burla* (шутка). Одно из общих наименований всякой шуточной, комической поэзии, основанной на пародийном снижении всех высоких литературных жанров. Возникла еще в античную эпоху, в новое же время получила особенное развитие в XVII–XVIII веках. *Ученая поэзия* – общее наименование поэтических упражнений ученых гуманистов Ренессанса и литераторов XV–XVI веков, где не было подлинного творческого вдохновения, но зато выставлялось на первый план знакомство авторов с латинской и греческой филологией, мифологией, философией, где подражали античной метрике и т. п. К ученой поэзии относятся также произведения дидактического характера (типа ломоносовского послания Шувалову «О пользе стекла»).

² *Тавтограммы* – стихи, сплошь построенные на одной аллитерации (каждое слово стихотворения любой длины начинается с одной и той же буквы). *Липограммы* – стихи, построенные на словах, в которых отсутствует одна какая-либо буква. *Крипты*, или «кусочные» стихи, – стихи, в которых каждая строка распадается на две половины. Если эти половинки строк читать одну за другой, получается самостоятельное стихотворение. Таким образом, каждое стихотворение представляет собой три отдельных стихотворения: одно, состоящее из левых половинок, другое из правых половинок и, наконец, третье, «полное» стихотворение, в котором обе половинки читаются как одна строка. *Центоны* – стихи, имеющие определенный смысл, но составленные из различных стихотворных строк разных поэтов. *Палиндромы* – стихи, состоящие из строчек, которые могут читаться одинаково справа налево и слева направо.

(Эхо!)

Он заставлял нас разгадывать «Загадки-октавы» Джулио Чезаре Кроче,³ а также «Загадки-сонеты» Монети⁴ и другого бездельника, который нашел в себе мужество скрыться под псевдонимом Катона Утического. Он переписал их чернилами табачного цвета в старую тетрадку с пожелтевшими листами.

– Послушайте-ка вот это стихотворение Стильяни.⁵ Как красиво! Ну, кто догадается? Слушайте:

Я и одна, и две. Но в должный час
Что было два – единым вдруг бывает.
Нет тем числа на голове у нас,
В кого пятью меня одна вонзает.
Я также в рот огромный разрослась,
Что без зубов еще больней кусает.
И два пупка даны судьбою мне,
И пальцы на очах, и очи на ступне.

Мне кажется, я и сейчас вижу, как он декламирует, полужакрыв глаза, сияя от восторга и прищелкивая пальцами.

Моя мать полагала, что нам вполне достаточно того, чему учит нас Циркуль; может быть, слушая, как мы декламируем загадки Кроче или Стильяни, она считала даже, что мы знаем слишком много. Однако тетя Сколастика, которой не удалось выдать маму замуж за своего любимчика Помино, взялась за Берто и меня. Мы же под защитой мамы не поддавались ей, и это приводило ее в такую ярость, что если бы ей удалось остаться с нами наедине, без свидетелей, она наверняка содрала бы с нас кожу. Помню, однажды, выбегая, как обычно, в бешенстве из нашего дома, она столкнулась со мною в одной из нежилых комнат; схватив меня за подбородок, она из всех сил сжала его пальцами и, все ближе наклоняясь к моему лицу и сверля взглядом мои глаза, несколько раз повторила: «Красавчик! Красавчик! Красавчик!» – а затем, странно хрюкнув, отпустила меня и прорычала сквозь зубы: «Собачье отродье!»

Меня она почему-то преследовала больше, чем Берто, хотя я несравненно внимательнее брата относился к сумасбродным поучениям Циркуля. Ее, вероятно, особенно раздражали безмятежное выражение моего лица и большие

³ Кроче Джулио Чезаре (1550–1609) – итальянский поэт, сатирик и юморист, писавший преимущественно на болонском диалекте.

⁴ Монети Франческо (1635–1712) – итальянский монах и сатирический поэт, славившийся как ловкий версификатор.

⁵ Стильяни Томмазо (1573–1651) – итальянский поэт, декларативно выступавший против крайнего формализма «барочных» поэтов и их усложненной изысканной образности, но на практике проводивший в своем творчестве ту же линию.

очки, которые меня заставляли носить, чтобы исправить один глаз, неизвестно почему смотревший куда-то в сторону.

Для меня эти очки были настоящей пыткой. В один прекрасный день я выбросил их и позволил своему глазу смотреть туда, куда ему больше нравится. Но если бы даже мой глаз не был косым, это не прибавило бы мне красоты. Я был совершенно здоров, и этого мне было достаточно.

В восемнадцать лет мое лицо заросло рыжеватой кудрявой бородищей в ущерб носу, который у меня был маловат и почти терялся между бородой и большим строгим лбом.

Если бы человеку было дано самому выбирать себе нос, соответствующий лицу, или если бы мы при виде какого-нибудь бедняги, подавленного слишком большим носом на тощем личике, могли сказать ему: «Этот нос мне подходит, я его беру», – я, пожалуй, переменял бы его, а заодно и глаза и другие части моей особы. Но, отлично зная, что это невозможно, я примирился со своими прелестями и больше о них не думал.

Напротив, Берто, который был красив и телом, и лицом (по крайней мере в сравнении со мной), не отходил от зеркала, всячески охорашивал себя и без конца тратил деньги на новые галстуки, на все более тонкие духи, на белье и одежду. Чтобы поддразнить его, я однажды взял из его гардероба новенький, с иголки, фрак, элегантнейший черный бархатный жилет и цилиндр и в таком виде отправился на охоту.

Батта Маланья между тем плакался матери на плохие урожаи, вынуждавшие его делать большие долги, чтобы оплачивать наши чрезмерные траты, и на большие расходы, которые неизбежны, если хочешь содержать имение в порядке.

– Мы получили еще один серьезный удар! – объявлял он всякий раз, когда входил.

Туман погубил на корню все оливки в Дуэ-Ривьере, а филлоксера – виноград в Спероне. Нужно посадить американскую лозу, которая может противостоять этой болезни. Значит – снова долги. Потом совет – продать Спероне, чтобы освободиться от осаждающих его, Маланью, ростовщиков. И так были проданы сначала Спероне, затем Дуэ-Ривьере, потом Сан-Роккино. Оставались еще дома и имение Стиа с мельницей, но моя мать со дня на день ждала сообщения, что ручей высох.

Конечно, мы были бездельниками и тратили, не считая. Но правда и то, что такого вора, как Батта Маланья, свет не видывал. Это самое мягкое, что можно сказать, принимая во внимание родственные отношения, в которые я вынужден был с ним вступить.

Пока моя мать была жива, он ловко доставлял нам все, чего мы желали. Но за всем этим довольством и возможностью легко удовлетворять любой каприз скрывалась пропасть, которая после смерти матери поглотила меня одного; мой брат, к счастью, вовремя выгодно женился. А мой брак, напротив...

– Как вы полагаете, дон Элиджо, надо мне рассказать о моем браке?

– А как же? Конечно!.. По-хорошему... – отозвался дон Элиджо с высоты своей фонарной лесенки.

– Как это по-хорошему?! Вы же отлично знаете, что...

Дон Элиджо смеется, и бывшая часовенка вторит ему. Потом он замечает:

– Будь я на вашем месте, синьор Паскаль, я прочел бы сначала какую-нибудь новеллу Боккаччо или Банделло. Для стиля, для тона...

Бог с ним, с вашим тоном, дон Элиджо. Уф! Я пишу, как взбредет в голову.

Ну что же, смелее вперед!

4. Было так

Однажды на охоте я в странном волнении остановился перед низеньким толстеньким стогом, из которого торчал шест, увенчанный горшком.

– Я тебя знаю! – сказал я. – Я тебя знаю... – Потом внезапно воскликнул: – Ты же Батта Маланья!

Схватив лежавшие на земле вилы, я с такой страстью воткнул их стогу в брюхо, что горшок чуть не свалился с шеста. Ну вылитый Батта Маланья, когда он, потев и отдуваясь, надевает шляпу набекрень!

Он как-то весь скользил: скользили вверх и вниз по длинному лицу брови и глаза; скользил нос над нелепыми усами и подбородком, скользили плечи, скользил дряблый живот, свисавший почти до земли, потому что портной, видя, как висит брюшко над толстенькими ножками, вынужден был скроить их владельцу самые необъятные брюки, и издали казалось, будто вместо штанов на Батте Маланье надет длинный сюртук.

Не могу понять, как при подобном лице и телосложении Маланья мог быть таким вором. По-моему, даже воры должны иметь какой-то вид, а у него и вида-то никакого не было. Он ходил тихо, покачивая животом, заложив руки за спину и с большим трудом выдавливая из себя мягкие, мяукающие звуки. Хотелось бы мне знать, как примирял он со своею совестью все те кражи, которые совершал в ущерб нам. Как я уже говорил, оправдываться перед нами у него не было надобности, но должен же он был хотя бы для самого себя придумать какую-нибудь причину, какое-нибудь извинение. Может быть, бедняга крал просто для того, чтобы развлечься.

Его действительно страшно подавляла жена, одна из тех женщин, которые требуют уважения к себе.

Он сделал ошибку, выбрав жену из более высокого круга, чем его собственный, очень низкий. Выйди эта женщина за ровню, она не была бы такой тщеславной; Маланье же она, естественно, при малейшей возможности стремилась напомнить, что она из хорошей семьи и что у них дома поступали так-то и так-то. И Маланья, чтобы походить на синьора, послушно поступал так, как требовала жена. Но это стоило ему дорого и всегда вгоняло его в пот.

К тому же вскоре после свадьбы синьора Гуенальдина заболела

неизлечимым недугом, исцелиться от которого она могла лишь ценой непосильной для нее жертвы – не более не менее, как отказа от дорогих ее сердцу пирожков с трюфелями и тому подобных лакомств, а в особенности от вина. Разумеется, она пила не много – она же была из хорошей семьи, но вина ей не следовало даже в рот брать.

Когда мы с Берто были мальчиками, нас иногда приглашали к Маланье обедать. Было очень занятно слушать, как он с соответственными подходами читал жене проповедь о воздержании, в то время как сам не то, что ел, а сладострастно пожирал самые сочные блюда.

– Не понимаю, – говорил он, – как это ради мгновенного наслаждения, которое испытываешь, проглатывая кусочек вроде этого (и он глотал кусок), человек идет на то, чтобы потом целый день болеть. Ну что тут особенно вкусного, а? Уверен, что, поддавшись такому соблазну, я чувствовал бы себя после этого глубоко униженным. Розина! (Он подзывал служанку.) Дай-ка мне еще немножко. И вкусный же, однако, этот майонез!

– Майонез? – яростно взрывалась жена. – Довольно! Смотри, бог даст, ты еще поймешь, что такое больной желудок. Вот тогда ты научишься быть внимательным к жене.

– Как, Гуенальдина! Разве я не внимателен к тебе? – восклицал Маланья, подливая себе вина.

Вместо ответа жена поднималась, вырывала у него из рук стакан и выплескивала его за окно.

– Ну зачем же так? – стонал бедняга, не вставая с места.

– Затем, что для меня это яд! Ты же видишь, что я налила и себе глоточек. Так вот, возьми и вылей его за окно, как сделала я, понятно?

Маланья, обиженно улыбаясь, поочередно смотрел на Берто, на меня, на окно, на стакан, а потом говорил:

– Боже мой, но разве ты ребенок? Чтобы я?... Насильно?... Нет, дорогая, ты сама должна надеть на себя узду рассудка...

– Но как? – кричала жена. – У меня же вечно соблазн перед глазами. Я вижу, как ты нарочно пьешь, смакуешь, рассматриваешь вино на свет, чтобы раздражать меня. Убирайся, я тебе говорю. Другой бы муж, чтобы не мучить меня...

Маланья пошел и на это: он отказался от вина, чтобы подать жене пример воздержанности и не мучить ее. Зато он крал. Ну и что? Нужно же было и ему что-нибудь делать.

Однако несколько позже он узнал, что синьора Гуенальдина пьет потихоньку от него. Получалось так, что вино не причиняет ей вреда, лишь бы муж не знал об этом. Тогда и он, Маланья, начал пить, но вне дома, чтобы не раздражать жену.

Правда, красть он все же продолжал. Я знаю, что Маланья всем сердцем желал, чтобы жена вознаградила его за те бесконечные огорчения, которые она ему доставляла, и наконец произвела на свет ребенка. Тогда его воровство имело

бы цель, оправдание – чего не сделаешь для блага детей!

Между тем жене день ото дня становилось хуже, и Маланья не смел даже высказать ей свое пламенное желание. А вдруг она бесплодна от рождения? Больную надо беречь: не дай бог, она еще умрет от родов... Кроме того, всегда есть и другой риск: что, если она не доносит ребенка?

Поэтому Маланья примирился со своей бездетностью.

Искренне ли? Достаточно ли он доказал это после смерти синьоры Гуенальдины? Он оплакивал ее, о, горько оплакивал и всегда вспоминал с такой почтительной преданностью, что даже не пожелал взять на ее место другую синьору – да, да, не пожелал, хотя преспокойно мог бы это сделать, так как стал теперь не только толст, но и очень богат, – а женился на здоровой, цветущей, крепкой и веселой дочери одного деревенского арендатора, и то лишь для того, чтобы никто не усомнился в его способности иметь желанное потомство. Правда, он немного поторопился, но ведь надо принять во внимание, что он был уже не юноша и не мог терять время.

Оливу, дочь Пьетро Сальвони, нашего арендатора из Дуэ-Ривьере, я знал еще девочкой.

Благодаря ей моя мать уже начала надеяться, что я образумился и приобрел вкус к деревенской жизни. Бедняжка была вне себя от радости! Но однажды зловредная тетя Сколастика открыла ей глаза:

– И ты не видишь, дурочка, что он постоянно ходит в Дуэ-Ривьере?

– Да, ходит – на сбор оливок.

– Одной оливки, одной, одной-единственной, идиотка!

Тогда мама задала мне славный нагоняй: я, мол, собираюсь совершить смертный грех – ввести во искушение и навсегда погубить бедную девушку, и т. д., и т. д.

Но это мне не грозило. Олива была добродетельна, несокрушимо добродетельна, потому что отлично сознавала, какой вред причинит себе, уступив мужчине. Это избавляло ее от глупой робости и притворной стыдливости, делало смелой и развязной.

Как она смеялась! Губы – две вишни! И какие зубки! Однако с этих губ не удавалось сорвать ни одного поцелуя. Если я брал Оливу за руку и не соглашался отпустить, пока не поцелую хотя бы ее волосы, она, чтобы наказать меня, пускала в ход зубы.

Вот все, что я от нее видел.

А теперь эта девушка, такая красивая и свежая, стала женой Батты Маланьи... Ну что ж! У кого хватит мужества отказаться от богатства? Олива отлично знала, каким толстосумом стал Маланья. Как-то раз она наговорила мне о нем бог знает сколько плохого, а затем, только ради денег, взяла и вышла за него замуж.

Прошел год после свадьбы, прошло два, а детей все не было.

Маланья, еще много лет назад уверовавший в то, что у него не было детей

от первой жены только из-за ее бесплодия и непрерывных болезней, даже отдаленно не подозревал, что причиной этого мог быть он сам. И он начал злиться на Оливу:

– Ничего?

– Ничего...

Он выждал еще один год – третий. Напрасно! Тогда он принялся открыто бранить вторую жену и в конце концов, потеряв всякую надежду и совершенно отчаявшись, стал беззастенчиво притеснять ее. Он кричал, что она обманула его, да, обманула своим цветущим видом, хотя только ради того, чтобы иметь ребенка, он и возвысил ее до положения своей супруги, до места, которое раньше занимала настоящая синьора, чьей памяти он никогда не нанес бы такого оскорбления, если бы не эта надежда.

Бедная Олива не находила слов для ответа. Она часто приходила к нам, ища сочувствия у моей матери, и та утешала ее добрым словом, уверяя, что Олива еще может надеяться, так как она молода, очень молода.

– Вам двадцать?

– Двадцать два.

Ну, значит, все в порядке! Бывают случаи, когда дети рождаются через десять, даже через пятнадцать лет после свадьбы.

Через пятнадцать? Но ведь Маланья уже стар, и если...

Еще на первом году супружества Олива заподозрила, что – как бы это сказать? – виновата не она, а муж, хотя он упорно это отрицал. Не попробовать ли?... Но нет! Выходя замуж, Олива поклялась самой себе быть честной и не хотела нарушать клятву даже для того, чтобы обрести покой.

Как я узнал об этом? Да очень просто – я ведь уже сказал, что она приходила искать утешения в наш дом; сказал я также, что знал ее еще девочкой; теперь, видя, как она плачет от дурного обращения, от глупых и беззастенчивых придилок мерзкого старикашки, я... Но неужели я должен договаривать? Словом, я получил отказ, вот и все.

Я быстро утешился. В голове у меня бродило много разных мыслей, или (это одно и то же) казалось, что бродит. Водились у меня и деньги, а они, не говоря уже обо всем прочем, наталкивают на такое, до чего без них и не додумаешься. Просаживать их мне помогал Помино Джероламо Второй, который, ввиду мудрой отцовской скупости, вечно сидел на мели.

Мино был нашей тенью – то моей, то Берто, поочередно. Он менялся с удивительной обезьяньей ловкостью в зависимости от того, с кем водился – с Берто или со мной. Стоило ему прицепиться к Берто, как он тотчас же становился франтом, и тогда его отец, сам не чуждый притязаний на элегантность, чуточку отпускал шнурки кошелька. Но с Берто нельзя было дружить подолгу. Когда мой брат видел, что ему подражают даже в походке, он, вероятно из боязни показаться смешным, терял терпение, начинал третировать Помино и даже прогонял его. Тогда Мино возвращался ко мне, а его отец затягивал шнурки кошелька. У меня терпения было больше, потому что Мино

развлекал меня. Потом я часто раскаивался в этом, сознаваясь самому себе, что из-за него я сильно перебарщивал в разных своих затеях, поступал наперекор своей натуре или слишком бурно выражал свои чувства – и все это с единственной целью: удивить приятеля или поставить его в затруднительное положение, следствием чего, естественно, были неприятности также и для меня.

Так, однажды на охоте Мино, которому я рассказал о супружеских подвигах Маланьи, признался мне, что он тоже приглядел себе девушку – дочку кузины нашего управляющего, ради которой готов наделать глупостей. Он был на это вполне способен, тем более что девушка не казалась недоступной. Однако до сих пор ему не удавалось даже поговорить с ней.

– Сознайся, что у тебя просто не хватает смелости, – рассмеялся я.

Мино запротестовал, но что-то уж слишком сильно, покраснел.

– Со служанкой я все-таки поговорил, – торопливо добавил он. – И знаешь, я узнал от нее занятные вещи! Она говорит, что ваш Маланья торчит у них в доме и, судя по его виду, замышляет что-то скверное, а эта старая ведьма кузина поддакивает ему.

– Что же он замышляет?

– Он плачется на свою беду: у него, мол, нет детей. А злобная старуха ворчит, что это ему поделом. Похоже, что она после смерти первой жены Маланьи задумала женить его на своей дочери и пускалась ради этого на все. А когда ничего не добилась, стала болтать всякие пакости насчет этой скотины Маланьи, врага своей семьи, предавшего своих кровных, и так далее. Заодно бранила она и дочку за то, что та не сумела завлечь дядю. А теперь, когда старикан так кается, что не осчастливил племянницу, кто знает, какую еще предательскую штуку придумала эта ведьма.

Я заткнул уши руками и крикнул Мино:

– Замолчи!

В ту пору я был, в сущности, очень наивен, хотя и не казался таким. Тем не менее, узнав о сценах, которые происходили и происходят в доме Маланьи, я подумал, что подозрения служанки могут быть в известной мере оправданы, и мне захотелось для блага Оливы попробовать хоть немного улучшить их положение. Я попросил Мино дать мне адрес этой ведьмы. Мино забеспокоился насчет девушки.

– Не бойся, – ответил я, – ее я оставлю тебе.

На следующий день под тем предлогом, что сегодня истекает срок одного из векселей, о чем мне якобы случайно сказала мама, я отправился искать Маланью в дом вдовы Пескаторе.

Я нарочно бежал бегом и ворвался в дом, разгоряченный и весь в поту:

– Маланья, вексель!

Если бы даже я раньше не знал, что совесть у него нечиста, я понял бы это в тот день, увидев, как он, бледный, с искаженным лицом, вскочил и забормотал:

– Ка... какой вексель?

– Тот, срок которого истекает сегодня. Меня послала за вами мама – она

очень встревожена.

Батта Маланья упал на стул и в долгом «А-а!» излил страх, который на мгновение охватил его.

– Но это же улажено!.. Все улажено!.. Черт возьми, как ты меня перепугал! Я его переписал, понятно? На три месяца, включая проценты, разумеется. И ты в самом деле бежал из-за такого пустяка? – И он закатился смехом, от которого у него долго содрогался живот; затем он указал мне на стул и представил меня дамам: – Маттиа Паскаль. Марианна Донди, вдова Пескаторе, моя кузина. Ромильда, моя племянница.

Тут же он предложил мне чего-нибудь выпить – после такого бега меня, наверно, мучит жажда.

– Ромильда, не затруднись...

Он распоряжался здесь как в собственном доме.

Ромильда встала, переглянувшись с матерью и, несмотря на мои протесты, вскоре возвратилась с небольшим подносом, на котором стояли стакан и бутылка вермута. Увидев это, мать ее с недовольным видом поднялась и бросила:

– Да нет, не этот! Дай-ка сюда!

Она выхватила у дочери подносик и немного спустя вернулась с другим подносом, лакированным и сверкавшим новизной, на котором стоял великолепный ликерный прибор – посеребренный слон со стеклянной бочкой на спине, увешанный множеством слегка позванивавших рюмок.

Я предпочел бы вермут, но пить мне пришлось ликер. Маланья и его кузина выпили вместе со мной. Ромильда отказалась.

На этот раз я задержался недолго; мне нужен был предлог, чтобы прийти сюда снова. Я объявил, что тороплюсь успокоить маму насчет векселя и что на днях надеюсь подольше насладиться обществом милых хозяек.

Судя по виду, с которым попрощалась со мной Марианна Донди, вдова Пескаторе, ее не слишком обрадовало сообщение о моем вторичном визите: она опустила глаза, поджала губы и нехотя протянула мне руку, ледяную, сухую, жилистую и желтую. Зато дочь одарила меня ласковой улыбкой, обещавшей радушный прием, и нежным взглядом грустных глаз, которые с самого начала произвели на меня большое впечатление. У этих глаз, затененных длинными ресницами, был какой-то странный зеленый цвет, да и смотрели они как-то слишком мрачно и пристально. Темные, как ночь, глаза девушки и волосы цвета воронова крыла, двумя волнами спускавшиеся на лоб и виски, особенно разительно подчеркивали ослепительную белизну кожи.

Дом был очень скромн, но среди старой мебели уже виднелись новые приобретения, претенциозные и смешные в своей вызывающей новизне, например: две большие майоликовые, еще ни разу не зажигавшиеся лампы с матовыми стеклянными колпаками вычурной формы, стоявшие на непритязательном столике с доской из пожелтевшего мрамора, на которой было укреплено потускневшее зеркало в круглой, кое-где облупившейся раме, напоминавшей разинутый рот голодного. Перед расшатанным диванчиком стоял

столик на четырех позолоченных ножках с фарфоровой доской, расписанной ярчайшими цветами, чуть поодаль – стенной шкафчик японского лака и прочие сокровища. Глаза Маланьи с явным удовольствием останавливались на всех этих новых вещах, равно как на ликерном приборе, триумфально внесенном в комнату его кузиной, вдовой Пескаторе.

Стены почти сплошь были увешаны старыми, хотя отнюдь не безобразными гравюрами; некоторыми из них Маланья предложил мне полюбоваться, утверждая, что это произведения Франческо Антонио Пескаторе, его кузена, замечательного гравера (скончавшегося в Турине, в сумасшедшем доме, добавил он тихо); он пожелал также показать мне его автопортрет:

– Написан собственноручно, перед зеркалом.

Только что, глядя на Ромильду, а затем на ее мать, я решил: «Наверно, она походит на отца». Теперь, глядя на портрет, я не знал, что и думать.

Я не осмеливался делать оскорбительные предположения. Я считал Марианну Донди, вдову Пескаторе, способной на все, но как представить себе мужчину, да к тому же еще красивого, который мог бы в нее влюбиться, если, конечно, он не умалишенный, еще более умалишенный, чем ее покойный муж?

Я сообщил Мино впечатление от своего первого визита. Я говорил ему о Ромильде с таким пылким восхищением, что он сейчас же зажегся, радуясь, что мне она тоже очень понравилась и что я одобряю его выбор.

Тогда я спросил, какие у него намерения. Мать, конечно, совершенная ведьма, но дочка, я готов в этом поклясться, честная девушка. И я не сомневаюсь, что Маланья задался какой-то низкой целью; следовательно, нужно любой ценой и как можно скорее спасти бедняжку.

– Но как? – спросил меня Помино, ловивший каждое мое слово как зачарованный.

– Как? Подумаем. Нужно прежде всего все проверить, проникнуть в суть всех отношений, хорошо все изучить. Понимаешь, решение нельзя принимать вот так, на ходу. Предоставь действовать мне, я тебе помогу. Это приключение мне нравится.

– Да... но... – робко возразил Помино, увидя мое воодушевление, начал уже чувствовать себя не в своей тарелке. – Может быть, считаешь – жениться на ней?

– Пока я ничего не считаю. А ты, чего доброго, не боишься?

– Нет. С чего ты взял?

– С того, что ты чересчур уж торопишься. Не спеши, обдумай все хорошенько. Если мы убедимся, что она такая, какой кажется, – добрая, умная, порядочная (в том, что она красива и нравится тебе, нет сомнения, верно?), и если она из-за низости матери и этого негодяя подвергается серьезной опасности, обречена на позор, на омерзительную самопродажу, неужели ты остановишься перед таким достойным и святым поступком, как спасение ближнего?

– Я-то нет... Нет! – пробормотал Помино. – Но мой отец?...

– Он будет возражать? Из-за чего? Из-за приданого, не правда ли? Да, только из-за этого. Знаешь, она ведь – дочь художника, выдающегося художника, умершего... ну, в общем, честно умершего в Турине. Но ведь твой отец богат, и ты у него один; значит, тебе хватит на жизнь и без приданого! А если уж его не удастся убедить, тоже не бойся: улетишь из гнезда, и все устроится. Помино, неужели у тебя сердце из пакли?

Помино засмеялся, и я как дважды два четыре доказал ему, что он прирожденный муж, как иные бывают прирожденными поэтами. Я описал ему самыми живыми и соблазнительными красками его семейное счастье с Ромильдой, привязанность, заботы, благодарность, которыми она окружит своего спасителя. И в заключение объявил:

– Теперь ты должен найти способ и возможность привлечь ее внимание, поговорить с ней или написать ей. Видишь ли, для нее, опутанной этим пауком, твое письмо может стать якорем спасения. А я покамест буду почаще бывать у них в доме, чтобы следить за происходящим, улучу момент и представлю тебя. Понятно?

– Понятно.

Почему мне так захотелось выдать Ромильду замуж? Да просто так: я любил удивлять Помино. Я говорил и говорил, и все трудности словно исчезали. Я был пылок и ко всему относился легкомысленно. Может быть, именно поэтому женщины и любили меня в те дни, несмотря на мое легкое косоглазие и нескладную фигуру. На этот раз, признаюсь, я воспламенился еще больше из-за желания разорвать мерзкую паутину, сплетенную грязным стариком, оставить его с носом и помочь бедной Оливе, а также – почему бы и нет? – сделать добро девушке, которая действительно произвела на меня большое впечатление.

Разве я виноват, что Помино слишком робко выполнял мои предписания? Разве я виноват, что Ромильда влюбилась в меня вместо Помино, хотя я постоянно твердил ей о нем? Виноват ли я, в конце концов, что хитрая Марианна Донди, вдова Пескаторе, убедила меня, будто я в самое короткое время сумел преодолеть ее недоверчивость и даже сотворить чудо – несколько раз рассмешить ее своими странными выходками? Постепенно она начала складывать оружие; меня стали принимать хорошо. Я думал, что, видя у себя в доме богатого юношу (я тогда еще считал себя богатым), который по всем признакам явно влюблен в ее дочь, вдова Пескаторе в конце концов отказалась от своего низкого замысла, если, конечно, он когда-нибудь вообще приходил ей в голову. Признаюсь, в конце концов я сам стал сомневаться в этом.

Конечно, я должен был бы обратить внимание на то, что мне больше не приходилось встречаться с Маланьей у нее в доме и что не без причины же она принимала меня только по утрам. Но разве стоило придавать этому значение? Казалось, так естественно, что, желая чувствовать себя посвободней, я каждый раз предлагал прогуляться по окрестностям именно утром – это всегда приятней. К тому же я и сам влюбился в Ромильду, хотя продолжал постоянно рассказывать ей о любви Помино; да, влюбился как сумасшедший в эти прекрасные глаза, в

носик, в рот, во все, даже в маленькую бородавку на затылке, в почти незаметный шрам на руке, который я так самозабвенно целовал... от имени Помино.

И все же ничего серьезного, вероятно, не произошло бы, если бы однажды утром Ромильда (мы были в Стиа и оставили мать любоваться в одиночестве мельницей) внезапно не прервала мои затянувшиеся шутки о далеком робком поклоннике, не разразилась судорожными рыданиями и не бросилась мне на шею, дрожа и заклиная меня пожалеть ее и увезти, но только подальше, подальше от дома, подальше от ненавистой матери, от всех, сейчас же, сейчас же.

Подальше? Но как я мог сделать это сейчас же?

Несколько дней спустя, еще опьяненный ею и решившись на все, я принялся искать способ уладить все по-честному. И я уже начал подготавливать свою мать к мысли о моей скорой и по долгу совести неизбежной женитьбе, когда неожиданно получил от Ромильды крайне сухое письмо, в котором она, не входя ни в какие объяснения, просила меня ни в коем случае не заботиться о ней, не появляться больше у них в доме и считать наши отношения навсегда разорванными. Ах, так? Но почему? Что случилось?

В тот же самый день к нам вся в слезах прибежала Олива и сообщила маме, что она самая несчастная женщина на свете, что спокойствие ее дома навеки нарушено. Ее муж получил доказательства, что детей у них нет не по его вине, и торжествуя заявил ей об этом.

Я присутствовал при этой сцене. Не знаю, что дало мне сил сдержаться. Вероятно, уважение к матери. Задыхаясь от гнева и отвращения, я убежал, заперся и, схватившись за волосы, долго спрашивал себя, как Ромильда могла опуститься до такой мерзости после всего, что было между нами. А-а! Достойная дочь своей матери! Они вдвоем гнусно обманули не только старика, но и меня, меня... Значит, и мать, и она бесчестно воспользовались мной для своих низких целей, для своих злодейских замыслов. А бедная Олива обездолена и погублена.

Вечер еще не наступил, а я уже, весь дрожа, бежал к дому Оливы. В кармане у меня лежало письмо Ромильды.

Заплаканная Олива собирала вещи: она решила вернуться к отцу, которому до сих пор из осторожности даже намеком не дала понять, сколько ей пришлось выстрадать.

— Что мне теперь остается? — сказала она. — Все кончено! Может быть, сойдишь он с какой-нибудь другой...

— Ах, значит, ты знаешь, с кем он сошелся? — спросил я.

Она несколько раз кивнула, разрыдалась и закрыла лицо руками.

— Девушка! — воскликнула она, всплеснув руками. — А мать-то, мать! Она обо всем знала, понимаешь? Родная мать!

— И ты говоришь это мне? На, читай! — ответил я и протянул ей письмо.

Ошеломленная Олива посмотрела на листок, потом взяла его и

осведомилась:

– Что это значит?

Она читала только по печатному, поэтому взгляд ее как бы спрашивал, стоит ли ей тратить столько усилий в такой момент.

– Читай, – настаивал я.

Тогда она вытерла глаза, развернула листок и медленно-медленно, по складам начала разбирать письмо. После первых же слов она взглянула на подпись, потом, широко раскрыв глаза, перевела их на меня:

– Так это ты?

– Дай сюда, – сказал я. – Я тебе прочту все целиком.

Но Олива прижала листок к груди.

– Нет, – закричала она, – я тебе его не отдам! Оно мне еще пригодится.

– Как оно может пригодиться? – спросил я, горько улыбаясь. – Покажешь мужу? Но в письме нет ни одного слова, которое разуверило бы Маланью в том, чему он так хочет верить. Как видишь, тебя ловко околпачили!

– Ах, верно! Верно! – простонала Олива. – Он явился ко мне, размахивая руками и крича, чтобы я остерегалась сомневаться в честности его племянницы!

– А что из этого следует? – сказал я с язвительным смехом. – Понимаешь, ты ничего не добьешься, если будешь отрицать. Напротив, будь осторожна и соглашайся со всем, подтверждай, что это правда, чистейшая правда, что он может иметь детей... Ясно?

Вот почему примерно месяц спустя Маланья в ярости побил жену, а потом с пеной у рта ворвался к нам в дом, крича, что он требует немедленного удовлетворения, что я обесчестил и погубил его племянницу, бедную сиротку. Он добавил, что, не желая скандала, он согласился молчать. Из жалости к бедняжке он хотел взять ребенка, когда он родится, и усыновить его, поскольку у него, Маланьи, нет своих детей. Но теперь, когда господь послал ему в утешение законное дитя от собственной жены, он уже не может, по совести не может назвать себя отцом другого ребенка, который родится у его племянницы.

– Это сделал Маттиа. Пусть Маттиа и поправляет, – закончил он, дрожа от ярости. – И немедленно! Пусть немедленно сделает все, что я сказал. Не ждите, пока я наговорю лишнего или натворю безумств.

Раз уж мы дошли до этого момента, давайте поразмыслим. В жизни я видел еще и не такое. В конце концов, выглядеть болваном... или даже чем-нибудь похуже – беда не слишком большая. И если, дойдя до этого момента, я все-таки хочу поразмыслить, то делаю это только ради логики.

Мне кажется совершенно бесспорным, что Ромильда не сделала ничего плохого, по крайней мере не старалась ввести дядю в заблуждение. Вот почему Маланья избил жену за измену и обвинил меня перед моей матерью в том, что я обесчестил его племянницу.

Ромильда действительно утверждала, что через некоторое время после нашей прогулки в Стиа мать вырвала у нее признание в любви, которая теперь неразрывно нас связывала; старая ведьма, невероятно разъярясь, кричала ей в

лицо, что никогда не позволит дочери выйти замуж за бездельника, находящегося почти на краю пропасти. А поскольку Ромильда навлекла на себя самую худшую беду, какая только может произойти с девушкой, ее заботливой матери остается одно – извлечь из случившегося возможно больше пользы. Какая польза имела в виду – догадаться нетрудно. Когда Маланья в обычный час явился к ним, мать под каким-то предлогом ушла и оставила Ромильду наедине с дядей. Тогда девушка, как она сама рассказывала, вся в слезах бросилась к его ногам, поведала о своем горе и о том, чего требовала от нее мать; она просила его вмешаться и принудить мать к более честному поведению, потому что она, Ромильда, принадлежит другому и хочет остаться ему верной.

Маланья растрогался, разумеется, до известного предела. Он сказал Ромильде, что она еще несовершеннолетняя, а потому покамест находится под властью матери, которая при желании может начать против меня судебное дело, что он сам, по совести говоря, не может одобрить брачный союз племянницы с шалопаем и безмозглым расточителем вроде меня и поэтому не вправе дать подобный совет ее матери; он добавил, что она должна кое-чем пожертвовать, дабы успокоить справедливый и естественный материнский гнев, и что эта жертва впоследствии принесет ей счастье; закончил он заявлением, что в конце концов в его силах сделать лишь одно – позаботиться (при условии, конечно, строжайшего соблюдения тайны) о новорожденном, даже заменить ему отца, так как у него самого нет детей, а он давно хочет иметь ребенка. «Можно ли, – спросил я себя, – поступить честнее?»

В самом деле, он намерен возвратить ребенку то, что украл у его отца.

Разве он после этого виноват, что я по неблагодарности и легкомыслию сам все расстроил?

Двое? Нет! Двоих он не хочет, черт возьми!

Ему казалось, что двое – это слишком много, и казалось, вероятно, потому, что Роберто, как я уже говорил, выгодно женился. Видимо, Маланья решил, что не так уж сильно навредил моему брату, чтобы платить за двоих.

В конце концов, имея дело с такими хорошими людьми, я не мог не понять, что причина всех зол – я один. Следовательно, мне за все и расплачиваться.

Сначала я презрительно отказался. Потом, уступая мольбам матери, которая видела, что наш дом рушится, и надеялась, что я спасу себя браком с племянницей своего врага, я уступил и женился.

Над моей головой висел грозный гнев Марианны Донди, вдовы Пескаторе.

5. Зрелость

Ведьма не успокаивалась.

– Что ты еще задумал? – спрашивала она меня. – Мало тебе того, что ты воровски втерся ко мне в дом, обольстил мою дочку и погубил ее? Этого тебе мало?

– Ну нет, дорогая теща, – отвечал я. – Остановись я на этом, я доставил бы

вам удовольствие, оказал бы услугу...

— Слышишь? — кричала она дочери. — Он еще хвастается, он смеет хвастаться подвигом, который совершил с той... — Следовал поток мерзкой брани в адрес Оливы. Потом теща подбоченивалась, выставляла локти вперед и продолжала: — Так что же ты задумал? Разве ты уже не разорил заодно и своего ребенка? Но это для него, видите ли, неважно! Ведь тот ребенок тоже от него?

Она никогда не пропускала случая излить весь свой яд, зная, как это действует на Ромильду, ревновавшую к Оливе, ребенку которой суждено родиться в роскоши и жить в радости, тогда как удел ее собственного младенца — печаль, неуверенность в будущем и бесконечные скандалы; ревность поднималась в ней и тогда, когда какая-нибудь кумушка, притворяясь, будто ничего не знает, сообщала ей, что побывала у тетушки Маланьи, которая так довольна, так счастлива милостью, ниспосланной ей господом богом; ах, она стала прямо как розочка: никогда еще она не была такой красивой и цветущей!

А она, Ромильда, лежит в кресле, измученная непрерывными приступами тошноты, бледная, изнеможенная, подурневшая, не зная ни одной радостной минуты, не в силах даже говорить или открыть глаза.

И в этом виноват тоже я? Похоже было, что так. Ромильда не желала больше ни видеть меня, ни слышать. И стало еще хуже, когда для спасения имения Стиа и мельницы мы вынуждены были продать наш дом и бедной маме пришлось поселиться в моем семейном аду.

Кстати, эта продажа ничему не помогла. Маланья, ожидавший наследника, мысль о котором побуждала его поступать без удержу и совести, нанес нам последний удар: он сговорился с ростовщиками и сам, хотя и не от своего имени, скупил все наши дома за ничтожную сумму. Долги, висевшие над Стиа, остались большей частью неоплаченными, имение вместе с мельницей было отдано кредиторам под опеку, а затем продано с молотка.

Что было делать? Я начал, правда, почти без всяких надежд на успех, приискивать себе какое-нибудь занятие, которое могло обеспечить хотя бы самые насущные нужды семьи. Я был ни на что не годен, а слава, которую я стяжал себе в юности бездельем и озорством, не вызывала у людей желания дать мне работу. Кроме того, сцены, ежедневно происходившие у меня дома, в моем присутствии и при моем участии, лишали меня покоя, необходимого для того, чтобы сосредоточиться и поразмыслить над тем, что же я умею и могу делать.

Для меня было подлинной и мучительной пыткой видеть мою мать в обществе вдовы Пескаторе. Святая моя старушка теперь уже знала все, но, с моей точки зрения, она не была ответственна за ошибки, совершенные ею из-за того, что до самой последней минуты она не могла поверить в человеческую низость. Теперь, сложив руки на груди, опустив глаза, она замкнулась в себе и притаилась в уголке, словно не уверенная в том, что ей позволят тут остаться, словно ожидая своего часа, чтобы уйти и, если захочет бог, уйти как можно скорее! Она боялась лишний раз вздохнуть. Время от времени она жалостливо улыбалась Ромильде, но подойти к ней не решалась; однажды, через несколько

дней после ее переселения к нам, она подбежала, чтобы помочь Ромильде, но моя ведьма теща грубо отстранила ее:

– Я сама все сделаю; я лучше знаю, что нужно.

Тогда, видя, что Ромильда действительно нуждается в помощи, я из осторожности смолчал, но в дальнейшем внимательно следил, чтобы никто не проявлял к маме неуважения. Однако я замечал, что мое бережное отношение к матери глухо раздражает и ведьму, и мою жену, и вечно боялся, что в мое отсутствие они обидят ее, чтобы сорвать на ней свое раздражение и освободиться от накопившейся желчи. Я был уверен, что мама мне, конечно, ничего не скажет, и эта мысль терзала меня. Сколько раз я заглядывал ей в глаза, подозревая, что она плакала. Она улыбалась мне, ласково смотрела на меня и спрашивала:

– Что это ты на меня так уставился?

– Ты здорова, мама?

Она делала чуть заметное движение рукой и отвечала:

– Конечно, здорова. Разве ты сам не видишь? Иди-ка лучше к жене, иди. Бедняжка так страдает.

Я решил написать Роберто в Онелью и попросить его взять к себе маму – не для того, чтобы снять с меня тяжесть, которую я охотно продолжал бы нести даже в тех трудных условиях, в каких находился, но единственно ради ее блага.

Берто ответил, что не может этого сделать, потому что после нашего разорения его положение в семье жены стало очень тяжелым. Он жил теперь на приданое и был не вправе навязывать жене еще одну обузу – содержание свекрови.

В конце концов, писал он, маме будет не лучше и у него в доме, так как ему приходится жить с матерью жены, которая, несомненно, очень хорошая женщина, но может перемениться в худшую сторону под влиянием ревности и всяких трений, неизбежно возникающих между тещей и свекровью. Поэтому маме лучше остаться у меня, хотя бы уже для того, чтобы на склоне лет не покидать родных мест и не менять образа жизни и привычек. Далее Берто выражал искреннее сожаление по поводу того, что, ввиду изложенных соображений, он не в силах оказать мне денежную помощь, хотя всем сердцем желал бы этого.

Я скрыл это письмо от мамы. Если бы душевное отчаяние не ослепляло мой разум, я, вероятно, был бы не так возмущен ответом брата; например, в соответствии с обычным направлением моих мыслей, я мог бы сказать себе: «Соловей, лишившись хвоста, утешается тем, что у него остался талант; ну, а что остается у павлина, если он теряет свой хвост?» Даже легкое нарушение того равновесия, которое наверняка стоило Берто немалых трудов, но зато позволяло ему жить, не испытывая унижений, а может быть, и сохранять некоторое достоинство в отношениях с женой, было бы для него огромной жертвой, невозполнимой потерей. Ему ведь нечего было дать жене, кроме красоты, хороших манер и облика элегантного синьора; ни одной искоркой сердечности

он не мог вознаградить ее за те беспокойства, которые доставила бы ей моя бедная мама. Но что поделаешь? Таким уж сотворил его бог, который дал ему лишь самую чуточку сердечной теплоты. Чем же был виноват бедный Берто?

Между тем неприятностей у нас становилось все больше, и я был бессилен этому воспрепятствовать. Мы продали мамины сережки, драгоценную память лучших дней. Вдова Пескаторе, опасаясь, как бы мне с матерью не пришлось вскоре жить на ренту с ее приданого, жалкие сорок две лиры в месяц, день ото дня делалась все мрачней и грубее. С минуты на минуту я ждал с ее стороны взрыва бешенства, которое она так долго сдерживала, вероятно, лишь благодаря присутствию моей мамы и ее выдержке. Видя, как я слоняюсь по дому, словно муха с оторванной головой, эта женщина, похожая на грозовую тучу, бросала на меня взгляды-молнии, предвещавшие бурю. Я уходил, чтобы разрядить атмосферу и предупредить вспышку, но боязнь за маму гнала меня назад.

Однажды я все-таки не поспел вовремя. Буря наконец разразилась, и по самому ничтожному поводу: мою мать навестили две ее старые служанки.

Одна из них, не сумев ничего скопить на черный день, так как ей приходилось содержать дочь – вдову с тремя детьми, сразу же после ухода от нас нашла себе новое место; другая, по имени Маргарита, женщина совершенно одинокая, оказалась счастливее: за долгую службу в нашем доме она кое-что отложила и теперь, на старости лет, могла отдыхать.

Оказавшись в обществе этих двух добрых женщин, преданных подруг многих лет ее жизни, мама тихонько пожаловалась на свою несчастную и горестную судьбу. Маргарита, добрая старушка, догадавшаяся обо всем, но не осмелившаяся заговорить первой, тотчас же предложила маме перебраться к ней, в домик из двух чистеньких комнаток и терраски, утопавшей в цветах и выходившей на море; там, сказала она, они мирно поселятся вдвоем; о, она будет счастлива еще немного поухаживать за мамой и доказать ей, какую любовь и преданность она к ней питает.

Но разве могла моя мать принять предложение бедной старушки? Тут-то и вспыхнул гнев вдовы Пескаторе.

Вернувшись домой, я застал такую сцену: ведьма, размахивая кулаками, насккивала на Маргариту, которая мужественно давала ей отпор, а испуганная, дрожащая мама, со слезами на глазах и словно ища защиты, обнимала обеими руками другую старушку.

Когда я увидел мою мать в таком отчаянии, у меня потемнело в глазах. Я схватил вдову Пескаторе за руку и отшвырнул ее. Она мгновенно поднялась и подбежала ко мне, намереваясь броситься на меня, но, очутившись лицом к лицу со мной, остановилась.

– Вон! – завопила она. – И ты, и твоя мать – вон! Вон из моего дома!

– Слушайте, – сказал я ей тогда голосом, дрожавшим от подавленного желания дать выход своему бешенству, – слушайте, убирайтесь сейчас же и не раздражайте меня. Убирайтесь для собственного же блага! Убирайтесь!

Ромильда, плача и крича, поднялась с кресла и бросилась в объятия матери:

– Нет, ты со мной, мама! Не оставляй, не оставляй меня здесь одну!

Но достойная мамаша яростно отшвырнула ее:

– Ты его хотела? Вот и оставайся со своим прохвостом! Я уйду одна.

Разумеется, она никуда не ушла.

Через два дня, побывав – я так думаю – у Маргариты, к нам, как обычно вихрем, ворвалась тетя Сколастика с намерением увезти маму к себе.

Эта сцена заслуживает описания.

В то утро вдова Пескаторе, засучив рукава, подоткнув юбку и подвязав ее вокруг талии, чтобы не выпачкаться, собиралась печь хлеб. Увидев входящую тетю Сколастику, она едва повернула голову и как ни в чем не бывало продолжала просеивать муку.

Тетя не обратила на это никакого внимания, – да, кстати, она вошла, тоже ни с кем не поздоровавшись, – и тотчас же, как если бы в доме не было никого, кроме моей матери, обратилась к ней:

– Живее, одевайся! Пойдешь ко мне! До меня дошло черт знает что. Вот я пришла. Скорее прочь отсюда! Где твои вещи?

Она говорила отрывисто. Ноздри ее гордого орлиного носа, который время от времени морщился, трепетали на смуглом желчном лице, глаза сверкали.

Вдова Пескаторе молчала.

Кончив просеивать муку, она смочила ее водой, сделала тесто и теперь месила его, высоко подбрасывая и шумно опрокидывая в квашню, – так она отвечала на слова тети Сколастики. Тогда тетя принялась поддавать жару. А вдова, все сильнее хлопая рукой по тесту, словно приговаривала: «Ну да! Ну конечно! А как же? Ну, само собой!» – а потом, словно этого было недостаточно, пошла за скалкой и положила ее рядом на квашню, точно желая сказать: «У меня еще и это припасено!»

Лучше бы она этого не делала! Тетя Сколастика вскочила, яростно сорвала с плеч шаль и кинула ее матери:

– На, надень! Брось все, и сейчас же уйдем!

А сама вплотную подошла к вдове Пескаторе и уставилась на нее. Та, избегая слишком опасной близости, угрожающе отступила на шаг, словно намереваясь ударить ее скалкой; тогда тетя Сколастика, выхватив обеими руками из квашни большой ком теста, нахлобучила его на голову вдове, налепила на лицо и кулаком стала размазывать – хлоп! хлоп! хлоп! – по носу, по глазам, по губам, а тесто текло и текло. Потом схватила маму за руку и увела ее.

Все последствия обрушились исключительно на меня. Вдова Пескаторе, рыча от бешенства, стала сдирать тесто с лица, со склеившихся волос и швырять в меня, а я хохотал до упаду; она дергала меня за бороду, царапала мне лицо; потом, словно сойдя с ума, грохнулась навзничь, начала срывать с себя платье и в дикой ярости кататься по полу; мою жену в это время (*sit venia verba*)⁶ рвало, и она пронзительно вопила.

⁶ Да позволено будет так выразиться (*лат.*).

– Ноги! Ноги! – закричал я вдове Пескаторе, катавшейся по полу. – Ради бога, не показывайте мне ваши ноги!

Можно сказать, что с этого момента я стал смеяться над всеми своими несчастьями и печалью. Я смотрел на себя как на актера самой шутовской трагедии, какую только можно себе представить: моя мать убежала с сумасшедшей теткой; вон там моя жена, которая... ну ладно, бог с ней; вот здесь, на полу, Марианна Пескаторе; и, наконец, я сам, у которого на завтрашний день нет даже хлеба, даже того, что мы называем куском хлеба. Борода у меня в тесте, лицо расцарапано, и по нему от смеха текут не то слезы, не то кровь. Чтобы удостовериться, я подошел к зеркалу: это были слезы, но и расцарапан я был тоже изрядно. Ох, как мне нравился в эту минуту мой глаз! От отчаяния он еще больше, чем обычно, глядел в сторону, куда ему вздумалось. И я убежал, твердо решив не возвращаться домой, пока не найду средств, чтобы самому содержать, пусть нищенски, свою жену и себя.

Яростная злоба на самого себя за свою многолетнюю беззаботность, преисполнившая меня в эту минуту, помогла мне быстро уразуметь, что рассказ о моих бедах ни у кого не встретит не только сочувствия, но даже понимания: я вполне заслужил свою участь.

Пожалеть меня мог только тот, кто захватил все наше имущество, но я отнюдь не надеялся, что Маланья сочтет себя обязанным прийти мне на помощь после всего происшедшего между нами.

Помощь пришла ко мне оттуда, откуда я меньше всего ее ожидал.

Проведя целый день вне дома, я к вечеру случайно натолкнулся на Помино, который хотел пройти мимо, притворяясь, что не замечает меня.

– Помино!

Он обернулся с мрачным видом и остановился, потупив глаза.

– Чего тебе?

– Помино! – повторил я громче, тряся его за плечо и смеясь над его мрачностью. – Да ты серьезно?.

О, человеческая неблагодарность! В довершение всего на меня сердился даже Помино, сердился за то предательство, которое я, по его мнению, совершил. Мне не удалось убедить его, что на самом-то деле я предан ему и что он должен не просто благодарить меня, но, простершись на земле, целовать следы моих ног.

Я был как пьяный от приступа злобной веселости, охватившей меня в тот миг, когда я посмотрел на себя в зеркало.

– Видишь эти царапины? – спросил я его спустя несколько минут. – Это все она.

– Ро... то есть твоя жена?

– Нет, ее мать!

И я рассказал ему все. Он улыбнулся, но так, чуть-чуть. Может быть, он при этом подумал, что его-то вдова Пескаторе не стала бы царапать: у него все было

совсем другое – и положение, и характер, и сердце.

Тут меня стало подмывать спросить его: почему он вовремя сам не женился на Ромильде, если уж так горюет о ней; он ведь мог убежать с нею, как я ему советовал, прежде чем я из-за его нелепой робости и нерешительности влюбился в нее, на свою беду. Я был до того возбужден, что чуть не наговорил ему и многого другого, но все-таки сдержался, протянул ему руку и спросил, с кем он проводил все это время.

– Ни с кем! – вздохнул он. – Ни с кем! Я скучаю, смертельно скучаю!

То отчаяние, с которым он произнес эти слова, казалось, внезапно открыло мне истинную причину мрачности Помино. Так вот в чем дело: он, вероятно, оплакивает не столько потерю Ромильды, сколько утрату всех своих друзей. Берто здесь уже нет, а со мной он не может общаться, потому что между нами стоит Ромильда, – что же оставалось делать бедному Помино?

– Женись, дорогой! – сказал я ему. – Увидишь, как тебе станет весело.

Но он покачал головой, закрыл глаза, поднял руку и с самым серьезным видом объявил:

– Никогда! Теперь уже никогда!

– Браво, Помино! Будь постоянен! А если тебе нужно общество, я в твоём распоряжении, если угодно – хоть на всю ночь.

Я рассказал ему об обещании, которое я дал себе, уйдя из дому, и объяснил, в каком отчаянном положении нахожусь. Помино растрогался и, как истинный друг, предложил мне все деньги, какие у него были с собой. Я поблагодарил от всего сердца, но возразил, что такая помощь меня не спасет: на следующий же день я снова окажусь в затруднительном положении. Мне нужно твердое жалованье.

– Подожди-ка! – воскликнул Помино. – Ты знаешь, что мой отец стал членом муниципалитета?

– Нет, но вполне могу себе это представить.

– Он коммунальный советник по делам народного просвещения.

– Вот уж этого я себе не представлял.

– Вчера за ужином... Постой! Ты знаешь Ромителли?

– Нет.

– Вот те на! Это же тот, кто работает в библиотеке Боккамаццы. Он глух, почти слеп, впал в детство и не держится на ногах. Вчера вечером за ужином отец говорил, что библиотека приведена в самое плачевное состояние и о ней нужно как следует позаботиться. Вот и место для тебя!

– Библиотекарем? – воскликнул я. – Да ведь я...

– Почему бы нет? – сказал Помино. – Если уж годился Ромителли...

Этот довод убедил меня.

Помино посоветовал мне позаботиться, чтобы с его отцом поговорила тетя Сколастика. Так оно будет лучше.

На следующий день я отправился навестить маму и поговорить с ней, потому что тетя Сколастика не пожелала выйти ко мне. Вот так через четыре дня

я и сделался библиотекарем. Шестьдесят лир в месяц! Я стал богаче вдовы Пескаторе и мог торжествовать победу!

В первые месяцы служба меня забавляла, так как Ромителли никак не мог уразуметь, что муниципалитет перевел его на пенсию и он не обязан больше ходить в библиотеку. Каждое утро в один и тот же час, ни минутой раньше, ни минутой позже, он появлялся в ней на четырех ногах (считая палки, которые он держал в обеих руках и которые служили ему лучше, чем ноги). Сразу же по приходе он извлекал из жилетного кармана старые медные часы-луковицу на толстой цепочке и вешал их на стену. Затем он садился, ставил палки между ног, вытаскивал из кармана круглую шапочку, табакерку, большой платок в красную и черную клетку, закладывал в нос большую понюшку, утирался, открывал ящик столика и вынимал оттуда принадлежащую библиотеке книгу – «Исторический словарь мертвых и живых музыкантов, артистов и любителей искусства, напечатанный в Венеции в 1758 году».

– Синьор Ромителли! – кричал я ему, пока он невозмутимо проделывал все эти операции, не подавая виду, что заметил меня.

Но кому я это говорил? Он не услышал бы даже пушечного выстрела. Я тряс его за руку, и тогда он оборачивался, таращил глаза, прищуривался, совершенно перекашивая при этом лицо, и показывал желтые зубы, вероятно, пытаясь улыбнуться мне. Затем он склонялся над книгой с таким видом, словно хотел лечь на нее, как на подушку; на самом деле он просто так читал – одним глазом на расстоянии двух сантиметров от книги, читал вслух:

– Бирнбаум, Иоганн Абрахам!.. Бирнбаум, Иоганн Абрахам напечатал... Бирнбаум, Иоганн Абрахам напечатал в Лейпциге в тысяча семьсот тридцать восьмом году брошюрку ин-октаво... ин-октаво. Беспристрастные замечания по поводу одного деликатного поступка музыканта-критика. Мицлер... Мицлер поместил этот эпизод в первом томе своей музыкальной библиотеки. В тысяча семьсот тридцать девятом году...

И он продолжал читать, повторяя по два, а то и по три раза каждое имя и дату, словно старался их запомнить. Не могу понять, почему он читал так громко. Повторяю: он не услышал бы и пушечного выстрела.

Я изумленно смотрел на него. Какое было дело такой развалине, стоявшей, можно сказать, одной ногой в гробу (он умер через четыре месяца после назначения меня библиотекарем), до того, что Иоганн Абрахам Бирнбаум напечатал в 1738 году в Лейпциге брошюрку ин-октаво? И зачем он тратил столько сил на чтение? Может быть, он просто не в силах был жить без всех этих дат и сведений (он-то, совершенно глухой!) о музыкантах, артистах и любителях искусства, живших до 1758 года. Или, может быть, он полагал, что, поскольку библиотека создана для чтения, а в нее не заглядывает ни одна живая душа, библиотекарь обязан читать сам? Вот почему он взял эту книгу – впрочем, он мог бы взять любую другую. Он до такой степени отупел, что это предположение вполне вероятно, пожалуй, еще более вероятно, чем первое.

Большой стол посередине был покрыт слоем пыли в палец толщиной, и я,

чтобы как-то загладить черную неблагодарность моих сограждан, начертал на нем большими буквами следующую надпись:

**МОНСИНЬОРУ БОККАМАЦЦЕ,
ВЕЛИКОДУШНЕЙШЕМУ ДАРИТЕЛЮ,
В ЗНАК ВЕЧНОЙ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ СОГРАЖДАНЕ ВОЗЛОЖИЛИ
ЭТУ ПЛИТУ**

Время от времени с полок валились книги, а вдогонку им несколько крыс размером с доброго кролика.

Это сыграло в моей жизни ту же роль, что яблоко в жизни Ньютона.

– Нашел! – с удовлетворением воскликнул я. – Вот и занятие для меня, пока Ромителли читает своего Бирнбаума.

И для начала я написал учтивейшее прошение по инстанции на имя многоуважаемого кавалера Джероламо Помино, коммунального советника по делам народного просвещения, о незамедлительном снабжении библиотеки Боккамаццы, иначе – библиотеки Санта-Мариа Либерале, по крайней мере двумя кошками, содержание которых почти ничего не будет стоить муниципалитету, принимая во внимание, что вышеуказанные животные могут и сами прокормиться за счет обильной охотничьей добычи. Я присовокупил также, что было бы неплохо снабдить библиотеку полдюжиной крысоловок с необходимым количеством приманки. Под этой последней подразумевался сыр, но, в качестве подчиненного, я не счел возможным употреблять столь грубое слово в прошении, которое будут читать глаза коммунального советника по делам народного просвещения.

Сначала мне прислали двух настолько заморенных кошчонок, что они сразу же испугались огромных крыс и, чтобы не сдохнуть с голоду, принялись лазить в крысоловки за сыром. Каждое утро я освобождал их из плена, отощавших, взъерошенных и до того напуганных, что у них не было ни сил, ни желания мяукать.

Я сочинил новое прошение, и тогда в библиотеке появились два красивых кота, ловких и деловитых, которые, не теряя времени, принялись выполнять свой долг. Помогли мне и крысоловки, куда крысы попадались живьем. И вот однажды вечером, раздраженный тем, что Ромителли не обращает ни малейшего внимания на мои труды и победы, словно его обязанность – читать, а крыс – грызть библиотечные книги, я перед уходом посадил двух живых крыс в ящик столика. Я надеялся хоть на одно утро оторвать Ромителли от его обычного убийственно скучного чтения. Какое там! Открыв ящик и почувствовав, как эти два зверька пробежали у него под носом, он обернулся ко мне (я уже не мог сдерживаться и разразился хохотом) и спросил:

– Что это было?

– Две крысы, синьор Ромителли!

– А-а, крысы... – спокойно протянул он.

Они были для него вроде как домашними животными, он к ним привык, поэтому он как ни в чем не бывало принялся за чтение своего фолианта.

В одном из «Трактатов о деревьях» Джованни Витторио Содерини можно прочесть, что «фрукты зреют частично благодаря теплу, частично благодаря холоду, поскольку тепло, как это наблюдается повсеместно, обладает способностью ускорять вызревание и является его естественной причиной». Очевидно, Джованни Витторио Содерини не знал, что садоводы умеют ускорять созревание не только с помощью тепла, но и другим способом. Когда им надо отвезти ранние фрукты на рынок и продать их подороже, они срывают эти плоды – яблоки, персики, груши – раньше, чем они дойдут и станут приятны на вкус, и ударами приводят их в состояние зрелости.

Так дозрел и я, совсем еще зеленый юнец.

За короткое время я стал совсем иным, чем раньше. Когда Ромителли умер, я остался один в заброшенной часовенке среди всех этих книг, где меня пожирала скука; я был беспредельно одинок, но не искал общества. Я мог бы проводить на службе всего лишь несколько часов в день, но показаться на улицах городка мне, впадшему в нищету, было стыдно, из дома же я бежал, как из тюрьмы; поэтому я повторял себе: «Лучше уж торчать здесь. Чем заняться? Охотой на крыс, разумеется». Но разве мне этого было достаточно?

Когда я в первый раз заметил, что стою с книгой, которую бессознательно, наугад снял с одной из полок, меня охватила дрожь ужаса. Значит, и я, как Ромителли, опустился до того, что чувствую потребность читать за всех, кто не приходит в библиотеку? Я швырнул книгу на пол, но потом поднял ее и – да, синьоры, – тоже начал читать и тоже одним глазом, потому что другой глядел у меня в сторону.

Читал я беспорядочно, всего понемногу, но главным образом книги по философии. Это очень тяжелая пища, но тот, кто ею питается и усваивает ее, витает в облаках. Она еще больше спутала мои мысли, и без того несвязные. Когда голова у меня начинала кружиться, я закрывал библиотеку и спускался по крутой тропинке на маленький пустынный пляж.

Вид моря порождал во мне ужасное смятение, которое постепенно стало просто невыносимым. Я сидел на пляже, опустив голову и запрещая себе смотреть на море, но слышал его шум по всему берегу, медленно пересыпал между пальцами тяжелый, плотный песок и бормотал:

– Вот так всегда, до самой смерти, без всяких перемен...

Неизменность условий моего существования возбуждала во мне внезапные странные мысли, почти вспышки безумия. Я вскакивал, словно желая стряхнуть их, и начинал расхаживать вдоль берега; я видел, как море без устали шлет на сушу ленивые, дремотные волны, видел вокруг пустынные пески и гневно кричал, размахивая кулаками:

– Почему? Почему?

И море омывало мне ноги.

Быть может, оно забрасывало волну чуть дальше обычного, чтобы

предостеречь меня:

«Видишь, дорогой, чего ты добился своими «почему»? Только промочил ноги. Вернись-ка лучше в библиотеку. Соленая вода разъедает обувь, а у тебя нет лишних денег, чтобы бросать их на ветер. Вернись в библиотеку и не читай книг по философии. Иди и уж лучше тоже читай о том, что Иоганн Абрахам Бирнбаум напечатал в тысяча семьсот тридцать восьмом году в Лейпциге брошюрку ин-октаво. Это, без сомнения, полезнее».

В один прекрасный день за мной наконец пришли: у моей жены начались роды, и мне надо было спешить домой. Я помчался как безумный, но хотелось мне главным образом убежать от себя самого, ни секунды не оставаться наедине с самим собой, не думать, что у меня сейчас родится ребенок. У меня? В таких условиях? Ребенок?

Не успел я вбежать в двери дома, как теща схватила меня за плечи и повернула назад:

– Врача! Живей! Ромильда умирает!

Я должен бы остаться дома, не правда ли? Вместо этого внезапно, как снег на голову: «Беги!» Я не чуял под собой ног, не знал, в какую сторону направиться, и на бегу бессмысленно повторял: «Врача! Врача!» Встречные останавливались и требовали, чтобы я тоже остановился и объяснил им, что у меня случилось; я чувствовал, как меня тянут за рукав, видел бледные, расстроенные лица, но всех отстранял: «Врача! Врача!» А врач в это время уже был у меня дома. И когда я, запыхавшись, изнемогая, обегав все аптеки, в бешенстве и отчаянии вернулся к себе, первая девочка уже родилась, и Ромильда силилась произвести на свет второго ребенка.

– Двойня!

Мне кажется, я как сейчас вижу их рядом в колыбельке – они царапали друг друга тоненькими пальчиками, словно движимые каким-то диким инстинктом, который внушал и жалость, и отвращение. Жалкие, еще более жалкие, чем те две кошечки, которых я каждое утро вызволял из крысоловок и у которых не хватало сил даже мяукать, они тоже были не в состоянии даже пищать и все-таки царапались!

Я отодвинул их друг от друга, и при первом же прикосновении к их нежным холодным тельцам меня охватило незнакомое чувство – невыразимая трепетная нежность. Это были мои дочери!

Одна умерла через несколько дней, другая же дала мне время привязаться к ней со всей пылкостью отца, у которого нет ничего, кроме ребенка, и который видит в нем единственный смысл жизни. Как жестоко, что она умерла, когда ей был уже почти год и она стала такой хорошенькой, вся в золотых кудряшках, которые я навивал себе на пальцы и никогда не уставал целовать; она говорила мне: «Папа», а я ей тотчас в ответ: «Дочка», а она мне снова: «Папа»... Так, без всякой цели, как перекликаются между собой птицы.

Одновременно с ней, в тот же день и почти в тот же час, умерла моя мать. Я не знал, как поделить между ними мои заботы и мое горе. Я оставлял малютку

спящей и бежал к маме, которая не думала о себе, о предстоящей смерти и все спрашивала о внучке, горюя, что не может ее увидеть и поцеловать в последний раз. Эта пытка длилась девять дней! И после девяти суток напряженного бодрствования, не сомкнув глаз ни на минуту... Должен ли я признаться в этом? Многие, вероятно, постеснялись бы сказать правду, но ведь это же свойственно, свойственно человеку!.. Я в первый момент не почувствовал горя: на какое-то время я словно застыл, погрузился во мрак и заснул. Да, прежде всего мне надо было выспаться. Потом, когда я проснулся, меня охватила неистовая, гневная тоска по моей дочурке, по маме, которых больше не было... И я чуть не сошел с ума. Целую ночь я бродил по городку и по полям; не знаю, о чем я думал; знаю только, что в конце концов я оказался в имении Стиа, около мельничного пруда, и старый Филиппо, бывший мельник, а ныне сторож, увел меня подальше, под деревья, усадил на землю и долго-долго рассказывал мне о моей маме, об отце, о далеких, прекрасных днях; он убеждал меня не плакать и не отчаиваться, – ведь добрая бабушка поспешила на тот свет именно за тем, чтобы ухаживать там за внучкой, постоянно говорить ей обо мне, держать ее на коленях и никогда не оставлять одну.

Три дня спустя Роберто, словно желая заплатить мне за мои слезы, прислал мне пятьсот лир. Он писал, что хочет пристойно похоронить маму. Но об этом уже позаботилась тетя Сколастика.

Пятьсот лир некоторое время лежали в одной из библиотечных книг.

Потом они сослужили мне службу, став – как бы это выразиться? – причиной моей *первой* смерти.

6. Так, так, так...

Казалось, играет только он, шарик из слоновой кости, который там, внутри рулетки, грациозно бежит против часовой стрелки.

Так, так, так...

Да, играет именно он один, а вовсе не те, кто смотрит на него, терзаясь мукой, на которую обрекают их его капризы. Это ему вон тут, внизу, на желтых квадратах игорного стола, приносят как жертвенную дань золото и снова золото столько рук, дрожащих от страстного ожидания и бессознательно нащупывающих золото для следующей ставки; это на него устремлены молящие глаза, которые как бы говорят: «Где же соизволишь остановиться ты, изящный шарик слоновой кости, наше жестокое божество?»

Сюда, в Монте-Карло, я попал случайно.

После одной из обычных сцен с тещей и женой, сцен, которые теперь внушали мне, подавленному и разбитому двойным горем, непреодолимое отвращение, я поддался тоске и почувствовал, что не в силах больше продолжать такое омерзительное существование. Беспросветно несчастный, лишенный возможности и надежды хоть что-нибудь изменить, утратив свое единственное утешение – мою милую дочурку, не зная, чем облегчить душевную горечь и

тоску, я внезапно решился и пешком ушел из нашего городка, унося в кармане пятьсот лир, присланных Берто.

Сперва я намеревался отправиться в Марсель; в соседнем поселке, куда я шел, была маленькая железнодорожная станция; добравшись до Марселя, я мог бы сесть на пароход и отправиться в Америку.

В конце концов, чего мне бояться после того, что я выстрадал в собственном доме? Конечно, в будущем меня ожидают новые цепи, но оков тяжелее тех, которые я собирался сбросить с ног сейчас, я все равно не мог себе представить.

И потом, я увижу другие страны, других людей, другую жизнь и по крайней мере освобожусь от тяжести, которая душит меня и давит.

Однако, подъезжая к Ницце, я почувствовал, что начинаю терять мужество. Мой юношеский пыл давно уже погас: тоска изгрызла меня, горе обессилило. Но больше всего меня угнетала ничтожность суммы, с которой я отважился пуститься в такое далекое путешествие, навстречу неведомой судьбе, и к тому же совершенно не подготовленный к ожидающей меня новой жизни.

Итак, сойдя с поезда в Ницце и не решив еще окончательно вернуться домой, я бродил по городу и на авеню де ла Гар случайно остановился перед большим магазином, вывеска которого большими позолоченными буквами возвещала:

DÉPÔT DE ROULETTES DE PRÉCISION»⁷

В витрине были выставлены рулетки разных размеров, другие игорные принадлежности, а также всевозможные брошюры с изображением рулетки на обложках.

Известно, что люди несчастные, при всей их склонности высмеивать доверчивые надежды ближних, сами часто бывают суеверны и обольщают себя беспочвенными надеждами, которые, разумеется, никогда не оправдываются.

Вспоминаю, что, прочитав название одной из этих брошюр, «Méthode pour gagner à la roulette»,⁸ я отошел от магазина с высокомерно-снисходительной улыбкой. Но, сделав несколько шагов, я с той же самой высокомерно-снисходительной улыбкой на губах вернулся обратно, вошел в магазин и купил брошюру.

Я совершенно не знал, о чем идет речь, в чем состоит игра и как устроен игровой аппарат. Я начал читать, но понял очень мало.

«Может быть, это объясняется тем, что я плохо знаю французский?» – подумалось мне.

Французскому языку меня никто не учил; я овладел им сам, почитывая разные книжки в библиотеке. Я совершенно не был уверен в своем произношении и боялся заговорить по-французски, чтобы не навлечь на себя

⁷ Продажа выверенных рулеток (франц.).

⁸ Способ выигрывать в рулетку (франц.).

насмешки, но потом подумал, что уж раз я собираюсь в Америку без всяких средств и в глаза не выдав ни одной английской или испанской книги, то, зная немного по-французски и располагая путеводителем – только что купленной брошюрой, – я могу отважиться на поездку в Монте-Карло, тем более что до этого города рукой подать.

«Ни теща, ни жена, – повторял я себе в поезде, – ничего не знают об этих деньгах, лежащих у меня в бумажнике. Поеду и растрочу их, чтобы избавиться от искушения. Надеюсь, что сумею сохранить сколько надо на обратный проезд. А если нет...»

Я слышал, что в саду вокруг игорного дома растет довольно деревьев – и притом крепких. В конце концов я могу без лишних расходов повеситься на одном из них с помощью брючного ремня; я даже буду, пожалуй, выглядеть довольно импозантно. Люди, вероятно, скажут про меня:

– Бедняга, наверно, бог знает сколько проиграл!

Надо, однако, признаться, что я надеялся на лучшее. И то сказать, вход выглядел неплохо. Восемь его мраморных колонн сразу наводили на мысль о том, что здесь хотели воздвигнуть храм Фортуны. По обеим сторонам подъезда располагались две боковые двери. Сначала я подошел к большой двери, на которой было написано «Tirez»,⁹ затем приблизился к подъезду с надписью «Poussez»,¹⁰ означавшей, очевидно, нечто противоположное; я толкнул дверь и вошел.

До чего же, к сожалению, было безвкусно внутри! Неужели нельзя было на радость людям, оставившим здесь такую уйму денег, устроить все так, чтобы их обирали в помещении менее пышном, но более красивом? Во всех больших городах устраиваются красивые бойни для бедного скота, но поскольку животные лишены всякого образования, они не умеют наслаждаться этой красотой. Правда, большая часть посетителей казино занята совсем иными мыслями и не обращает внимания на безвкусную отделку пяти его залов; точно так же те, кто рассаживается вокруг игорного стола на диванах, чаще всего просто не замечают сомнительной роскоши, которая их окружает.

На этих диванах сидят обычно несчастные, чей рассудок бесповоротно помutilа страсть к игре; они сидят там в надежде определить вероятность выигрыша, с невозмутимой серьезностью размышляют, какие комбинации им испробовать, изучают архитектуру игры, наблюдают за чередованием номеров – словом, пытаются открыть закономерность в случайности, что не легче, чем выдавить воду из камня, и пребывают в убеждении, что не сегодня завтра им это удастся.

Впрочем, ничему не следует удивляться.

– Ах, двенадцать, двенадцать! – говорил мне один синьор из Лугано, мужчина, размеры которого наводили на самые утешительные размышления о

⁹ К себе (франц.).

¹⁰ От себя (франц.).

способности рода человеческого сопротивляться ударам судьбы. – Двенадцать – это король чисел, это мой номер. И он никогда не изменяет мне. Правда, он часто подводит меня, но в конце концов все-таки вознаграждает за верность.

Этот мужчина крупных размеров, влюбленный в число двенадцать, не мог говорить ни о чем другом. Он рассказал мне, что накануне это число ни разу не пожелало выйти, но он все-таки не сдался, упорно ставил на двенадцать и проигрывал до последней минуты, когда крупье объявил:

– Messieurs, aux trois derniers!¹¹

И вот, на первом круге – ничего, на втором – ничего, и лишь в третьем, и последнем, внезапно: бах – двенадцать.

– Оно ответило мне! – уверял он со сверкающими от радости глазами. – Оно мне ответило!

Правда, для последней ставки у него оставалось очень мало, так как он весь день проигрывал; таким образом, выигрыш ничего не поправил. Но какое это имеет значение, если число двенадцать ему все-таки ответило! Слушая такие рассуждения, я вспомнил одно четверостишие бедного Циркуля. После того как из нашего дома было вынесено все имущество, тетрадь с его виршами и каламбурами попала в библиотеку, и мне захотелось прочитать этому господину следующее четверостишие:

К Фортуне быстрокрылой я, убогий,
Взывал и долго ждал своей поры.
Но вот она и на моем пороге
Стоит, – увы! – скупая на дары.

А он охватил голову руками, и лицо его долго искажала страдальческая гримаса. Я посмотрел на него сначала с удивлением, потом с тревогой:

– Что с вами?

– Ничего. Просто смеюсь, – ответил он мне.

Вот как он смеялся! У него так сильно болела голова, что и легкая дрожь смеха казалась ему слишком мучительной.

Попробуйте-ка влюбиться в число двенадцать!

Хотя у меня не было никаких иллюзий, я, прежде чем испытать судьбу, решил немного понаблюдать за игрой. Она показалась мне совсем не такой сложной, как я воображал себе, прочитав брошюрку.

Посреди стола, на зеленом перенумерованном поле, была укреплена рулетка. Игроки, мужчины и женщины, старые и молодые, сидели или стояли вокруг и нервно готовились ставить кучи и кучки луидоров, скуди, банковских билетов на желтые номера квадратов: те, кто не сумел или не захотел пробиться к столу, называли крупье номера и цвета, на которые они собирались ставить, и крупье в соответствии с их указаниями с изумительным проворством лопаточкой

¹¹ Господа, три последние ставки! (франц.)

располагал ставки; затем наступала тишина, странная, томительная, словно трепещущая от сдержанной страсти и по временам прерываемая монотонными и ленивыми возгласами крупье:

– Messieurs, faites vos jeux!¹²

А у других столов другие, такие же монотонные голоса повторяли:

– Le jeu est fait. Rien ne va plus!¹³

В конце концов крупье бросал шарик на рулетку.

Так, так, так...

Все взоры устремлялись к шарiku. В глазах читались самые разные чувства – тревожное ожидание, вызов, мука, ужас. Игроки, стоявшие позади тех, кому посчастливилось занять место за столом, перегибались через стулья, чтобы еще раз проверить свою ставку, прежде чем крупье лопаточкой снимет ее.

В конце концов шарик падал на какую-нибудь цифру, и крупье тем же тоном произносил обычную формулу, объявляя выигравший номер и цвет.

Первую маленькую ставку я поставил за столом слева в первом зале, наобум назвав цифру двадцать пять; я тоже стоял и с улыбкой смотрел на предательский шарик, чувствуя какой-то странный холодок в животе. Наконец шарик остановился...

– Vingt-cinq, rouge, impair et passe!¹⁴ – объявил крупье.

Выиграл! Я уже протянул руку, чтобы взять мою увеличившуюся кучку, как вдруг какой-то очень высокий господин с могучими, но слишком покатыми плечами, над которыми возвышалась маленькая голова с плоским лбом, длинными, прилизанными на затылке белокурыми с проседью волосами, остренькой бородой и усами того же цвета, горбатым носом и золотыми очками, оттолкнул меня и без всяких церемоний забрал себе мои деньги.

На моем скудном французском языке я робко заметил ему, что он ошибся – о, конечно, невольно... Он был немец, говорил по-французски еще хуже, чем я, но бросился на меня с мужеством льва, утверждая, что ошибся, без сомнения, я сам и что это его деньги.

Я удивленно оглянулся – все молчали, даже мой сосед, который отлично видел, как я поставил эти несколько монет на двадцать пять. Потом я посмотрел на крупье. Они стояли неподвижно и бесстрастно, как статуи.

– Ах так! – сказал я себе спокойно, взял другие монеты, которые положил на стол рядом с собой, и ушел. «Вот еще один способ pour gagner à la roulette,¹⁵ – подумал я, – который не разобран в моей брошюре. И, быть может, единственно верный способ».

Но судьба, не знаю уж, во имя каких тайных целей, пожелала торжественно

12 Господа, делайте ставки! (франц.)

13 Ставки сделаны. Банк закрыт (франц.)

14 Двадцать пять, краевое, нечет и пас! (франц.)

15 Чтобы выиграть в рулетку (франц.).

и неизбежно опровергнуть мои выводы.

Подойдя к другому столу, где играли по крупной, я сначала долго рассматривал окружающих его людей. По большей части это были господа во фраках, было среди них и несколько дам; многие показались мне сомнительными субъектами, а один белокурый человечек с большими голубыми глазами, испещренными красными жилками и обрамленными длинными, почти белыми ресницами, сперва внушил мне прямо-таки недоверие: он тоже был во фраке, хотя, судя по виду, явно не привык носить его. Мне захотелось посмотреть, как человечек ведет себя во время игры. Он поставил много и проиграл, но не изменился в лице и в следующий раз опять сделал крупную ставку. Ясное дело, этот на мои гроши не польстится! Хотя в первый раз я и обжегся, тут я устыдился своей подозрительности. Вокруг столько людей, которые пригоршнями, словно песок, без всякого страха, бросают золото и серебро, а я дрожу над такой ничтожной малостью!

Среди прочих я заметил бледного, как воск, юношу с большим моноклем в левом глазу, который старался напустить на себя сонливо-безразличный вид; он сидел развалясь, вытаскивал золотые из кармана панталон и ставил их наобум, на какой попало номер, а потом, не глядя на ставку и пощипывая еле пробивающиеся усики, ждал, пока шарик остановится. Тогда он спрашивал у соседа, проиграл он или нет.

Проигрывал он непрерывно.

Его соседом был худощавый, в высшей степени элегантный господин лет сорока, с длинной тонкой шеей, почти без подбородка, с черными живыми глазками и с черными как смоль волосами, густыми и зачесанными назад. Ему доставляло явное удовольствие отвечать юноше утвердительно. Сам он иногда выигрывал.

Я встал рядом с толстым господином, до того смуглым, что глазницы и веки его казались закопченными; у него были седые, стального оттенка волосы, но еще совсем черная кудрявая борода; он дышал силой и здоровьем, и все же казалось, что движение шарика слоновой кости вызывает у него астму, так сильно и неудержимо начинал он всякий раз хрипеть. Люди оборачивались и смотрели на него, но он редко замечал это; заметив же, на мгновение переставал хрипеть, оглядывался кругом с нервной улыбкой и снова принимался хрипеть, не в силах остановиться до тех пор, пока шарик не попадал на цифру.

Я наблюдал, и лихорадка игры постепенно охватывала меня. Первые ставки не удались. Потом я почувствовал странное бурное опьянение; я действовал почти автоматически, повинуюсь неожиданному бессознательному вдохновению; я ставил каждый раз после всех, и во мне тотчас же возникала сперва надежда на выигрыш, затем уверенность в нем. И я выигрывал. Сначала я ставил мало, потом постепенно, не считая, начал увеличивать ставки; во мне росло нечто вроде просветленного опьянения, которое не омрачили даже несколько проигрышей, так как мне казалось, что я почти предвидел их. Иногда я даже говорил себе: «Вот эту ставку я проиграю, *должен проиграть*». Я был словно

наэлектризован. Наступил момент, когда меня охватило вдохновенное желание рискнуть всем, раз и навсегда. Я выиграл. У меня звенело в ушах; я был весь в холодном поту. Мне показалось, что один из крупье, словно удивленный такой постоянной удачей, следит за мной. Я заколебался, но во взгляде этого человека я прочел нечто вроде вызова и, не размышляя, вновь рискнул всем, что у меня было и что я выиграл. Моя рука сама потянулась к прежнему номеру – тридцать пять; я хотел было снять ставку, но затем, словно повинуюсь чьему-то приказанию, опять положил деньги на место.

Я закрыл глаза и, должно быть, очень побледнел. Стало необычайно тихо, и мне показалось, что все происходит только ради меня одного, что все разделяют со мной страшное тревожное ожидание. Шарик вертелся, вертелся целую вечность с медленностью, которая от секунды к секунде делала попытку все более невыносимой.

Наконец он остановился.

Я уже знал, что крупье привычным голосом (мне казалось, что слова его доносятся откуда-то издалека) сейчас объявит:

– Trente-cinq, noir, impair et passe!¹⁶

Я взял деньги и ушел, шатаясь словно пьяный. Измученный вконец, я упал на диван и откинул голову на спинку, чувствуя неожиданную непреодолимую потребность хоть немного заснуть, забыться. Но когда я почти поддался этому желанию, я почувствовал на себе такую физически ощутимую тяжесть, которая немедленно заставила меня очнуться. Сколько я выиграл? Я открыл глаза, но был вынужден снова закрыть их – у меня кружилась голова. Жара в зале была невыносимая. Как! Неужели уже вечер? Я мельком увидел зажженные огни. Сколько же времени я играл? Я тихонько встал и вышел.

Снаружи, в подъезде, я увидел дневной свет. Свежий воздух подбодрил меня.

Гуляющих в саду было не много: одни прохаживались задумчиво и одиноко, другие по двое и по трое, болтая и покуривая.

Я наблюдал за всеми. Человек в этих местах новый, еще не освоившийся, я стремился хоть немного походить на завсегдатая. Особенно пристально я присматривался к тем, кто держался наиболее развязно. Порою, когда я меньше всего этого ожидал, кто-нибудь из таких людей бледнел, устремлял глаза в одну точку, бросал папиросу и под смех окружающих возвращался в игорный дом. Почему его собеседники смеялись? Но ведь смеялся и я – непроизвольно и с каким-то идиотским видом.

– À toi, mon chéri,¹⁷ – услышал я тихий, немного хриплый женский голос.

Я обернулся и увидел одну из тех женщин, которые вместе со мной сидели у игорного стола: она, улыбаясь, протягивала мне розу. Другую она оставила себе. Она только что их купила у цветочницы в вестибюле.

¹⁶ Тридцать пять, черное, нечет и пас! (франц.)

¹⁷ Вот тебе, милый (франц.)

Неужели у меня был такой смешной и глупый вид? Страшное раздражение охватило меня. Даже не поблагодарив, я отказался от подарка и отодвинулся от женщины; но она только рассмеялась, взяла меня под руку и, всем видом показывая окружающим, что у нас с ней интимный разговор, торопливо и тихо заговорила со мной. Я понял, что она присутствовала при моем выигрыше и предлагает мне играть вместе с ней: она хотела по моим указаниям ставить и за себя, и за меня.

Меня передернуло, я презрительно отвернулся и ушел. Несколько позже, вернувшись в игорный зал, я увидел, что она разговаривает с низеньким, смуглым, бородатым, косоглазым господином, по виду испанцем. Она дала ему розу, которую раньше предлагала мне. По тому, как они повернулись при моем появлении, я понял, что они говорили обо мне, и решил быть настороже.

Я вошел в другой зал и приблизился к первому столу, не собираясь играть; и вот, немного спустя, этот господин, уже без спутницы, тоже подошел к столу, делая вид, что не заметил меня.

Тогда я уставился на него, желая дать ему понять, что я все заметил и что меня не проведешь.

Но он совсем не походил на мошенника. Я видел, что он играет и притом крупно: он проиграл подряд три ставки, торопливо моргая – наверно, потому, что ему было трудно скрыть свое волнение. Проиграв третью ставку, он посмотрел на меня и улыбнулся.

Я оставил его там и вернулся в другой зал, к столу, за которым я выиграл.

Крупье сменился. Женщина сидела там же, на прежнем месте. Я встал сзади, чтобы она меня не заметила, и увидел, что она играет по маленькой и ставит не каждый раз. Я протиснулся вперед. Она меня заметила, хотела поставить, но удержалась. Она явно ждала, пока я начну играть, чтобы поставить на тот же номер, что и я. Но ждала напрасно. Когда крупье объявил: «Le jeu est fait. Rien ne va plus», я посмотрел на нее. Она подняла палец и шутливо погрозила мне. Несколько раз я пропустил, лотом, снова придя в возбуждение при виде играющих и чувствуя, что во мне зажигается прежнее вдохновение, перестал обращать на нее внимание и снова стал играть.

По какому таинственному наитию я так безошибочно ориентировался в непостижимом разнообразии комбинаций чисел и цветов? Во мне, наверно, жило какое-то изумительное подсознательное предвидение. Как можно иначе объяснить то безумное, поистине безумное упорство, одно воспоминание о котором бросает меня в дрожь? Ведь я рисковал всем, быть может – самой жизнью, и мои ставки были самым настоящим вызовом судьбе. Но нет, в те минуты, когда я покорял и околдовывал судьбу, подчиняя ее капризы своей воле, у меня было сознание небывалой, почти демонической силы. И эта уверенность жила не только во мне: она мгновенно заразила окружающих, и теперь почти все они, затаив дыхание, следили за моей отчаянной игрой. Не помню уж точно, сколько раз подряд выиграло красное, на которое я упорно ставил; когда я ставил на нуль, выходил и нуль. Даже тот юноша, который вытаскивал золотые из

кармана панталон, наконец встряхнулся и словно воспламенился. Толстый смуглый господин хрипел громче обычного. Возбуждение вокруг стола росло с каждой минутой; всех от нетерпения била дрожь, все делали короткие нервные жесты, с трудом сдерживая мучительную и страшную ярость. Даже крупные утратили свою каменную бесстрастность.

Внезапно, сделав огромную ставку, я ощутил что-то вроде головокружения. Мне показалось, что на мне лежит чудовищная ответственность. Я почти ничего не ел с утра и поэтому весь дрожал от длительного и сильного возбуждения. Я больше не мог подавлять его и после этой ставки направился к выходу, но тут же почувствовал, как кто-то схватил меня за руку. Коренастый бородатый испанец с глазами, метавшими молнии, возбужденно пытался удержать меня. Сейчас четверть двенадцатого, крупные приглашают сделать три последние ставки; мы могли бы сорвать банк.

Он говорил на комичном, ломаном итальянском языке, а я, ничего уже не соображая, упорно отвечал ему на своем родном языке:

– Нет, нет! Довольно! Я больше не могу! Позвольте мне уйти, дорогой синьор!

Он отпустил меня, но пошел за мной. Вместе со мной он сел в поезд на Ниццу и потребовал, чтобы я непременно поужинал с ним и остановился в том же отеле, что и он.

Сначала мне было приятно то почти боязливое восхищение, которое проявлял этот человек, обращавшийся со мной так, словно я волшебник. Человеческое тщеславие не отказывается иногда воздвигать себе пьедестал даже из оскорбительного подбострания, даже из горького и зловонного фимиама недостойной и ничтожной лести. Я был похож на полководца, который случайно, сам не зная как, выиграл тяжелое и безнадежное сражение. Но вскоре я уже начал понимать это, пришел в себя, и общество нового знакомого стало постепенно раздражать меня.

Однако по приезде в Ниццу мне, как я ни старался, не удалось от него отделаться, и пришлось пойти с ним ужинать. И тогда он признался, что туда, в подъезд казино, прислала его та самая женщина, веселенькая дамочка, которой он в течение трех дней прилаживал крылышки из банковских билетов, чтобы она могла летать хотя бы над самой землей, то есть, проще говоря, дал несколько сот лир, чтобы она попытала счастье. Дамочка, вероятно, порядочно выиграла в этот вечер, ставя на мои номера, потому что при выходе ее уже не было видно.

– Что поделаешь! Бедняжка, наверно, нашла себе что-то получше: я ведь уже старик. Впрочем, благодарю бога за то, что он избавил меня от нее.

Он сказал мне, что живет в Ницце уже около недели и каждое утро ездит в Монте-Карло, где до этого вечера неизменно и крупно проигрывал. Он хочет знать, как я научился выигрывать. Вероятно, я понял механизм игры и постиг какое-то ее непреложное правило.

Я рассмеялся и ответил, что до сегодняшнего утра не видел рулетки даже на картинках и что не только совершенно не знал, как люди играют, но даже

отдаленно не предполагал, что буду играть и столько выиграю. Я изумлен и поражен этим больше, чем он.

Он не поверил мне. Я убедился в этом, когда, ловко изменив тему (он, без сомнения, считал, что имеет дело с патентованным мошенником) и совершенно непринужденно изъясняясь на своем полуиспанском, полу бог знает каком языке, он предложил мне то же самое, на что пытался подбить меня утром, запустив в меня коготки той веселенькой дамочки.

– Нет уж, увольте! – воскликнул я, стараясь все же хотя бы улыбкой смягчить его обиду на меня за отказ. – Неужели вы всерьез думаете, что в этой игре есть какие-то правила, какой-то секрет? В ней нужно одно – чтобы вам везло! Сегодня мне повезло; завтра это, может быть, не повторится, а может быть, снова удача придет. По крайней мере я надеюсь на нее.

– Но почему вы не захотели сегодня воспользоваться ею? – спросил он.

– Воспользоваться?...

– Другими словами, продолжать игру! Voilà!¹⁸

– Но, дорогой синьор, я играл соответственно своим средствам.

– Bien,¹⁹ – сказал он. – Я буду ставить за вас. Вы даете свою удачу, я вкладываю деньги.

– И очень может быть, что мы проиграем! – возразил я, улыбаясь. – Нет, нет, давайте сделаем иначе. Если вы действительно считаете меня удачником, разумеется, только в игре, а не во всем остальном, мы поступим так: не заключая никакого соглашения, без всякой ответственности с моей стороны, потому что я не хочу брать ее на себя, вы будете ставить большие суммы на те номера, на которые я буду ставить маленькие, как было сегодня, и если все пойдет хорошо...

Он не дал мне кончить, разразился странным смехом, которому постарался придать иронический оттенок, и отрезал:

– Ну нет, синьор! Нет! Сегодня я это делал, но завтра, конечно, не буду! Если вы согласны ставить со мной по крупной – bien! Если нет, я тоже не стану делать больших ставок. Благодарю покорно.

Я смотрел на него, стараясь понять, что он хочет сказать: в этом смехе и в этих последних словах, несомненно, скрывалось какое-то оскорбительное для меня подозрение. Я заволновался и потребовал объяснений. Он перестал смеяться, но на его лице застыло нечто вроде тени умолкшего смеха.

– Я говорю только: нет, я не стану этого делать, – повторил он. – Больше ничего я вам не скажу.

Я грохнул кулаком по столу и изменившимся голосом настойчиво потребовал:

– Напротив, вы обязаны говорить, обязаны объяснить, что означают ваши слова и дурацкий смех. Я этого не понимаю.

¹⁸ Вот! (франц.).

¹⁹ Хорошо (франц.)

Пока я говорил, он все больше бледнел и словно уменьшался в размерах: он, очевидно, собирался попросить извинения. Я негодуяще пожал плечами и встал.

– Довольно! Я презираю вас и ваши подозрения, хотя даже не могу представить себе, что вы имели в виду.

Заплатив по счету, я вышел.

Я знал одного почтенного человека, чья выдающаяся умственная одаренность заслуживала самого глубокого восхищения; но им не восхищались, и, по-моему, исключительно из-за его брюк: он, насколько мне помнится, упорно носил светлые брюки в клетку, слишком плотно облегавшие его тощие ноги.

Платье, которое мы носим, его покрой и цвет могут дать повод думать о нас самые странные вещи. Но сейчас я чувствовал тем большую досаду, что не казался себе плохо одетым. Правда, я был не во фраке, но носил черный, траурный, вполне приличный костюм. И потом, я был в том же самом костюме, когда этот противный немец принял меня за простофилю и без всяких церемоний забрал себе мои деньги. Почему же теперь испанец принимает меня за мошенника?

«Может быть, из-за моей бородачи, – подумал я, уходя, – или из-за слишком коротко стриженных волос?...»

Я отправился на поиски какой-нибудь гостиницы: я хотел запереться и сосчитать, сколько выиграл. Мне казалось, что я засыпан деньгами; они были рассованы всюду понемногу – в карманах пиджака, брюк, жилета. Золото, серебро, банковские билеты; наверное, их много, очень много!

Я услышал, что пробило два. Улицы были безлюдны. Мимо проезжал пустой фиакр, я сел в него.

Поставив пустячную сумму, я выиграл около одиннадцати тысяч лир! Я давно не видел таких денег, и сначала эта сумма показалась мне огромной. Но потом, подумав о своей прежней жизни, я почувствовал презрение к самому себе. Неужели же два года службы в библиотеке и все остальные несчастья сделали меня до такой степени мелочным?

Глядя на деньги, лежавшие на кровати, я с новой язвительностью принялся терзать себя: «Ступай, добродетельный человек, скромный библиотекарь, ступай, вернись домой и порази своим сокровищем вдову Пескаторе. Она подумает, что ты украл эти деньги, и немедленно почувствует к тебе глубокое уважение. Если же и это кажется тебе недостаточной наградой за твои титанические труды, поезжай в Америку, как собирался раньше. Теперь ты можешь туда поехать: у тебя достаточно денег. Одиннадцать тысяч лир! Какое богатство!»

Я собрал деньги, бросил их в ящик комода и лег. Но заснуть не удавалось. Что же мне, в конце концов, делать? Вернуться в Монте-Карло и возвратить этот неожиданный выигрыш? Или удовольствоваться и скромно пользоваться тем, что у меня есть? Но как? Может быть, наслаждаться достатком в кругу той семьи, которую я себе создал? Я могу чуточку получше одеть свою жену; но ведь она не только не заботилась о том, чтобы понравиться мне, а, напротив, делала все,

чтобы внушить мне отвращение к ней: целый день ходила непричесанная, без корсета, в ночных туфлях, в волочащихся по полу платьях. Вероятно, она полагала, что ради такого мужа, как я, не стоит стараться быть красивой. К тому же Ромильда еще не совсем оправилась после своих тяжелых и опасных для жизни родов. Что же касается характера, то она становилась все более раздражительной – и не только со мной, но со всеми окружающими. Обида и отсутствие живого, искреннего чувства стали для нее источником мрачности и все возрастающей лени. Она даже не привязалась к девочке: рождение ее, равно как и той, другой, прожившей всего несколько дней, стало для моей жены поражением – ведь Олива примерно через месяц без всякого труда и после легкой беременности родила красивого, цветущего мальчика. Взаимное отвращение и постоянные разногласия, неизбежно возникающие там, где нужда, как взъерошенная черная кошка, свертывается клубком на золе потухшего очага, сделали дальнейшее сожительство ненавистным для нас обоих. Так могут ли мои одиннадцать тысяч лир вернуть в дом спокойствие и оживить любовь, подло убитую вдовой Пескаторе в самом зародыше? Безумие! Что же остается? Уехать в Америку. Но зачем мне искать счастья так далеко, если оно словно нарочно хочет удержать меня здесь, в Ницце, хотя я и не мечтал ни о чем подобном, когда стоял перед витриной с выставленными в ней игорными принадлежностями? Нет, я должен доказать, что достоин удачи и милостей фортуны, если они и впрямь предназначены мне. Да, да! Все или ничего. В конце концов, проиграв, я только вернусь к прежнему своему положению, да и что такое, в сущности, одиннадцать тысяч лир?

Итак, на следующий день я вернулся в Монте-Карло. И возвращался туда еще двенадцать дней подряд. У меня уже не было ни времени, ни возможности удивляться капризу судьбы, не то что исключительно, а просто баснословно благосклонной ко мне. Я был вне себя, я совершенно сошел с ума; я удивляюсь себе и сегодня, хотя теперь слишком хорошо знаю, какое возмездие готовила мне судьба, осыпая меня такими неслыханными и безмерными щедротами. Девять дней я играл, отчаянно рискуя, и выиграл огромную сумму; на десятый день я начал проигрывать и покатился в пропасть. Удивительное чутье, словно не находя больше пищи в моей иссякшей энергии, изменило мне. Я не смог или, верней, не сумел остановиться вовремя. И если я все-таки остановился и опомнился, то не по своей воле, а благодаря сильному впечатлению, которое произвело на меня одно ужасное зрелище, какие, вероятно, наблюдаются здесь нередко.

Утром двенадцатого дня, когда я входил в игорный зал, ко мне подошел синьор из Лугано, влюбленный в число двенадцать. С расстроенным видом и задыхаясь, он скорее знаками, чем словами, сообщил, что сейчас в саду покончил с собой один игрок. Я сразу же подумал, что это, наверно, мой испанец, и почувствовал угрызения совести. Я был убежден, что он помогал мне выигрывать. В первый день после нашей ссоры он не захотел ставить на те номера, что я, и все время проигрывал. В последующие дни, видя, что я

неизменно выигрываю, он пытался ставить вместе со мной; но тогда уже я не захотел играть вместе с ним и, словно повинувшись персту самой фортуны, вездесущей и невидимой, начал бродить от одного стола к другому. Два дня я не видел испанца и с тех пор стал проигрывать, может быть, именно потому, что он перестал за мной гоняться.

Подбегая к указанному месту, я был уверен, что самоубийца, простертый на траве, – именно он. Однако вместо испанца я увидел того бледного юношу, который, напуская на себя сонный и безразличный вид, вытаскивал из карманов панталон золотые и, не глядя, ставил их.

Здесь, посреди аллеи, он казался меньше ростом. Он лежал в спокойной позе, сдвинув пятки, словно сам опустил на землю, чтобы не ушибиться при падении. Одну руку он прижал к телу, другую чуть-чуть откинул в сторону, сжав кулак и вытянув указательный палец, словно все еще спускал курок. Около этой руки лежал револьвер и – несколько поодаль – шляпа. Мне сначала показалось, что пуля вышла через левый глаз: из него на лицо вытекло много теперь уже запекшейся крови. Но нет, кровь, правда, брызнула и оттуда, равно как из ноздрей и ушей, но большая часть ее вылилась из дырочки в правом виске прямо на желтый песок аллеи, который весь пропитался ею. Вокруг жужжала целая дюжина ос; некоторые особенно подлые садились прямо на глаз. Стоявшие вокруг люди не догадались прогнать их. Я вынул из кармана платок и закрыл им жестоко изуродованное лицо несчастного. Никто из присутствующих не почувствовал ко мне признательности за это: я отнял у них самую интересную часть зрелища. Я убежал из сада, вернулся в Ниццу и в тот же день уехал. У меня было около восьмидесяти двух тысяч лир.

Я мог себе представить все на свете, за исключением того, что в тот же день вечером и со мной случится нечто подобное.

7. Я пересаживаюсь в другой поезд

Я думал так:

«Выкуплю Стиа, поселюсь в деревне, сделаюсь мельником. Человеку лучше жить поближе к земле; под ней – может быть, еще лучше.

Каждое ремесло в конце концов дает известное утешение. Даже ремесло могильщика. Мельник может утешаться стуком жерновов и мукой, летающей в воздухе и покрывающей его с ног до головы.

Уверен, что сейчас на мельнице даже дырявого мешка не найдешь. Но как только мельница будет моя... «Синьор Маттиа, нужна новая задвижка! Синьор Маттиа, сломался подшипник! Синьор Маттиа, полетели зубцы на шестерне».

Все будет так, как при покойной матушке, когда наши дела вел Маланья.

И пока я буду присматривать за мельницей, управляющий будет красть урожай с полей; а если я примусь следить за управляющим, мельник начнет воровать помол. Словом, мельник, с одной стороны, и управляющий – с другой, будут как бы раскачивать качели, а я, находясь между ними, буду наслаждаться

полетом.

А может быть, лучше вынуть из почтенного сундука моей тещи один из старых костюмов Франческо Антонио Пескаторе, которые вдова хранит в нафталине и перце как священные реликвии, надеть его на Марианну Донди и послать ее в Стиа и в качестве мельника, и как наблюдателя за управляющим.

Деревенский воздух, несомненно, окажется полезен моей жене. Конечно, при появлении тещи листья на иных деревьях, вероятно, свернутся, а птицы онемеют, но источник, будем надеяться, все-таки не пересохнет. А я останусь один-одинешенек библиотекарем в Санта-Мария Либерале».

Так размышлял я, а поезд безостановочно шел вперед. Стоило мне закрыть глаза, как передо мной с невероятной отчетливостью немедленно представал труп юноши в аллее, казавшийся таким маленьким и тихим под большими деревьями, неподвижными в свежем утреннем воздухе. Поэтому я вынужден был отвлекать себя другим видением, не менее кошмарным, но не столь кровавым в буквальном смысле слова, – я вспоминал о моей теще и жене. И я наслаждался, представляя себе сцену моего возвращения после тринадцати дней таинственного отсутствия.

Я был уверен (мне казалось, что я вижу все это как наяву), что обе они при моем появлении изобразят самое презрительное равнодушие и едва бросят на меня взгляд, словно говоря: «А-а, ты опять здесь? И ты не свернул себе шею?»

Молчат они, молчу и я.

Но немного погодя вдова Пескаторе, без сомнения, начнет плевать желчью и заговорит о службе, которую я, наверно, уже потерял.

Действительно, я увез с собой ключи от библиотеки; при известии о моем исчезновении квестура, вероятно, распорядилась взломать дверь. Не найдя в часовне моего тела и не получая обо мне никаких сведений, чиновники муниципалитета, видимо, ждали моего возвращения три, четыре, пять дней, неделю, а потом отдали мою должность какому-нибудь другому бездельнику.

Так что же это я расслаиваюсь? Я снова, по своей собственной вине, выброшен на улицу. Там мне и место. Две бедные женщины не обязаны содержать лентяя, каторжника, который исчезает неизвестно для каких новых подвигов, и т. д., и т. д.

А я молчу.

Постепенно из-за моего презрительного молчания желчь у Марианны Донди разливается, кипит, хлещет через край, а я все сижу и молчу. Наконец наступает минута, когда я вынимаю из нагрудного кармана бумажник и начинаю отсчитывать на столе мои тысячи: вот, вот, вот и вот.

У Марианны Донди и у жены широко раскрываются глаза и рты.

Потом:

– Где ты их украл?

...Семьдесят семь, семьдесят восемь, семьдесят девять, восемьдесят, восемьдесят одна; пятьсот, шестьсот, семьсот; десять, двадцать, двадцать пять; восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать пять лир и сорок чентезимо в

кармане.

Я спокойно собираю деньги, кладу их в бумажник и встаю:

– Вы не хотите, чтобы я жил с вами? Ну что ж, весьма благодарен! Всего наилучшего, я ухожу.

Я смеялся, думая об этом.

Мои спутники наблюдали за мной и тоже исподтишка смеялись.

Тогда, чтобы придать себе более серьезный вид, я начинал думать о кредиторах, которым мне придется раздать эти банковские билеты. Скрыть их я не смогу. Да и зачем мне они, если их нужно прятать?

Истратить их для собственного удовольствия эти собаки мне, конечно, не позволят. Чтобы восстановить свои права на мельницу в Стиа и на доходы с имения, придется заплатить также и властям, которые сдерут с меня долги в двойном размере (за мельницу с меня тоже возьмут в двойном размере) – ведь в противном случае они должны будут ждать уплаты еще бог знает сколько лет. Впрочем, теперь, предложив им наличные, я, быть может, сумею отделаться от них на более сходных условиях. И я пустился в подсчеты:

«Столько-то этому сукину сыну Реккьоне, столько-то Филиппе Бризиго – ах, с каким удовольствием я оплатил бы этими деньгами расходы по его похоронам: он по крайней мере перестал бы сосать кровь из бедняков... Столько-то Чикину Лунаро, туринцу, столько-то вдове Липпани... Кому еще? Ну, кредиторов хватает: делла Пьена, Босси, Марготтини. Вот и весь мой выигрыш.

Но разве для них я выигрывал в Монте-Карло? Какая обида, что эти два дня я проигрывал. Не будь этого, я снова был бы богат, да, богат».

Тут я начал так вздыхать, что мои спутники заулыбались еще откровеннее. Но я не мог успокоиться. Наступал вечер, воздух стал пепельно-серым, и дорожная тоска сделалась окончательно невыносимой.

На первой итальянской станции я купил газету в надежде, что чтение усыпит меня. Я развернул ее и при свете электрической лампочки начал читать. Я имел счастье узнать, что замок Балансе, вторично пущенный с аукциона, достался синьору графу де Кастеллане за два миллиона триста тысяч франков. Прилегающие земли составляют две тысячи восемьсот гектаров; это самое обширное поместье во Франции.

«Почти совсем как Стиа».

Я узнал, что германский император принял в Потсдаме в полдень марокканскую миссию и что на приеме присутствовал статс-секретарь барон Рихтхофен. Потом миссия была представлена императрице и приглашена на завтрак. И обжиралась же, наверно, там эта миссия!

Русские царь и царица приняли в Петергофе чрезвычайную тибетскую миссию, которая привезла их императорским величествам дары от далай-ламы.

«Дары от далай-ламы? – спросил я себя, задумчиво закрыв глаза. – Что это за дары?»

Вероятно, это был опий, потому что я уснул. Но опий этот действовал слабо, – я скоро проснулся от толчка: поезд остановился на очередной станции.

Я посмотрел на часы: было четверть девятого. Значит, через часок приеду.

Газета все еще была у меня в руках, и я перевернул ее в надежде найти на второй странице что-нибудь получше, чем дары далай-ламы. Взгляд мой упал на заголовок, набранный крупным шрифтом:

САМОУБИЙСТВО

Я подумал сперва, что речь идет о самоубийстве в Монте-Карло, и торопливо начал читать, но удивленно остановился на первой же напечатанной петитом строчке: «Нам телеграфируют из Мираньо...»

Мираньо?

Кто же покончил с собой в моем городке? Я прочитал:

«...вчера, в субботу 28-го, в мельничном шлюзе был замечен сильно разложившийся труп...»

Внезапно туман застлал мне глаза; мне показалось, что я вижу на следующей строке название моего бывшего поместья; а так как мне трудно было читать мелкий шрифт одним глазом, я встал и подошел поближе к свету.

«...разложившийся труп. Мельница расположена в имении Стиа, примерно в двух километрах от нашего городка. Когда на место прибыли судебские власти и другие должностные лица, труп был извлечен из шлюза на предмет освидетельствования и отдан под охрану. Позже он был опознан и оказался телом нашего...»

К горлу у меня подступил ком, и я как безумный посмотрел на моих спящих спутников.

«...На место прибыли... извлечен... под охрану... опознан и оказался телом нашего библиотекаря...»

Моим?

«...Прибыли на место... позже... телом нашего библиотекаря Маттиа Паскаля, исчезнувшего несколько дней назад. Причина самоубийства – денежные затруднения».

Я?

«Исчезнувшего... опознан... Маттиа Паскаль...»

Много раз подряд с дикой злостью и смятенным сердцем перечитал я эти несколько строк. В первую минуту все мои жизненные силы взбунтовались и запротестовали, словно это известие, раздражающее своей бесстрастной лаконичностью, могло быть правдой и для меня. Но что из того, что для меня оно – ложь? Для других-то оно правда. Уверенность в моей смерти, которою со вчерашнего дня прониклись все мои сограждане, невыносимо угнетала и давила меня... Я вновь посмотрел на моих спутников, и мне показалось, что и они уснули здесь, на моих глазах, с этой же уверенностью. Меня так и подмывало растряссти скорчившихся в неудобных позах пассажиров, растолкать их, разбудить и крикнуть им, что это неправда.

Возможно ли?

И я еще раз перечитал ошеломляющее известие.

Я не мог больше сидеть неподвижно. Мне хотелось, чтобы поезд остановился или рухнул в бездну; его монотонное движение, жестокое, глухое, тяжелое, автоматическое, все больше и больше усиливало мою взволнованность. Я непрерывно сжимал и разжимал пальцы, впиваясь ногтями в ладони; я мял газету и разглаживал ее, снова и снова перечитывал известие, в котором уже знал наизусть каждое слово.

«Опознан»! Но возможно ли, что меня опознали?...

«...Сильно разложившийся...» Фу!

На мгновение я увидел себя в зеленоватой воде шлюза, грязного, распухшего, отвратительного. Инстинктивным движением я скрестил руки на груди и принялся тискать и ощупывать себя пальцами.

«Нет, нет, это был не я... Но кто же это? Он, конечно, походит на меня... Может быть, у него такая же борода, такое же телосложение... И они меня опознали... «Исчезнувшего несколько дней назад». Ну и ну! Хотел бы я знать, кто это так поторопился опознать меня! Возможно ли, что этот несчастный так похож на меня? Одет как я? Совсем одинаково? Может быть, это она виновата, она, Марианна Донди, вдова Пескаторе? О, она меня тотчас же нашла, тотчас же опознала! Можно себе представить, до чего же она была поражена! «Это он, это он! Мой зять! Ах, бедный Маттиа! Ах, бедный мой сынок!» И она, наверно, даже заплакала, даже встала на колени перед трупом этого бедняги, который не может пнуть ее ногой и крикнуть: «Убирайся отсюда, я тебя не знаю».

Я весь дрожал. Наконец поезд остановился на очередной станции. Я открыл дверь и выбежал, смутно сознавая, что я немедленно должен что-то сделать — лучше всего послать телеграмму-молнию с опровержением.

Прыжок из вагона спас меня: он как бы вытряхнул из моей головы глупую навязчивую мысль, и я на мгновение увидел... да, увидел свое освобождение, новую, свободную жизнь.

У меня восемьдесят две тысячи лир, и я никому не должен отдавать их! Я мертв! Мертв! У меня нет долгов, жены, тещи... никого! Я свободен, свободен! Чего мне еще надо?

Я, вероятно, производил очень странное впечатление, когда размышлял обо всем этом, сидя на станционной скамейке. Вокруг меня толпились какие-то люди и что-то мне кричали, наконец один из них толкнул меня, потряс и крикнул еще громче:

— Поезд уходит!

— Пусть уходит! Пусть уходит, дорогой синьор! — крикнул я в ответ. — Я пересаживаюсь!

И тут меня охватило сомнение: а не будет ли опровергнуто сообщение о моей смерти? Наверно, в Мираньо уже поняли, что произошла ошибка, наверно, родные мертвеца уже объявились и опознали истинную его личность.

Прежде чем радоваться, надо как следует удостовериться, получить точные и подробные сведения. Но как добыть их?

Я пошарил в карманах, ища газету, но оказалось, что я забыл ее в поезде. Я посмотрел на пустынное полотно железной дороги, которое, сверкая, тянулось в молчании ночи, почувствовал себя словно затерянным в пустоте на этой жалкой, маленькой промежуточной станции, и сомнение охватило меня с еще большей силой: а вдруг все это мне просто приснилось?

Но нет:

«Нам телеграфируют из Мираньо: вчера, в субботу 28-го...»

Да я могу слово в слово повторить всю телеграмму. Нет никаких сомнений! И все же этого слишком мало, это никак не может удовлетворить меня. Я посмотрел на здание станции, она называлась Аленга.

Найду ли я здесь другие газеты? Я вспомнил, что сегодня воскресенье. Значит, сегодня утром в Мираньо вышла «Фольетто», единственная газета, печатавшаяся там. Во что бы то ни стало я должен раздобыть этот номер. В нем я найду все нужные мне подробности. Но разыскать «Фольетто» в Аленге вряд ли удастся. В таком случае я телеграфирую от чужого имени в редакцию газеты. Я был знаком с ее издателем Миро Кольци, Жаворонком, как называли его все жители Мираньо, с тех пор как он, еще совсем мальчиком, опубликовал под этим милым заголовком свою первую и последнюю книгу стихов.

Но ведь просьба прислать экземпляр газеты в Аленгу, несомненно, покажется Жаворонку чем-то из ряда вон выходящим. Кроме того, самое интересное известие на прошлой неделе и, следовательно, «гвоздь» воскресного номера — мое самоубийство. Так не рискую ли я возбудить подозрение, обращаясь в редакцию с таким необычным требованием?

«Полно! — успокаивал я себя. — Жаворонку даже в голову не придет, что я не утопился. Он подумает, что причина запроса — какое-нибудь другое важное сообщение, опубликованное в сегодняшнем номере. Он уже давно и мужественно борется с муниципалитетом за водо- и газопровод. Скорее всего, он решит, что просьба прислать газету связана с поднятой им кампанией».

Я вошел в здание станции.

К счастью, кучер единственного здешнего экипажа — почтовой повозки — задержался на станции, чтобы поболтать с железнодорожными служащими; езды до поселка было примерно три четверти часа, и дорога все время шла в гору.

Я влез в эту разболтанную, дребезжащую повозку без фонарей — и вперед, в ночной мрак!

Мне нужно было многое обдумать; время от времени при мысли о том сильном потрясении, которое вызвало во мне столь близко касавшееся меня известие, я испытывал чувство мрачного, неведомого мне доныне одиночества, и мне, как давеча, при виде безлюдного железнодорожного полотна, на мгновение показалось, что я очутился в пустоте; я был беспощадно вырван из прежней жизни, пережил самого себя и в совершенной растерянности стоял перед лицом новой, посмертной жизни, не зная, как она сложится.

Чтобы отвлечься, я спросил у извозчика, есть ли в Аленге газетный киоск.

— Как вы сказали? Нет, синьор.

- А разве в Аленге не продаются газеты?
- Продаются, синьор. Ими торгует аптекарь Гроттанелли.
- А гостиница у вас есть?
- Есть трактир Пальментино.

Извозчик слез с повозки, чтобы хоть немного помочь старой кляче, которая сопела от натуги и чуть ли не тыкалась носом в землю. Я едва видел его в темноте. Когда он раскуривал трубку, я на мгновение различил черты его лица, контуры фигуры и подумал: «Если бы он знал, кого везет!..»

И немедленно задал этот же вопрос самому себе:

«Кого он везет? Но ведь я и сам не знаю этого. Кто же я теперь? Надо поразмыслить. По крайней мере надо сейчас же придумать себе имя, которым можно подписать телеграмму, какое-нибудь имя, чтобы не растеряться, если в трактире спросят, как меня зовут. Покамест достаточно придумать имя. Ну, так как же меня зовут?»

Я никогда бы не подумал, что выбор имени и фамилии будет стоить мне такого труда. Особенно фамилии. Я наугад нанизывал слоги – получались разные фамилии: Строццани, Парбетти, Мартони, Бартузи, но все они лишь еще больше раздражали меня. Я не видел в них никакого значения, никакого смысла. Как будто фамилия должна что-то означать... Ладно, выберу первое, что придет на ум. Например, Мартони... А почему бы и нет? Карло Мартони. Ну вот и готово. Но через минуту я уже отвергал его. Пусть лучше будет Карло Мартелло... И мучение начиналось снова.

Я доехал до поселка, так и не выбрав себе имени. К счастью, аптекарь, который совмещал обязанности фармацевта, телеграфиста, почтового чиновника, продавца канцелярских товаров, газетчика, мошенника и не знаю еще кого, имени не понадобилось. Я купил номера тех немногих газет, которые он получал, – генуэзские «Каффаро» и «XX век» – и осведомился, не найдется ли у него «Фольетто» из Мираньо.

У аптекаря Гроттанелли была совиная голова и круглые, словно стеклянные глаза, на которые он время от времени с видимым усилием опускал хрящеватые веки.

– «Фольетто»? Не знаю такой.

– Это провинциальная еженедельная газетка, – пояснил я. – Мне хотелось бы получить ее. Само собой разумеется, сегодняшний номер.

– «Фольетто»? Не знаю такой, – твердил он.

– Ну ладно. Знаете вы ее или нет, неважно. Я заплачу за телеграфный запрос в редакцию, можно ли получить десять-двадцать экземпляров завтра же или, во всяком случае, как можно скорее? Это осуществимо?

Аптекарь не отвечал и, устремив незрячий взгляд в пространство, все повторял: «Фольетто»? Не знаю такой...» Наконец он согласился сделать мою диктовку телеграфный запрос с обратным адресом на свою аптеку. На другой день, после бессонной ночи, взбудораженный бурным потоком мыслей, я получил в трактире Пальментино пятнадцать экземпляров «Фольетто».

В двух генуэзских газетах, которые я прочитал, как только остался один, я не нашел ни малейшего намека на свое самоубийство. У меня дрожали руки, когда я развернул «Фольетто». На первой странице – ничего. Я стал искать на развороте, и мне в глаза немедленно бросилась траурная рамка вверху третьей страницы, а в ней большими буквами мое имя:

МАТТИА ПАСКАЛЬ

«Уже несколько дней мы не имели о нем сведений. Это были дни страшной скорби и невыразимой тревоги за несчастную семью, скорби и тревоги, разделяемой лучшей частью наших сограждан, которые уважали и любили Паскаля за душевную доброту, веселость и прирожденную скромность – черты характера, позволявшие ему, обладателю многих других достоинств, терпеливо и без всякой приниженности переносить удары враждебной судьбы, ибо в последнее время бездумное довольство сменилось для него весьма стесненными обстоятельствами.

Когда после первого дня необъяснимого отсутствия мужа его взволнованная семья направилась в библиотеку Боккамаццы, где он весьма усердно трудился, проводя там целые дни и стараясь обогатить свой живой ум серьезным чтением, дверь оказалась запертой; эта замкнутая дверь немедленно породила черное и мучительное подозрение, которое вскоре, однако, было заглушено надеждой, теплившейся несколько дней и постепенно слабевшей, – надеждой, что Маттиа Паскаль уехал из родного города по каким-то своим тайным соображениям.

Увы, действительность опровергла эти упования!

Недавняя единовременная утрата обожаемой матери и единственной дочери, последовавшая за потерей наследственного состояния, глубоко потрясла душу нашего бедного друга. Еще около трех месяцев тому назад он пытался прервать свои скорбные дни в шлюзе той самой мельницы, которая напоминала ему о прежнем процветании его дома и счастливом прошлом.

Тот страждет высшей мукой,
Кто радостные помнит времена
В несчастьи...²⁰

20 Данте. Божественная комедия. Ад, песнь 5. (Перевод М. Лозинского.)

Нам, всхлипывая над распухшим, разложившимся трупом, поведал об этом заплаканный старый мельник, верный и преданный слуга прежних хозяев. Наступила мрачная ночь. Близ трупа, охраняемого двумя чинами королевской полиции, был поставлен красный фонарь, и старый Филиппо Брина (называем его имя в назидание всем добрым людям) говорил и плакал вместе с нами. В ту печальную ночь ему удалось помешать несчастному осуществить свое безумное намерение, но в этот раз другого Филиппо Брины, который вторично воспрепятствовал бы страшному замыслу, не нашлось, и Маттиа Паскаль пролежал всю ночь, а может быть, и половину следующего дня в мельничном шлюзе.

Мы не будем даже пытаться описывать душераздирающую сцену, которая разыгралась позавчера под вечер, когда неутешная вдова предстала перед неузнаваемыми жалкими останками любимого друга жизни, ушедшего вслед за их дочуркой.

Весь городок принял участие в ее горе и пожелал выразить ей сочувствие, проводив в последний путь ее супруга, над телом которого произнес краткую прочувствованную речь коммунальный советник кавалер Помино.

Мы выражаем самое глубокое соболезнование погруженной в траур семье несчастного и брату его Роберто, живущему вдали от родного Мираньо, и в последний раз с растерзанным сердцем говорим нашему доброму Маттиа: «Vale,²¹ возлюбленный друг, vale!».

М.К.»

Даже без этих инициалов я догадался бы, что некролог принадлежит перу Жаворонка.

Должен прежде всего признаться, что мое имя, напечатанное под черной чертой, хоть я и ожидал этого, не только не обрадовало меня, но даже вызвало у меня отчаянное сердцебиение; поэтому, прочитав несколько строк, я вынужден был прервать чтение: «страшная скорбь» и «невыразимая тревога» моей семьи, равно как любовь и уважение сограждан к моим добродетелям и служебному усердию, отнюдь не рассмешили меня. Сначала я удивился тому, как неожиданно и мрачно связалось с фактом моего самоубийства воспоминание о самой несчастной в моей жизни ночи, которую я провел в Стиа после смерти матери и дочурки и которая стала теперь, пожалуй, наиболее убедительным подтверждением моего самоубийства; потом я почувствовал себя униженным и начал испытывать угрызения совести. Нет, я не покончил с собой из-за смерти мамы и дочурки, хотя в ту ночь у меня, вероятно, была такая мысль. Я

²¹ Прощай (*лат.*).

действительно в отчаянии бежал из родного городка, но теперь я возвращался из игорного дома, где мне самым неожиданным образом улыбнулась судьба, которая, как видно, продолжала благоволить ко мне; вместо меня с собою покончил другой, какой-нибудь чужестранец, которого я лишил сочувствия далеких родных и друзей и – какая ирония! – обрек на то, что адресовалось совсем не ему: на притворные сожаления и даже похвальное надгробное слово напудренного кавалера Помино.

Таково было мое первое впечатление от некролога в «Фольетто».

Но потом я подумал, что этот бедный человек умер, конечно, не из-за меня и что, объявившись живым, я все равно его не воскрешу, тогда как, воспользовавшись его смертью, я не только не обманываю его родных, но даже приношу им пользу: раз для них мертв я, а не он, они могут считать его пропавшим без вести и питать надежду рано или поздно увидеться с ним.

Оставались моя жена и теща. Как я мог поверить, что они горюют о моей смерти, испытывая ту «невыразимую и страшную скорбь», которую расписывал Жаворонок в своем сенсационном некрологе. Ведь им нужно было только тихонько приоткрыть несчастному один глаз, чтобы убедиться, что это не я; право же, не имея на то желания, женщине не так уж легко принять постороннего человека за своего мужа.

Почему они так поторопились опознать меня в этом мертвеце? Уж не надеется ли вдова Пескаторе, что Маланья, взволнованный моим ужасным самоубийством и, возможно, даже почувствовавший угрызения совести, придет на помощь бедной вдове? Ну что ж, если довольны они, то я и подавно.

Умер? Утопился? Поставить на всем крест, и больше говорить не о чем! Я встал, потянулся и вздохнул с глубоким облегчением.

8. Адриано Меис

И вот не столько для того, чтобы обмануть других, которые, кстати, и сами хотели обмануться, сколько повинувшись судьбе и собственным стремлениям, я с легкомыслием, в данном случае не столь уж достойным порицания, хотя, конечно, не заслуживающим и одобрения, начал создавать из себя другого человека.

Тот несчастный, который, как всем угодно было считать, самым жалким образом погиб в мельничном шлюзе, почти или даже совсем не стоил похвал. Он наделал столько глупостей, что это, вероятно, и была самая подходящая для него участь.

Я хотел, чтобы теперь во мне не осталось никакого следа от него – не только внешне, но и внутренне.

Теперь я был один, и никто на земле не мог быть более одинок, чем я. Я был избавлен от всех связей и обязательств, свободен, обновлен; полный хозяин самому себе, я был не обременен прошлым и стоял лицом к лицу с будущим, которое мог строить по собственному желанию.

Если бы мне крылья! Я чувствовал себя таким легким!

Те понятия, которые привила мне моя прошлая жизнь, не имели теперь для меня никакого значения.

Мне предстояло обрести новое мироощущение, нисколько не считаясь с печальным опытом покойного Маттиа Паскаля.

Все зависело от меня: я мог и должен был стать кузнецом моего обновленного бытия в тех пределах, которые судьба пожелает мне указать.

«И прежде всего, – говорил я себе, – я буду дорожить своей свободой, буду прогуливаться с нею по ровным и всегда новым дорогам и не дам ей надевать на себя слишком тяжелые одежды. Как только зрелище жизни покажется мне неприятным, я просто закрою глаза и пройду мимо. Я постараюсь наслаждаться вещами, которые принято называть бездушными, буду искать красивых пейзажей, спокойных, приятных мест, постепенно перевоспитаю и преобразу себя, буду настойчиво и любознательно учиться, чтобы в конце концов получить право считать, что я не только прожил две жизни, но и был двумя разными людьми».

Еще в Аленге за несколько часов до отъезда я зашел к парикмахеру побриться; я хотел сразу сбрить бороду и усы, но меня удерживала боязнь возбудить подозрения в этом маленьком поселке.

Цирюльник оказался одновременно и портным. Он так давно привык сидеть согнувшись, в одной и той же позе, что его ребра словно склеились, и очки он носил на кончике носа. Должно быть, он все-таки был скорее портной, чем цирюльник. Вооружась портновскими ножницами, концы которых приходилось сводить свободной рукой, он, словно ангел, карающий грешника, набросился на мою густую бороду, которая мне уже не принадлежала. Не смея лишний раздохнуть, я закрыл глаза и открыл их лишь тогда, когда почувствовал, что меня трясут за плечо.

Добрый человек, весь в поту, протягивал мне зеркальце, чтобы я мог удостовериться, как хорошо он поработал.

Это уже было слишком.

– Нет, благодарю, – отстранил я брадобрея. – Положите зеркальце на место, я не хочу пугать его.

Цирюльник вытаращил глаза и спросил:

– Кого?

– Да само это зеркальце. Кстати, оно у вас красивое и, по-видимому, старинное.

Зеркальце было круглое, с костяной, украшенной инкрустациями ручкой. Какова его история и как попало оно сюда, в эту цирюльню-портняжную? В конце концов я все-таки поднес его к лицу, чтобы не огорчать хозяина, изумленно глазевшего на меня. Хорошо ли он поработал?

После этой первой пытки я увидел, какое чудовище появится на свет, когда вскоре будет произведено коренное изменение примет Маттиа Паскаля. Вот еще одна причина ненависти к нему! Крохотный, остренький, вдавненный

подборода, который я столько лет прятал под своей бородой, показался мне особенно предательским. Какой нос оставили мне в наследство? А глаз?

«Ах, этот глаз, восторженно смотрящий в сторону! – сокрушался я. – Он всегда останется прежним, даже на этом новом лице. Самое лучшее, что я могу придумать, – это скрыть его за темными очками, которые, будем надеяться, придадут мне более приятный вид. Я отращу длинные волосы, и тогда красивый высокий лоб, очки и бритое лицо сделают меня похожим на немецкого философа. Носить я буду сюртук и широкополую шляпу».

У меня не было выбора: такой тип наружности требовал, чтобы я стал философом. Ну что ж, немного усилий, и я вооружусь скромной улыбчивой философией, чтобы пройти своим путем среди несчастного человечества, которое, несмотря на все мои старания, всегда будет казаться мне чуточку смешным и ничтожным.

Новое имя мне, в сущности, было прямо подсказано в поезде, несколько часов тому назад отошедшем из Алengi в Турин.

Я ехал с двумя синьорами, возбужденно спорившими о христианской иконографии, в которой оба они, как показалось такому невежде, как я, были весьма сведущи. У одного из них, более молодого, лицо обросло жесткой черной бородой; он с явным и, по-видимому, немалым удовольствием доказывал, что, согласно весьма, по его словам, древним свидетельствам, подтвержденным великомучеником Юстином, Тертуллианом и кем-то еще, Христос отличался в высшей степени непривлекательной внешностью.

Он говорил глухим голосом, странно контрастировавшим с вдохновенным видом его обладателя.

– Да, безобразен, крайне безобразен. Кстати, Кирилл Александрийский, да, именно Кирилл Александрийский, тоже утверждает, что Христос был самым уродливым из людей.

Его собеседник, худенький-прехуденький старичок, спокойный и аскетически бледный, но с тонкой иронической складкой в уголках рта, сидел сгорбясь и вытянув длинную шею, словно подставленную под ярмо; он утверждал, что древним свидетельствам доверять нельзя.

– Дело в том, что церковь, стремившаяся воспринять доктрину и дух своего вдохновителя, мало, вот именно – мало, думала о его телесном облике.

Тут они заговорили о Веронике и о двух статуях в городе Панеаде, сочтенных изображениями Христа и кающейся Магдалины.

– Вот еще! – воскликнул бородатый молодой человек. – Теперь на этот счет не осталось никаких сомнений: статуи изображают императора Адриана и город, склонившийся к его ногам.

Старичок продолжал незлобиво отстаивать свое мнение, видимо противоположное, потому что его собеседник не сдавался и, поглядывая на меня, упорно повторял:

– Адриан!

– По-гречески – Веронике, отсюда – Вероника.

- Адриан! (Реплика обращена ко мне.)
- Или же Вероника от Vevaïson – искажение вполне вероятное.
- Адриан! (Ко мне.)
- Потому что Веронике из «Деяний Пилата»...
- Адриан!

И бородач без устали твердил «Адриан», все время поглядывая на меня.

Когда они оба сошли на какой-то станции и оставили меня одного в купе, я подошел к окну и посмотрел им вслед. Они продолжали спорить и на ходу.

Внезапно старичок потерял терпение и пустился бегом.

– Кто это сказал? – громко и вызывающе бросил ему вслед молодой человек.

Старичок обернулся и крикнул:

– Камилло де Меис!

Мне показалось, что он прокричал это имя для меня, машинально твердившего под впечатлением этого разговора: «Адриано...» Я немедленно откинул «де» и сохранил «Меис».

– Адриано Меис. Да... Адриано Меис звучит хорошо...

Мне показалось также, что это имя отлично соответствует бритому лицу, очкам, длинным волосам и шляпе, которую я собирался носить.

– Адриано Меис! Великолепно! Меня окрестили!

Я начисто отбросил все воспоминания о предшествующей жизни и убедил себя, что с этого мгновения начинаю жить по-новому. Охваченный чистой детской радостью, я испытывал душевный подъем; мне казалось, что сознание мое вновь девственно и прозрачно, а дух бодр и готов на все ради создания моего нового «я». Я весь ликовал при мысли о вновь обретаемой свободе. Я еще никогда не смотрел на людей и вещи с такой точки зрения; туман, скрывающий их от меня, внезапно рассеялся, и новые отношения, которые должны были установиться между нами, представились мне легкими и радостными, потому что для полного довольства мне теперь было очень мало нужно от моих близких. О сладостная легкость души, безоблачное, неизъяснимое опьянение! Судьба освободила меня от всякой путаницы, внезапно вырвала из обыденной жизни, сделала посторонним свидетелем забот, которыми все еще терзались другие, и предупреждала меня: «Увидишь, какой занятой покажется тебе жизнь, когда ты согласишься на нее извне! Вот, например, этот бородач: он исходит желчью и приводит в бешенство бедного старичка, утверждая, что Христос был самым безобразным из людей...»

Я улыбался, беспрерывно улыбался всему на свете: деревьям, которые словно стремились мне навстречу, принимая самые странные позы на своем иллюзорном бегу; разбросанным там и сям поместьям, где арендаторы, которых я с удовольствием рисовал себе, ругательно ругают туман, врага оливковых деревьев, и грозят кулаком небу, не посылающему дождя. Я улыбался и птицам, испуганно вспархивающим при виде черного чудовища, с грохотом бежавшего по полям; улыбался дрожащим телеграфным проводам, по которым бежали в

газеты новости, вроде известия из Мираньо о моем самоубийстве на мельнице Стиа; улыбался бедным беременным женам путевых обходчиков – надев на голову мужнюю фуражку, они протягивали навстречу поезду неразвернутый флажок.

Внезапно мой взгляд упал на обручальное кольцо, которое все еще сжимало безымянный палец моей левой руки. Меня так и подбросило. Я зажмурился, схватил левую руку правой и, не глядя на этот золотой ободок, сорвал его, чтобы никогда больше не видеть. Затем я вспомнил, что кольцо раскрывается изнутри, что на нем выгравированы имена «Маттиа» – «Ромильда» и дата свадьбы. Что же мне с ним делать?...

Я открыл глаза и некоторое время, прищурясь, разглядывал кольцо, лежавшее на ладони.

Все вокруг меня сразу потемнело.

Вот последнее звено цепи, связывавшей меня с прошлым. Маленькое колечко, легонькое и в то же время такое тяжелое! Но ведь цепь порвана, значит, надо уничтожить и это последнее звено.

Я хотел выбросить кольцо в окошко, но удержался. Удача сопутствовала мне с таким исключительным постоянством, что я был не вправе больше испытывать судьбу; на свете возможно все – вдруг какой-нибудь крестьянин случайно найдет на поле это колечко с выгравированными внутри его двумя именами и датой, и оно, переходя из рук в руки, раскроет истину и докажет, что в Стиа утонул вовсе не библиотекарь Маттиа Паскаль.

«Нет, нет, – решил я, – поищем более безопасное место... Но где?»

В это время поезд остановился на очередной станции. Я посмотрел в окно, и во мне тотчас же возникла мысль, которая сначала вызвала у меня некоторое отвращение. Я говорю это, чтобы извиниться перед теми, которые стараются поменьше рассуждать, любят красивые жесты и стремятся забыть, что у людей есть кое-какие потребности, имеющие власть даже над теми, кто подавлен большим горем. И Цезарь, и Наполеон, и даже, как это на первый взгляд ни унизительно, самая красивая женщина... Довольно. С одной стороны написано «М», с другой «Ж». Вот туда я и бросил свое обручальное кольцо.

Затем, не столько чтобы отвлечься, сколько желая придать некоторое содержание моей новой жизни, пока еще повисшей в пустоте, я начал размышлять об Адриане Меис и придумывать ему прошлое. Я спрашивал себя, кто был мой отец, где я родился и т. д., взвешивая все, принуждал себя замечать и как следует запоминать самые мельчайшие подробности.

Я – единственный сын; на этот счет не может быть двух мнений.

Разве на свете есть человек с еще более исключительной судьбой?... А почему бы и нет? Может быть, людей, находящихся в том же положении, моих, так сказать, собратьев, много. Ведь это же так просто – оставить шляпу и пиджак с письмом в кармане на парапете моста через реку, а потом не броситься в нее, а спокойно уехать себе в Америку или еще куда-нибудь. Через несколько дней вылавливают неузнаваемый труп – наверное, того, кто оставил письмо на

парапете. И кончен разговор. Правда, в данном случае все произошло помимо моей воли: я не оставлял ни письма, ни пиджака, ни шляпы. Но ведь я точно такой, как все эти люди, с той лишь разницей, что могу наслаждаться свободой без всяких угрызений совести. Судьба просто подарила мне свободу, а значит...

Итак, решено: единственный сын. Я родился... Место рождения лучше бы не уточнять. Но как быть? Нельзя же родиться на облаках, чтобы луна была повивальной бабкой, хотя в библиотеке я как-то прочел, что древние, помимо прочих обязанностей, приписывали луне и эту, поэтому беременные женщины призывали ее на помощь, именуя Люциной.

На облаках, конечно, родиться нельзя, но, скажем, на пароходе можно. Вот и отлично! Я родился во время путешествия. Мои родители путешествовали, чтобы дать мне возможность родиться на пароходе. Ну, ну, довольно шутить! Какой достаточно вразумительной причиной можно объяснить путешествие беременной женщины накануне родов? Может быть, мои родители ехали в Америку? А почему бы и нет? Туда едет столько народу... Даже бедняга Маттиа Паскаль тоже собирался туда. Тогда я смогу утверждать, что там, в Америке, мой отец и заработал эти восемьдесят две тысячи лир. Впрочем, нет. Имея восемьдесят две тысячи, он подождал бы, пока жена разрешится от бремени на суше, окруженная всеми удобствами. Нет, не годится! К тому же эмигранту в Америке не так-то легко заработать такую сумму, как восемьдесят две тысячи лир. Мой отец... Кстати, как же его звали? Паоло. Да, Паоло Меис. Мой отец, Паоло Меис, как и многие другие, обманулся в своих надеждах. Он промучился несколько лет, потом, отчаявшись, написал из Буэнос-Айреса письмо дедушке.

Ах, дедушка!.. Как хотелось бы мне увидеть этого милого старичка, похожего на того знатока христианской иконографии, который только что сошел с поезда!

Непостижимые капризы фантазии! Откуда, вследствие какой необъяснимой потребности пришла мне в эту минуту мысль, что этот Паоло Меис, мой отец, был изрядным шалопаем. Да, он причинил деду много неприятностей: женился против его воли, сбежал в Америку. Он, вероятно, тоже утверждал, что Христос был крайне уродлив. Да, Христос, несомненно, казался ему уродливым и высокопарным, раз уж Паоло Меис был такой человек, что, не успев получить пособие от деда, немедленно уехал, хотя жена его вот-вот должна была родить.

Но почему я обязательно родился во время путешествия? Разве не лучше родиться просто в Америке, в Аргентине, за несколько месяцев до возвращения моих родителей на родину? Вот именно! Дед как раз и смягчился из-за невинного младенца: он простил сына только из-за меня. Таким образом, я совсем еще малюткой пересек океан, и, вероятно, в третьем классе. Во время путешествия я заболел бронхитом и выжил просто чудом. Великолепно! Так мне часто рассказывал дед. Но я вовсе не обязан сожалеть, как это принято, что я не умер тогда, в возрасте нескольких месяцев, нет, не обязан. В конце концов, какие горести пережил я в жизни? По правде сказать, у меня было только одно горе – смерть моего бедного дедушки, у которого я вырос. Мой отец, Паоло Меис,

бродяга, не выносивший никакого принуждения, через несколько месяцев оставил меня и жену у бабушки и опять убежал в Америку, где умер от желтой лихорадки. Трех лет я потерял также мать и потому не помню своих родителей. У меня сохранились о них только эти скудные сведения. Более того – я даже не знаю точно, где я родился. В Аргентине, конечно. Но где? Бабушка этого не знала, потому что отец никогда ему об этом не говорил, а может быть, он просто забыл. Я, конечно, помнить этого тоже не мог. Итак, подведем итоги. Я:

- а) единственный сын Паоло Меиса;
- б) родился в Америке, в Аргентине (без дальнейших уточнений);
- в) приехал в Италию нескольких месяцев от роду (бронхит);
- г) не помню родителей и почти ничего не знаю о них;
- д) вырос у деда.

Где? Мы жили повсюду и нигде – подолгу. Сначала в Ницце. Смутные воспоминания: площадь Массена, Променад, авеню де ла Гар. Потом в Турине.

Словом, я размышлял и придумал целую кучу подробностей: я выбрал улицу и дом, где дед оставил меня до десятилетнего возраста, вверив попечению семьи, которую я нарисовал себе так, чтобы она сохранила все черты обитателей данной местности; я пережил или, вернее, мысленно, но опираясь на действительность, проследил жизнь маленького Адриано Меиса.

Это припоминание или, вернее, придумывание жизни, на деле не прожитой и собранной из кусочков чужих жизней и картин, виденных мной в чужих краях, а потом ставшей моей и пережитой как моя, сделалось для меня в начале моих странствий источником новой, незнакомой радости, к которой примешивалась и доля грусти. Оно превратилось для меня в постоянное занятие. Я переживал не только настоящее, но и прошлое, то есть те годы, когда Адриано Меис еще не существовал.

Из того, что я нафантазировал в начале моих странствий, я не запомнил ничего или почти ничего. Конечно, человек не в силах придумать ничего такого, что более или менее глубоко не уходило бы корнями в действительность; однако в действительности случаются порой самые странные вещи, и никакое воображение не может изобрести более невероятные безумства и приключения, чем те, которые возникают в шумном потоке жизни и вырываются из него.

И все же как отлична подлинная, дышащая жизнью реальность от выдумок, созданных нами на основе ее! В скольких мельчайших невообразимых и все же существенных деталях нуждается наша фантазия, чтобы снова стать реальностью, породившей ее! Сколько нитей связывают ее со сложнейшей тканью жизни, нитей, которые мы обрываем, чтобы сделать ее «вещью в себе»!

Итак, я представлял собой вымышленного человека, вымышленного странника, который, будучи брошен в гущу действительности, хотел и в конце концов был по необходимости вынужден жить.

Присутствуя при жизни других и наблюдая ее во всех подробностях, я видел, какими бесчисленными нитями связан с ней, и в то же время понимал, сколько таких нитей оборвал сам. Как теперь вновь связать их? Кто знает, куда

это меня заведет? Не станут ли они вожжами взбесившейся упряжки, которая увлечет в пропасть убогую повозку моей невольной выдумки? Нет, вновь связать эти нити я могу лишь с помощью фантазии.

На дорогах и в садах я следил за мальчиками от пяти до десяти лет, изучал их манеру двигаться и играть, запоминал их выражения, чтобы постепенно составить из этих впечатлений детство Адриано Меиса. Это удалось мне так хорошо, что детство его приобрело в моем сознании почти осязаемую реальность.

Придумывать себе новую маму я не захотел – это показалось бы мне осквернением живой и скорбной памяти о моей настоящей матери. Но вот дедом, разумеется, обзавелся: он ведь был первым плодом моих фантазий.

Из скольких живых дедушек, скольких старичков, за которыми я, присматриваясь, ходил по пятам в Турине, Милане, Венеции, Флоренции, создал я своего дедушку! У одного я позаимствовал костяную табакерку и большой носовой платок в черную и красную клетку, у другого – палку, у третьего – очки и бороду лопатой, у четвертого – походку и привычку сопеть носом, у пятого – манеру говорить и смеяться, и получился славный, хотя несколько раздражительный старичок, любитель искусств, дедушка с предрассудками, не пожелавший дать мне регулярное образование и обучавший меня сам, путем живых бесед, переездов из города в город, осмотра музеев и картинных галерей.

Посещая Милан, Падую, Венецию, Равенну, Флоренцию, Перуджу, я всегда возил с собой, как тень, моего мысленного дедушку, который не раз беседовал со мной устами какого-нибудь старенького сторожа.

Но я хотел жить и для себя, в настоящем. Время от времени я задумывался о своей беспредельной, небывалой еще свободе, и меня охватывало внезапное ощущение счастья, настолько сильное, что я как бы забывался в блаженном опьянении. Это сознание свободы вливалось мне в грудь бесконечным широким потоком, словно приподнимавшим все мое существо. Я один! Один! Хозяин сам себе! Ни в чем никому не обязан отчетом! Могу уехать куда вздумается – в Венецию так в Венецию, во Флоренцию так во Флоренцию.

И мое счастье следовало за мной повсюду. О, я вспоминаю один закат в Турине на Лунго По, около моста со шлюзом, который удерживает неистово бурлящие воды. Это случилось в первые месяцы новой жизни. Воздух был изумительно прозрачен и сообщал окружающим предметам какое-то легкое сияние, наслаждаясь которым я чувствовал такое опьянение свободой, что мне казалось, я не выдержу и сойду с ума.

Я уже изменил свой внешний облик с головы до пят: чисто выбритый, в светло-синих очках, с длинными волосами, ниспадавшими в артистическом беспорядке, я действительно казался совсем другим человеком. Иногда я останавливался перед зеркалом и разговаривал сам с собой, то и дело раздражаясь смехом:

– Адриано Меис! Счастливый человек! Жаль, что ты должен выглядеть так... А, впрочем, тебе-то что? Все прекрасно! Если бы не этот глаз, оставшийся

от того дурака, твой странный, несколько вызывающий облик не казался бы в конце концов таким уж безобразным. Ну да пусть женщины смеются. Ты-то, в сущности, не виноват. Если бы тот, другой, не носил короткие волосы, ты был бы не обязан носить такие длинные; и я же знаю, ты не по своей воле выбрит как священник. Что поделаешь! Если женщины смеются, смейся и ты – это для тебя самое разумное.

Замечу, кстати, что жил я почти исключительно собой и для себя. Я обменивался лишь несколькими словами с хозяевами гостиницы, со слугами, с соседями по столу, да и то не потому, что хотел завязать разговор. Я понял, что мое молчание доказывает отсутствие у меня склонности к притворству. Окружающие тоже не слишком часто заговаривали со мной. Вероятно, по моему внешнему виду они принимали меня за иностранца. Вспоминаю, как в Венеции я не сумел убедить старика гондольера в том, что я не немец и не австриец. Конечно, я родился в Аргентине, но в семье итальянцев. Подлинный же секрет моей, если можно так выразиться, необычности заключался совсем в ином, и знал его я один: я стал теперь другим человеком, и ни один город, кроме Мираньо, не числил меня в актах гражданского состояния; я был мертвецом, живущим под чужим именем.

Я этим не огорчился, но все-таки не хотел ни быть, ни слыть австрийцем. Мне еще ни разу не пришлось поразмыслить над словом «родина». Раньше я должен был думать о многом другом. Теперь, на досуге, у меня стала вырабатываться привычка вникать во многое, чем прежде я ни в коем случае не заинтересовался бы. Я углублялся в эти вопросы, сам того не замечая и раздраженно пожимая плечами. Но ведь надо же было и мне чем-нибудь заниматься, когда я уставал бродить по улицам и смотреть по сторонам! Чтобы отвлечься от праздных и ненужных размышлений, я иногда исписывал лист за листом своей новой подписью, пытался писать другим почерком, держа перо иначе, чем раньше. Однако в конце концов я бросал перо и рвал бумагу. Я мог бы спокойно быть и неграмотным – кому мне писать? Я ни от кого не получал и не мог получать писем.

Эта мысль, как и многие другие, возвращала меня в прошлое. Я снова видел дом, библиотеку, улицы Мираньо, пляж и спрашивал себя: «Ромильда все еще носит траур? Наверное, да, ради приличия. Что она поделывает?» И я вспоминал ее такой, какой столько раз видел у нас дома; я представлял себе также вдову Пескаторе, которая, вероятно, проклиная даже память обо мне. Я думал: ни та, ни другая, конечно, ни разу не были на кладбище, где лежит бедный, трагически погибший человек. Интересно, где меня похоронили? Наверно, тетя Сколастика не захотела потратить на меня столько, сколько на маму; Роберто и подавно; пожалуй, он даже сказал: «Кто его заставлял? Он мог бы, в конце концов, жить на те две лиры в день, которые получал как библиотекарь». Может быть, меня бросили, как собаку, в общую яму для бедняков... Ну-ну, не надо об этом думать... Мне очень жаль этого бедного человека, родственники которого, может быть, более человечны, чем мои; может быть, они отнесли бы к нему лучше.

Но какое, в конце концов, это имеет теперь значение, даже для него? Он ведь ни о чем больше не думает.

Некоторое время я продолжал путешествовать. Мне захотелось поехать за пределы Италии; я побывал на прекрасных берегах Рейна, проехав вниз по реке на пароходе до самого Кельна. Я останавливался в крупных городах: Маннгейме, Вормсе, Майнце, Бингене и Кобленце... В Кельне я подумывал поехать дальше, за пределы Германии, хотя бы в Норвегию, но потом решил наложить известную узду на свою свободу. Деньги свои я должен был растянуть на всю жизнь, а их было не так много. Прожить я мог еще лет тридцать, но отсутствие документов, которые подтверждали бы по крайней мере реальность моего существования, лишало меня возможности поступить на службу. Чтобы не кончить плохо, я должен был жить скромно. Когда я произвел подсчет, оказалось, что я могу тратить не больше двухсот лир в месяц. Конечно, это не много, но около двух лет я жил на меньшую сумму, и притом не один. Значит, надо приспособиться.

В сущности, я уже устал от своего одинокого и молчаливого бродяжничества и чувствовал инстинктивную потребность в обществе. Я понял это хмурым ноябрьским днем в Милане, сразу по возвращении из Германии.

Было холодно, к вечеру непременно должен был пойти дождь. Под фонарем я заметил старого продавца спичек, которому висевший на груди ящик мешал закутаться в истрепанное пальтишко. Он подпирал подбородок кулаками, в одном из которых была зажата свисавшая до земли веревочка. Я наклонился и увидел щеночка нескольких дней от роду, который, свернувшись клубочком между рванными башмаками хозяина, весь дрожал от холода и непрерывно скулил. Бедное животное! Я спросил старика, не продает ли он собачку. Он ответил утвердительно, прибавив, что отдаст ее за гроши, хотя щенок стоит дорого. О, из него вырастет красивый большой пес.

— Двадцать пять лир...

Бедный щенок, ничуть не возгордившись при таком похвальном отзыве, продолжал дрожать. Он, конечно, понимал, что хозяин оценил не его будущие достоинства, а глупость, которую он прочел на моем лице. Тем временем я успел сообразить, что, купив собаку, я приобрету верного, скромного и любящего друга, который, уважая меня, никогда не спросит, кто я на самом деле такой, откуда взялся и в порядке ли мои документы; но за него придется платить налоги, а я уже отвык их платить. Это мне показалось первым ограничением моей свободы, первым ущербом, который я нанес бы ей.

— Двадцать пять лир? До свидания! — сказал я старому торговцу спичками.

И, надвинув шляпу на глаза, я ушел под мелким дождем, начавшим сеяться с неба, и впервые подумал, что моя беспредельная свобода, хотя она, без сомнения, прекрасна, все-таки чуть-чуть деспотична, раз она не позволяет мне даже купить собачку.

9. Немного тумана

Хотя первая зима была суровой, дождливой и туманной, я почти не заметил ее, захваченный путешествиями и опьяненный новой свободой. К началу второй зимы я, как уже сказано, устал от постоянных разъездов и решил наложить на себя узду. И я заметил... ну конечно, был легкий туман и было холодно... я заметил, что страдаю от смены времен года, хотя в душе и решил не поддаваться подобным настроениям.

«Послушай, – укорял я себя, – тебе не пристало хмуриться, – ты ведь можешь безмятежно наслаждаться свободой!»

Я достаточно поразвлекся поездками; за этот год Адриано Меис прожил свою беспечную юность; теперь надо было стать мужчиной, сосредоточиться, избрать спокойный и скромный образ жизни. О, это нетрудно: он – человек свободный, не отягченный никакими обязанностями.

Так мне казалось, и я стал соображать, в каком городе мне обосноваться, потому что, решив принудить себя к правильному образу жизни, я не мог больше влачить существование бездомной собаки. Но где же поселиться – в большом или маленьком городе? Я никак не мог ответить себе на этот вопрос.

Я закрывал глаза и мысленно летал по тем городам, где уже побывал; я переносился из одного в другой, принуждая себя в каждом из них отчетливо вообразить именно ту улицу, ту площадь, то место, о котором у меня сохранились наиболее яркие воспоминания. Я говорил себе: «Я был и здесь, и там! И всюду кипит многообразная жизнь, и всюду она ускользает от меня. Сколько уже раз я твердил себе: «Вот тут я хотел бы поселиться! Как охотно я остался бы тут!», завидовал местным жителям, которые, следуя своим привычкам и повседневным занятиям, спокойно живут в родном городе и не знают мучительного чувства непрочности, свойственного тем, кто много разъезжает».

Это мучительное чувство непрочности владело мной и теперь, мешая мне полюбить постель, на которую я ложился спать, равно как другие окружавшие меня предметы.

Каждый предмет изменяется в нашем сознании соответственно образам, которые он вызывает и, так сказать, притягивает к себе, поскольку возбуждает различные приятные ощущения, сочетающиеся в гармоническом единстве; но гораздо чаще предмет доставляет нам удовольствие не сам по себе, а потому, что наша фантазия украшает его, окружая и как бы озаряя дорогими нам образами. Мы воспринимаем его не таким, каков он на самом деле, но как бы оживленным образами, которые он вызывает в нас и которые наши привычки ассоциируют с ним. Словом, в предмете мы любим то, что вносим в него от себя, то согласие, ту гармонию, которую устанавливаем между ним и собой, ту душу, которую он обретает только благодаря нам и которая соткана из наших воспоминаний.

Так разве может пробудить подобные чувства номер в гостинице?

Но стоит ли мне обзаводиться своим собственным домом? Денег у меня мало... А если скромный домик в несколько комнат? Не торопись: надо раньше осмотреться, все хорошенько взвесить. Конечно, свободным, совершенно

свободным я могу быть только с чемоданом в руке: сегодня здесь, завтра там. Стоит мне осесть и обзавестись домом, как тут же последуют и регистрация, и налоги, а я даже не отмечен в адресном столе. А как отметиться? Под фальшивым именем? А не начнет ли тогда полиция тайное расследование?

Во всяком случае, забот и затруднений не оберешься... Нет, оставим это: я понимаю, что мне нельзя иметь свой дом, свои вещи. Но я мог бы поселиться в семейном пансионе, в меблированной комнате. Стоит ли расстраиваться из-за пустяков?

На все эти меланхолические размышления меня навели зима и близость Рождества, праздника, пробуждающего тоску по теплу родного очага, покою, домашнему уюту.

Разумеется, я не оплакивал свой последний дом; другой же, дом моего отца, где я жил раньше, единственный, о котором я вспоминал с сожалением, был уже разрушен, да и не соответствовал моему новому положению. Таким образом, я должен был утешаться мыслью о том, как весело бы мне было, отправься я на рождественские праздники в Мираньо к жене и теще. (О, ужас!)

Чтобы посмеяться и развлечься, я представлял себе, как стою перед дверью своего дома с огромной корзиной в руках.

– Разрешите? Живут ли здесь еще синьора Ромильда Пескаторе, вдова Паскаль, и Марианна Донди, вдова Пескаторе?

– Да, синьор, но кто вы?

– Я – покойный муж синьоры, тот самый бедный синьор Паскаль, что утопился в прошлом году. Как видите, я с разрешения начальства преспокойно вернулся с того света, чтобы провести праздники в семье, после чего немедленно уйду обратно.

Не умер ли от ужаса вдова Пескаторе, внезапно увидев меня? Она-то? Вот еще! Скорее она снова уморит меня дня за два.

Все мое счастье, убеждал я себя, состоит именно в этой свободе от жены, от тещи, от долгов, от унижительных огорчений моей прежней жизни. Теперь я избавлен от них. Разве этого не достаточно? Передо мной еще вся жизнь. Кто знает, сколько сейчас на свете таких же одиноких людей, как я?

«Да, но все они, – продолжали мне нашептывать непогода и проклятый туман, – или иностранцы, или где-то имеют дом, куда рано или поздно вернуться, или, если у них нет дома, как у тебя, они могут приобрести его завтра, а пока поселиться у какого-нибудь приятеля. Ты же, по правде сказать, всегда и всюду будешь чужим, вот в чем разница. Ты чужой в жизни, Адриано Меис».

Я пожимал плечами и раздраженно восклицал:

– Тем лучше, меньше забот! У меня нет друзей? Я их приобрету.

Некий господин, мой сосед по столу в таверне, где я бывал в эти дни, уже выказывал желание подружиться со мной. Ему было под сорок, он был лысоват, смугл и носил золотое пенсне, не слишком прочно сидевшее на носу – вероятно, цепочка из чистого золота была слишком тяжела. Ах, какой славный человек! И представляете себе, стоило ему встать и надеть шляпу, как он совершенно

менялся и становился похожим на мальчика. Все дело заключалось в ногах – настолько коротеньких, что они не доставали до полу, когда он сидел; поэтому он не вставал, а как бы слезал со стула. Он пытался исправить этот недостаток, нося высокие каблуки. Что тут плохого? Ничего, разве только то, что они чересчур стучали. Зато ходил он грациозными маленькими шажками, как куропатка.

Он был очень мил, занятен, хотя немного чудаковат и болтлив, отличался своеобразными взглядами и происходил из дворян – на визитной карточке, которую он мне вручил, значилось:

Кавалер Тито Ленци.

Этой визитной карточкой он чуть было не причинил мне серьезную неприятность и, во всяком случае, поставил меня в неловкое положение, так как я не мог ответить ему тем же. У меня еще не было визитных карточек: я не решался напечатать на них мое новое имя. Вот несчастье! Неужели нельзя обойтись без визитных карточек? Просто назвал свое имя, и все.

Я так и сделал, но, по правде сказать, мое настоящее имя...

Впрочем, довольно об этом.

Какие интересные разговоры вел кавалер Тито Ленци! Он знал даже латынь и походя цитировал Цицерона.

– Сознание? Но сознания недостаточно, дорогой синьор! Одним сознанием руководствоваться нельзя. Это было бы возможно, будь оно, смею так выразиться, замком, а не площадью, то есть чем-то таким, что мы в силах представить себе изолированно, что по своей природе не открыто для других. Именно в сознании, по-моему, осуществляется основная связь между мною, который мыслит, и другими существами, которых я мыслю. Что касается чувств, склонностей и вкусов этих других существ, которых мы с вами мыслим, они не отражаются ни во мне, ни в вас, не давая нам ни удовлетворения, ни покоя, ни радости, хотя все мы стремимся к тому, чтобы наши чувства, мысли, склонности и вкусы отражались в сознании других людей. А если этого не происходит, то лишь потому, что... ну, скажем, потому, что воздух в каждый данный момент не успевает перенести зародыши ваших идей, дорогой синьор, в мозг ближнего и помочь им там развиваться. Вот почему вы не можете сказать, что вам достаточно вашего сознания. А кому же его достаточно? Разве его достаточно, чтобы прожить в одиночку, бесплодно истощив себя во мраке? Нет, и еще раз нет! Знаете, я ненавижу риторику, эту старую лживую хвастунью, эту кокетку в очках. Именно она, бия себя в грудь, придумала эту красивую фразу: «У меня есть мое сознание, и мне этого достаточно». Не спорю, Цицерон первый сказал: «*Mea mihi conscientia pluris est quam hominum sermo*». Цицерон, конечно, красноречив, но... боже избави и спаси нас от него, дорогой синьор! Он скучнее, чем начинающий скрипач.

Мне хотелось расцеловать моего собеседника. Но милый человек не ограничился острыми и оригинальными рассуждениями, за которые я готов был

счесть его мудрецом, – он начал откровенничать, и тогда я, уже полагавший, что наша дружба пошла по легкому и правильному пути, немедленно почувствовал некоторую неловкость, ощутил, как некая сила во мне вынуждает меня отдалиться от него и уйти в себя. Пока говорил он и беседа касалась отвлеченных вопросов, все было хорошо, но теперь кавалер Тито Ленци пытался вызвать на разговор меня:

– Вы не миланец, не правда ли?

– Нет...

– Проездом здесь?

– Да.

– А Милан красивый город, а?

Я был ненамного красноречивее ручного попугая. Чем настойчивей становились его вопросы, тем уклончивей я был в ответах. Очень скоро мы дошли до Америки. Но едва человек узнал, что я родился в Аргентине, как он вскочил и бросился пожимать мне руки!

– Поздравляю вас, дорогой синьор, и завидую вам! Ах, Америка. Я тоже там был.

Он там был? Спасайся, Адриано!

– В таком случае, – торопливо вставил я, – поздравить нужно скорее вас, потому что я, в сущности, там и не был, хотя родился за океаном. Я уехал оттуда нескольких месяцев от роду, так что ноги мои даже не касались американской земли.

– Жаль! – грустно воскликнул кавалер Тито Ленци. – Но у вас там остались родственники, не правда ли?

– Нет, никого...

– А, значит, вы приехали в Италию со всей семьей и здесь обосновались? Где же вы поселились?

Чувствуя себя как на иголках, я пожал плечами и вздохнул:

– Я жил в разных местах. У меня нет семьи, и я странствую.

– Как замечательно! Вы просто счастливец! Странствия!.. И у вас так-таки никого нет?

– Никого...

– Как замечательно! Счастливец! Завидую вам.

– Значит, у вас есть семья? – спросил я, в свою очередь, чтобы отвести разговор от себя.

– Совершенно никого, – вздохнул он, закрыв глаза. – Я один, и всегда был один.

– Значит, у нас одна судьба!

– Но я скучаю, дорогой синьор, я скучаю, – возразил человек. – Одиночество для меня... Словом, оно мне наскучило. У меня много друзей, но, поверьте, в моем возрасте не слишком приятно, когда возвращаешься домой и тебя никто не встречает. Есть люди, которые все понимают, есть такие, которые ничего не понимают, дорогой синьор. Тому, кто понимает, пожалуй, хуже, потому

что в конце концов у него не остается ни энергии, ни воли. Он говорит себе: «Я не должен делать то, не должен делать это, чтобы не совершать свинства». И все-таки наступает момент, когда он замечает, что вся жизнь сама по себе – сплошное свинство. А тогда, скажите на милость, какой смысл в том, что он не делал свинства? Не значит ли это, что он вроде и не жил вовсе? Вот так-то, дорогой синьор.

Я попытался утешить его:

– Но ведь у вас, к счастью, еще есть время...

– Сделать свинство? Поверьте, я уже делал его, и не раз, – перебил он меня, хвастливо улыбаясь. – Я путешествовал и странствовал, как вы, и со мной случались приключения... да, да, весьма забавные и пикантные приключения. Вот, например, как-то вечером в Вене...

Я словно упал с облаков на землю. Как! Любовные приключения? У него? Три, четыре, пять – в Австрии, во Франции, в Италии, даже в России... И какие! Одно отчаяннее другого. Вот, к примеру, отрывок из диалога между ним и одной замужней дамой:

Он. Если хорошенько подумать, я вполне понимаю вас, дорогая синьора! Изменить мужу – боже мой! Верность, целомудрие, достоинство – три великих и святых слова, слова с большой буквы! И потом – честь! Еще одно возвышенное слово!.. Но на деле, поверьте, дорогая синьора, все обстоит иначе. Это ведь лишь краткое мгновение. Спросите ваших подруг, которые это уже испытали.

Дама. Спрашивала. Все они были потом очень разочарованы.

Он. Еще бы! Понятное дело! Напуганные и скованные всеми этими громкими словами, они колебались полгода, год – словом, слишком долго, и разочарование возникло как раз от несоразмерности самого поступка и непомерно долгих размышлений, которые ему предшествовали. Нужно решаться сразу, дорогая синьора. Подумал – сделал. Все очень просто.

Достаточно было посмотреть на него, представить себе его крохотную смешную фигурку, чтобы без дальнейших доказательств понять: он лжет.

Удивление мое сменилось глубочайшим стыдом за него – ведь он не отдавал себе отчета в том, какое жалкое впечатление должно непременно производить его вранье, в особенности на меня, видевшего, что он с такой развязностью и таким удовольствием врет совершенно без всякой нужды. А я, вынужденный лгать, сдерживался и страдал до того, что каждый раз чувствовал, как у меня вся душа переворачивается. Я испытывал унижение и досаду, мне хотелось схватить его за руку и крикнуть: «Простите, кавалер, зачем вы это делаете?»

Эти унижение и досада были вполне естественны, но, подумав как следует, я понял, что такой вопрос был бы по меньшей мере гнусным. В самом деле, если милый человечек ведет себя так странно и хочет, чтобы я поверил в его победы, то причина такого поведения как раз и заключается в отсутствии для него необходимости лгать, тогда как меня... меня вынуждает лгать необходимость. В конце концов, для него это, вероятно, просто развлечение или умственное

упражнение, для меня же, напротив, – неприятная обязанность, наказание. К чему вели подобные рассуждения? Увы, к сознанию того, что я, по своему положению неизбежно вынужденный лгать, никогда не смогу иметь друга, настоящего друга. А значит, у меня не будет ни дома, ни друзей... Дружба требует откровенности, а разве я, человек без имени, без прошлого, доверю кому-нибудь секрет своей жизни, выросшей, как гриб, из самоубийства Маттиа Паскаля? Я могу позволить себе только мимолетные встречи, только короткий обмен ничего не значащими словами.

Ну что ж, это оборотная сторона моей удачи. Ладно, не стоит приходить в уныние.

– Буду жить собой и для себя, как жил до сих пор.

Но вот в чем беда: я, признаться, боялся, что мое общество никому не доставит ни интереса, ни удовольствия. И потом, ощупывая свое безбородое лицо, проводя рукой по длинным волосам или поправляя на носу очки, я испытывал странное чувство: мне казалось, что я больше не я, что я трогаю не себя.

Будем справедливы: я привел себя в такой вид для других, не для себя. А теперь я и наедине с собой должен носить маску, и все, что я измыслил, выдумал насчет Адриано Меиса, все это стало уже не для других. А для кого? Для меня? Но ведь я-то мог поверить в это только при условии, что в это поверят другие...

И вот, когда оказалось, что у Адриано Меиса не хватает духу лгать и бросаться в гущу жизни, что он, усталый от одиночества, все же вынужден уединяться, что он в эти печальные зимние дни возвращается по улицам Милана к себе в гостиницу и замыкается в обществе мертвого Маттиа Паскаля, я стал понимать, что мои дела плохи, что мне предстоит не только радости и что, следовательно, моя счастливая судьба...

Но, может быть, дело в другом – в том, что из-за беспредельности моей свободы мне и трудно начать жить каким бы то ни было определенным образом. В момент, когда я должен принять решение, меня всегда что-то удерживает: мне кажется, что я вижу слишком много помех, теневых сторон и препятствий.

И вот я снова выбегал из дома на улицу, наблюдал за всем, присматривался к каждому пустяку, подолгу размышлял над самыми незначительными вещами. Устав, я заходил в кафе, читал какую-нибудь газету, смотрел на входящих и выходящих, а в конце концов выходил и сам. Но жизнь, когда я смотрел на нее как посторонний зритель, казалась мне бесформенной и бесцельной; я чувствовал себя потерянным среди суетливой толпы, а шумное и непрерывное уличное движение оглушало меня.

Почему люди, настойчиво спрашивал я самого себя, так стремятся все больше усложнять себе образ жизни? Зачем такое нагромождение машин? Чем же займется человек, когда все будут делать машины? Не спохватится ли он тогда, что так называемый прогресс не имеет ничего общего со счастьем? Какую радость получаем мы от всех изобретений, которыми наука честно пытается обогатить человечество (а на деле обедняет его, потому что обходятся они

слишком дорого), даже когда восхищаемся ими?

Как-то в вагоне трамвая я столкнулся с одним беднягой из числа тех, кто не может не поделиться с окружающими всем, что ему приходит в голову.

— Какое прекрасное изобретение! — объявил он. — За два сольдо я в несколько минут проезжаю пол-Милана.

Два сольдо за проезд заслоняли в сознании бедняги то обстоятельство, что всего его заработка не хватает на эту шумную жизнь с трамваями, электрическим освещением и т. д., и т. д.

И все же наука, думал я, создает иллюзию, будто жизнь становится легче и удобнее. Но если даже признать, что своими сложными и громоздкими машинами наука действительно облегчает жизнь, я все равно спрошу: можно ли оказать тому, кто обречен на бессмысленный труд, худшую услугу, чем облегчить этот труд и сделать его почти механическим?

Я возвращался в гостиницу.

Там, в проеме коридорного окна, висела клетка с канарейкой. Так как я не мог беседовать с людьми и не знал, чем заняться, я начал говорить с канарейкой. Я старался повторить губами ее песенку, и она действительно думала, что с ней кто-то разговаривает, слушала меня и, быть может, угадывала в моем щебете милые ей вести о гнездах, о листьях, о свободе. Она начинала волноваться, порхала, прыгала, смотрела сквозь прутья клетки, трясла головкой, потом отвечала мне, о чем-то спрашивала и вновь слушала. Бедная птичка! Вид ее трогал меня, но ведь я-то не знал, что я ей говорю.

Так вот, если поразмыслить, разве с нами, людьми, не происходит нечто подобное? Разве мы не думаем, что природа говорит с нами? И разве мы не находим смысла в ее таинственных голосах? Не находим ответа, соответственно нашим желаниям, на мучительные вопросы, с которыми к ней обращаемся? А природа в своем бесконечном величии даже не замечает ни нашего существования, ни каких тщетных иллюзий.

Вот видите, к каким выводам может привести человека, обреченного жить наедине с собой, шутливое занятие, которому он предался от безделья. Я готов был отколотить самого себя. Неужели я действительно всерьез собираюсь стать философом?

Нет, нет, довольно! Мое поведение нелогично, так дальше продолжаться не может. Я должен победить все свои колебания и во что бы то ни стало принять решение.

Я действительно должен начать жить, жить.

10. Кропильница и пепельница

Через несколько дней я приехал в Рим с намерением там поселиться. Почему в Риме, а не где-нибудь еще? После всего, что со мной случилось потом, я понял настоящую причину, но я ее не назову, чтобы не испортить свой рассказ рассуждениями, которые в данный момент были бы неуместны. Я выбрал Рим

прежде всего потому, что он нравился мне больше других городов. И потом, мне казалось, что, равнодушно давая приют стольким чужестранцам, он может приютить такого чужестранца, как я.

Выбор дома, то есть приличной комнатки на спокойной улице в скромной семье, стоил мне немалых трудов. Наконец на улице Рипетта я нашел комнату с видом на реку. По правде сказать, первое впечатление от семьи, в которой мне предстояло поселиться, было настолько неблагоприятным, что, вернувшись в гостиницу, я долго колебался, не лучше ли поискать еще.

На двери четвертого этажа были две дощечки: с одной стороны – «Палеари», с другой – «Папиано». Под второй была прибита двумя медными гвоздиками визитная карточка, на которой можно было прочесть: «Сильвия Капорале».

Мне открыл старичок лет шестидесяти (Палеари? Папиано?) в бумажных брюках и грязных туфлях на босу ногу, с мясистым розовым обнаженным торсом без единого волоска, с намыленными руками и целым тюрбаном взбитого мыла на голове.

– Простите! – воскликнул он. – Я думал, это служанка. Подождите немного: вы меня застали... Адриана! Теренцио! Скорей сюда – вы же видите: здесь синьор... Подождите минутку, будьте любезны... Что вам угодно?

– У вас сдается меблированная комната?

– Да, синьор. Вот моя дочь – поговорите с ней. Адриана, это по поводу комнаты!

Появилась смущенная маленькая девушка, белокурая, бледная, с голубыми глазами, такими же грустными и нежными, как все ее лицо. Адриана – как я. «Вот так штука! – подумал я. – Словно нарочно».

– А где же Теренцио? – спросил человек в тюрбане из пены.

– О боже, папа, ты же отлично знаешь, что они со вчерашнего дня в Неаполе. Уйди! Если б ты сам себя видел... – удрученно ответила девушка нежным голосом, в котором, несмотря на легкое раздражение, чувствовалась душевная кротость.

Он ушел, повторяя: «Ну конечно, конечно», шлепая туфлями и продолжал намыливать лысую голову и густую седую бороду. Я не удержался и улыбнулся, но доброжелательно, чтобы не смутить его дочь еще больше. Она прищурилась, словно не желая замечать моей улыбки. Сначала она показалась мне девочкой; потом, рассмотрев выражение ее лица, я понял, что она уже взрослая и поэтому должна носить капотик, делающий ее немножко смешной, так как он не соответствует ни телосложению, ни лицу такой малышки. Одета она была в полутраур.

Говоря очень тихо и стараясь не смотреть на меня (мне неизвестно, какое я сначала произвел на нее впечатление), она темным коридором провела меня в сдававшуюся комнату. Когда дверь открылась, я почувствовал, как грудь моя расширилась от воздуха и света, врывавшихся через два больших окна, которые выходили на реку. На горизонте виднелись Монте Марио, Понте Маргерита и

весь новый квартал Праги до замка Святого Ангела – он возвышался над старым мостом Рипетта и новым, который строился рядом; немножко дальше виднелся мост Умберто и старые дома Тординоне, расположенные вдоль широкой речной излучины; в глубине, с другой стороны, – зеленые высоты Джаниколо с большим фонтаном Сан-Пьетро в Монторио и конная статуя Гарибальди.

Из-за этого приятного вида я снял комнату; меблирована она была, кстати сказать, с изящной простотой и оклеена светлыми – белыми с голубым – обоями.

– Вот этот балкончик рядом, – добавила девушка в капотике, – тоже наш, по крайней мере покамест. Говорят, его сломают, так как он слишком выдается.

– Выдается?

– Да, выступает над улицей. Разве так нельзя сказать? Но это будет не скоро – не раньше, чем достроят набережную Тибра.

Слушая ее тихий, серьезный голос и глядя на ее наряд, я улыбнулся и сказал:

– Ах, вот как.

Она обиделась, опустила глаза и чуть-чуть прикусила губку. Чтобы доставить ей удовольствие, я тоже заговорил серьезно:

– Простите, синьорина, в доме, кажется, нет детей?

Она молча покачала головой. Может быть, в моем вопросе ей послышался оттенок иронии, что совсем не входило в мои намерения. Я ведь сказал «детей», а не «девочек». Я опять спохватился:

– А... Скажите, синьорина, а других комнат вы не сдаете?

– Это самая лучшая, – ответила она, не глядя на меня. – Если она вам не нравится...

– Нет, нет, я спросил просто, чтобы узнать...

– Мы сдаем еще одну, – сказала она, подняв глаза с принужденно-безразличным видом. – Со стороны фасада... Она выходит на улицу... Ее занимает одна синьорина. Она живет у нас уже два года. Дает уроки фортепьяно, но не дома. – При этих словах она улыбнулась чуть-чуть грустно и прибавила: – Здесь живу я, мой отец и мой зять...

– Палеари?

– Нет. Палеари – это мой отец, а моего зятя зовут Теренцио Папиано. Он должен уехать вместе со своим братом, который сейчас живет с нами. Моя сестра умерла... полгода назад.

Чтоб переменить тему разговора, я осведомился о плате, мы быстро сговорились, и я спросил, нужен ли задаток.

– Как хотите, – ответила она. – Лучше просто назовите ваше имя.

Я ощупал нагрудный карман и, нервно улыбаясь, сказал:

– У меня нет... нет ни одной визитной карточки... Меня зовут Адриано, именно так. Я слышал, что вас тоже зовут Адриана, синьорина. Может быть, вам неприятно такое совпадение?

– Да нет, почему же? – возразила она, очевидно, заметив мое замешательство, и на этот раз рассмеялась как ребенок.

Я тоже рассмеялся и добавил:

— Ну, раз вам это безразлично, меня зовут Адриано Меис. Вот, кажется, и все. Я могу переехать сегодня вечером. Или лучше завтра?

Она ответила:

— Как хотите.

Тем не менее уходил я с сознанием, что доставил бы ей большое удовольствие, если бы не вернулся. Я осмелился даже не обратить должного внимания на ее капотик.

Однако несколько дней спустя я не только заметил его, но даже убедился, что бедная девушка была просто вынуждена носить этот капотик, от которого она, вероятно, охотно бы отказалась. Вся тяжесть домашней работы лежала на ее плечах, и неизвестно, что стало бы с семьей, если бы не Адриана.

У ее отца, Ансельмо Палеари, того старика, который вышел ко мне навстречу с тюрбаном пены на голове, мозг тоже был из пены. В тот самый день, когда я поселился у него в доме, он явился ко мне не столько для того, пояснил он, чтобы вторично извиниться за малопристойный вид, в котором он появился передо мной в первый раз, сколько ради удовольствия познакомиться с человеком, столь похожим на ученого или, скажем, художника.

— Я не ошибся?

— Ошиблись. Я ни в каком смысле не художник. Ученый — относительно: я люблю иногда читать книги.

— О, у вас есть хорошие! — сказал он, глядя на корешки тех немногих книг, которые я уже поставил на полочку бюро. — Как-нибудь после я покажу вам мои, хорошо? У меня тоже есть неплохие, но... — Он пожал плечами, остановился и задумался. Взгляд его затуманился — он, очевидно, уже забыл, где он и с кем. Потом лицо его приняло отрешенное выражение, он еще два раза повторил: — Но... но... — повернулся ко мне спиной и ушел, не попрощавшись.

Сначала я несколько удивился, но, когда он сдержал обещание и, пригласив меня к себе в комнату, показал свои книги, мне стала понятна не только некоторая его рассеянность, но и многое другое. Вот какие названия были у этих книг: «Смерть и потусторонний мир», «Семь принципов человека», «Карма», «Ключ к теософии», «Азбука теософии», «Тайное учение», «Астральный план» и т. д.

Синьор Ансельмо Палеари был членом теософского общества. Его раньше времени уволили в отставку с должности начальника отдела какого-то министерства, чем погубили его не только материально, но и нравственно: ничем не занятый и свободный от каких бы то ни было обязанностей, он углубился в фантастические исследования и туманные размышления, все больше отрываясь от реальной жизни. По крайней мере половина его пенсии уходила на покупку книг. Он уже составил себе маленькую библиотеку. Тем не менее теософские учения не удовлетворяли его полностью. Его, несомненно, грыз червь сомнения, потому что, наряду с теософскими сочинениями, у него была богатая коллекция старинных и новых философских эссе и трактатов, а также сборников научных

статей. В последнее время он, кроме того, увлекся спиритическими экспериментами.

Он открыл в синьорине Сильвии Капорале, своей жилище и учительнице музыки, необыкновенные способности медиума, не очень, по правде сказать, хорошо развитые; тем не менее он не сомневался, что со временем и с помощью упражнений она еще разовьет их и затмит самых знаменитых медиумов.

Я, со своей стороны, могу засвидетельствовать, что никогда не видел на столь вульгарном и уродливом лице, похожем на карнавальную маску, более скорбных глаз, чем глаза синьорины Сильвии Капорале. Они были черные, миндалевидные, всегда глядели пристально и производили такое впечатление, словно к ним изнутри привешен свинцовый противовес, как у кукол.

У синьорины Сильвии Капорале, женщины за сорок, под ярко-красным шарообразным носиком росли настоящие усы.

Позднее мне стало известно, что бедняжке безумно хотелось любви и поэтому она пила: она знала, что уродлива, стара, и пила с отчаяния. Иногда по вечерам она возвращалась домой в совершенно неопишемом виде, в шляпе, съехавшей набок, ее ярко-красный шарообразный носик походил на морковь, а взгляд полузакрытых глаз был еще горестнее, чем обычно.

Она бросалась на постель, и выпитое ею вино тотчас же превращалось в бесконечные потоки слез. И тогда бедной маленькой маме в капотике приходилось до поздней ночи ухаживать за ней и утешать ее: она чувствовала к ней жалость, которая превосходила даже отвращение. Адриана знала, что Сильвия одна на свете и глубоко несчастна, что огонь, пылающий в ее теле, вынуждает ее ненавидеть жизнь, на которую она уже два раза покушалась. Адриана тихонько уговаривала бедняжку обещать, что она будет хорошей, что это больше не повторится, и – что бы вы думали? – на следующее утро синьорина Капорале выходила к завтраку разодетая, гримасничая, как обезьянка, словно внезапно превратившись в наивную, капризную девочку.

Несколько лир, которые ей удавалось время от времени заработать, репетируя песенки с какой-нибудь дебютанткой из кафешантана, уходили на пьянство или наряды; она не платила ни за комнату, ни за ту скудную еду, которую получала в семье Палеари. Но выгнать ее было нельзя – синьор Ансельмо Палеари не смог бы тогда устраивать спиритические сеансы.

Впрочем, была и другая, более существенная причина. Два года тому назад, когда после смерти матери синьори на Капорале продала дом и переехала на жительство к Палеари, она дала Теренцио Папиано на одно верное и весьма доходное предприятие тысяч шесть лир, вырученных от продажи мебели; эти шесть тысяч бесследно исчезли.

Когда синьорина Капорале, обливаясь слезами, сама рассказала мне об этом, я отчасти извинил синьора Ансельмо Палеари: раньше мне казалось, что он держит такую женщину около своей дочери только из прихоти.

Правда, маленькая Адриана была инстинктивно такой порядочной и, пожалуй, даже чересчур рассудительной девушкой, что опасаться за нее,

вероятно, не было оснований. Больше всего ее в этой истории оскорбляли таинственные манипуляции отца и вызывание духов с помощью синьорины Капорале.

Маленькая Адриана была набожна. Я заметил это еще с первых дней, когда она повесила над моим ночным столиком на стене, рядом с кроватью, кропильницу из голубого стекла. Вечером, ложась спать, я закурил и стал читать одну из книг Палеари, а потом по рассеянности я положил окурок в эту кропильницу. На следующий день ее уже не было. Вместо нее на ночном столике стояла пепельница. Я спросил Адриану, не она ли сняла ее со стены, и девушка, слегка покраснев, ответила:

– Простите, мне показалось, что пепельница вам нужнее.

– Но разве в кропильнице была святая вода?

– Была. Здесь у нас напротив церковь Сан-Рокко.

И она ушла. Эта маленькая мама хотела, чтобы я был благочестив лишь на том основании, что в Сан-Рокко она зачерпнула святой воды для моей кропильницы. Ну, разумеется, и для своей. Отцу святая вода наверняка была ни к чему. А кропильница синьорины Капорале, если у нее таковая и была, содержала, скорее всего, святое вино.

Теперь, когда я чувствовал, что с некоторого времени как бы повис в тумане, всякая мелочь наводила меня на длительные размышления. Эта кропильница напомнила мне, что я с детства не исполнял религиозных обрядов и ни разу не был в церкви с тех пор, как ушел Циркуль, водивший нас туда вместе с Берто по распоряжению мамы. Я не испытывал никакой потребности задать самому себе вопрос: верующий я или нет? И Маттиа Паскаль умер смертью нечестивца – без покаяния и причастия.

Неожиданно я понял, что нахожусь в совсем особом положении. Для всех, кто меня знал, я так или иначе, но покончил с самой досадной, самой гнетущей мыслью, какая только может быть у живого человека, – с мыслью о смерти. Кто знает, сколько моих сограждан в Мираньо говорили:

– В конце концов, он – счастливец. Как бы то ни было, для него все решено.

А между тем я ничего не решил. Я листал книги Ансельмо Палеари, и эти книги говорили мне, что в таком же положении, как я, в «раковинах» Камалока пребывают настоящие мертвецы, в особенности самоубийцы, терзаемые, согласно господину Лидбитеру, автору «Астрального плана» (так в теософии именуется первая ступень невидимого мира), всевозможными чувственными желаниями, которых они не могут удовлетворить, так как лишены телесной оболочки, хоть и не знают, что потеряли ее.

«Ого, – подумалось мне, – а ведь этак я скоро поверю, что действительно утопился на мельнице в Стиа и сейчас только воображаю, что еще жив».

Известно, что некоторые виды сумасшествия заразительны. Помешательство Палеари, как я ни противился, в конце концов передалось и мне. Я, конечно, не считал себя действительно мертвым, хотя в этом не было бы большой беды. Самое трудное – умереть, а уж если человек умер, то у него вряд

ли явится прискорбное желание вернуться к жизни. Беда была в другом – я внезапно понял, что мне еще предстоит умереть. Я ведь об этом совсем забыл: после моего самоубийства в Стиа я, естественно, думал только о жизни. А теперь синьор Ансельмо Палеари непрерывно вызывал передо мной призрак смерти.

Этот милый человек не мог говорить ни о чем другом, но зато говорил он с таким жаром и порой прибегал к таким странным образам и выражениям, что, слушая его, я испытывал желание немедленно уехать и поселиться в другом месте. Однако в теориях и воззрениях синьора Палеари, хотя они иногда и казались мне ребячливыми, было, по существу, нечто утешительное, и поскольку мною теперь овладела мысль, что когда-нибудь я все же умру по-настоящему, я не без удовольствия слушал, как он рассуждает.

– Есть тут логика? – спросил он меня однажды, прочитав мне отрывок из книги Фино, посвященный не более не менее, как зарождению червей из гниющего человеческого тела, и полный такой сентиментально-похоронной философии, что все это казалось бредом могильщика и морфиниста. – Есть тут логика? Согласен, материя существует; предположим даже, что все материально. Но есть форма и форма, образ и образ, качество и качество. Есть камень и есть невесомый эфир, черт возьми! Да и в самом моем теле есть ногти, зубы, кожа и есть, черт возьми, тончайшая глазная ткань. Да, синьор, с какой стати мы будем отрицать, что так называемая душа тоже материальна; но согласитесь, что это иная материя, нежели ноготь, зуб, кожа. Это материя, похожая на эфир или что-то в этом роде. Почему же мы принимаем эфир как гипотезу, а душу отрицаем? Есть тут логика? Материя – да, синьор. Следите за моими рассуждениями – и увидите, к чему я приду и как все согласую. Мы придем к Природе. Сейчас мы, не правда ли, рассматриваем человека как результат смены бесчисленных поколений, как продукт длительной работы природы. Значит, дорогой синьор Меис, вы тоже животное, притом самое жалкое, и в целом мало чего стоите. Я соглашаюсь с этим и говорю: допустим, что человек занимает не очень высокое положение на иерархической лестнице живых существ – от червя до человека, скажем, семь-восемь, пусть даже пять ступеней. Но черт возьми! Чтобы подняться на эти пять ступеней, природа трудилась тысячи и тысячи веков; не правда ли, материи пришлось пройти немалый путь развития как форме-субстанции, для того чтоб достичь этой пятой ступени и сделаться животным, которое ворует и лжет, но в то же время способно написать «Божественную комедию» или принести себя в жертву, как наши матери – моя и ваша, синьор Меис. И это существо внезапно – пух! – превращается в ничто? Есть тут логика? Нет, в червя превратится мой нос, моя нога, но не моя душа, черт возьми! Да, синьор, никто не спорит: она – тоже материя, но не такая, как нос и нога. Есть тут логика?

– Простите, синьор Палеари, – возразил я ему, – великий человек гуляет, падает, ушибает голову, становится идиотом. А куда же делась душа?

Синьор Ансельмо оцепенел и уставился в одну точку, словно к его ногам внезапно упал камень:

– Куда делась душа?...

– Конечно, мы с вами не великие люди, но все же рассудите сами: я гуляю, падаю, ушибаю голову, становлюсь идиотом, куда же делась душа?

Палеари сложил руки и с выражением снисходительного сочувствия ответил:

– Но, боже мой, зачем вам падать и ударяться головою, дорогой синьор Меис?

– Ну, это просто гипотеза.

– Нет, синьор, гуляйте лучше спокойно. Возьмем стариков, которые, не падая и не ушибая голову, порой в силу законов природы становятся идиотами. О чем это свидетельствует? Вы хотите доказать, что, повредив тело, вы ослабляете и душу, что исчезновение тела влечет за собой исчезновение души. Но почему бы вам, простите, не представить себе нечто противоположное – душу, озаряющую совершенно изможденное тело. Например, Джакомо Леопарди. И многие старики тоже, скажем, его святейшество Лев Тринадцатый! Вообразите себе фортепьяно и пианиста. Внезапно во время игры инструмент отказывает – одна клавиша больше не звучит, несколько струн обрываются; конечно, на таком инструменте даже очень хороший пианист будет играть плохо. Но разве пианист перестает существовать, даже если рояль совсем замолчит?

– По-видимому, мозг – это фортепьяно, а душа – пианист?

– Старое сравнение, синьор Меис. Конечно, мозг испортился, душа становится глупой, безумной, еще какой-нибудь в том же роде. Но это значит лишь, что если пианист сломал инструмент не случайно, не по неосторожности, а по собственной воле, то он за это расплачивается: кто ломает, тот и платит – в мире за все надо платить. Однако это совсем другой вопрос. Простите, неужели для вас ничего не значит то обстоятельство, что все человечество, все люди, о которых мы что-нибудь знаем, всегда мечтали о жизни по ту сторону смерти? Ведь это же факт, факт, реальное доказательство.

– Говорят, инстинкт самосохранения...

– Нет, синьор, мне, знаете, наплевать на эту мерзкую оболочку, которая меня покрывает! Она давит на меня, я ношу ее, потому что должен носить, но если мне докажут, черт возьми, что, протаскав ее еще пять, шесть, десять лет, я не буду за это как-то вознагражден и что для меня все кончится здесь, я сегодня же, в эту же самую минуту отброшу ее. При чем же здесь инстинкт самосохранения? Я сохраняю себя единственно потому, что чувствую – так все кончиться не может! Но мне возразят: человек сам по себе – одно, человечество – другое. Особь умирает, род продолжает свою эволюцию. Вот так рассуждение! Подумайте сами: разве человечество – это не я, не вы, не каждый человек? Разве каждый из нас не чувствует, что было бы абсурдно и ужасно, если бы все сводилось лишь к ничтожному дуновению, которое представляет собой наша земная жизнь? Пятьдесят-шестьдесят лет скуки, несчастий, трудов, и во имя чего? Впустую! Ради человечества? Но ведь и человечеству когда-нибудь придет конец. Подумайте, жизнь, прогресс, эволюция – для чего все это? Зазря? Но

ничто, абсолютное ничто, говорят, не существует... Значит, ради обновления светила, как выразились вы на днях? Хорошо, пусть обновление, но надо посмотреть – в каком смысле. Согласитесь, синьор Меис, что беда науки и заключается в том, что она хочет заниматься только жизнью.

– Ну, – вздохнул я и улыбнулся, – поскольку мы все-таки должны жить...

– Но мы должны также и умереть, – подхватил Палеари.

– Понимаю, но зачем же об этом так много думать?

– Зачем? Затем, что мы не можем понять жизнь, если как-нибудь не объясним себе смерть! Это же необходимое условие наших действий, это путеводная нить, выводящая из лабиринта. И этот свет, синьор Меис, должен к нам прийти оттуда, от смерти.

– Но ведь смерть – это тьма.

– Тьма? Да, для вас. А вы попробуйте затеплить лампадку веры чистым маслом души. Если такой лампадки нет, мы бродим по жизни как слепые, несмотря на электрический свет, который мы изобрели. Для жизни электрическая лампа хороша, великолепна. Но мы, дорогой синьор Меис, нуждаемся в другом светильнике, который озаряет нас. Видите этот фонарик с красным стеклом? Я зажигаю его по вечерам – нужно учиться видеть при слабом освещении. Сейчас мой зять Теренцио в Неаполе. Через несколько месяцев он вернется, и тогда, если вы захотите, я приглашу вас присутствовать на одном из наших скромных сеансов. И почему знать, может быть, этот фонарик... Довольно, пока я больше ничего не скажу.

Как видите, общество Ансельмо Палеари было не очень приятно. Но мог ли я, по здравом рассуждении, без всякого риска или, вернее, не принуждая себя лгать, надеяться на общество людей, не оторванных от жизни? Я вновь и вновь вспоминал кавалера Тито Ленци. В отличие от него синьор Палеари ни о чем не расспрашивал меня, довольствуясь вниманием, с каким я слушал его речи. Почти каждое утро после обычного омовения всего тела он сопровождал меня в моих прогулках; мы ходили или на Джаниколо, или на Авентино, или на Монте Марко, порой даже до самого Понте Иоментано, постоянно говоря о смерти.

«Нечего сказать, много я выиграл, – думал я, – оттого, что не умер на самом деле».

Иногда я пытался перевести разговор на другие темы, но синьор Палеари, казалось, не замечал зрелища окружающей его жизни. На ходу он почти всегда держал шляпу в руке; иногда он внезапно приподнимал ее, словно здороваясь с какой-то тенью, и восклицал:

– Глупости!

Только однажды он неожиданно обратился ко мне с личным вопросом:

– Почему вы живете в Риме, синьор Меис?

Я пожал плечами и ответил:

– Потому что мне нравится жить здесь...

– А ведь это печальный город, – заметил он, покачивая головой. – Многие удивляются, почему здесь не удастся ни одно предприятие, не пускает корни ни

одна живая идея. Но люди удивляются этому лишь по одной причине – они не хотят признать, что Рим мертв.

– Рим тоже мертв? – огорченно воскликнул я.

– Давно, синьор Меис. И поверьте, все попытки оживить его напрасны. Замкнутый в снах своего великого прошлого, он ничего не хочет знать о повседневной жизни, которая непрестанно кипит вокруг него. Когда город прожил такую исключительную и выдающуюся жизнь, как Рим, он уже не может стать современным городом, то есть таким, как любой другой. Разве эти новые дома – Рим? Послушайте, синьор Меис, моя дочь Адриана рассказала мне о кропильнице, которая висела в вашей комнате, вспоминаете? Адриана вынесла оттуда эту кропильницу, но вечером она выпала у нее из рук и разбилась; уцелела только раковина, которая стоит теперь на моем письменном столе – я приспособил ее именно для того, для чего вы по рассеянности воспользовались ею впервые. Такова же и судьба Рима, синьор Меис. Папы сделали из него кропильницу – в своем роде, конечно, – а мы, итальянцы, превратили ее в пепельницу. Люди из всех стран съезжаются сюда стряхивать пепел со своих сигар. Какой символ нашей несчастной жизни и того горького, отравленного наслаждения, которое она нам дает!

11. Вечером, глядя на реку

Чем больше сближали нас уважение и симпатия, которые выказывал мне хозяин дома, тем труднее мне становилось общаться с ним; я и раньше испытывал в его присутствии тайную неловкость, но теперь она постепенно делалась острой, как терзавшие меня угрызения совести, ведь я втерся в эту семью под чужим именем, изменив свой внешний вид, живя придуманной, почти лишенной содержания жизнью. И я обещал себе по возможности стоять в стороне, ни на минуту не забывая, что я не вправе слишком приближаться к чужой жизни, должен избегать всякой интимности и довольствоваться существованием вне общества.

«Свободен!» – все еще повторял я себе, но уже начинал постигать смысл этой свободы и видеть ее границы.

Из-за этой свободы я, например, проводил целые вечера, облокотившись о подоконник и глядя на черную, молчаливую реку, которая текла меж новых домов, под мостами, где отражались огни фонарей, пляшущие как огненные змейки; я мысленно следил за этими водами, берущими начало далеко в Апеннинах и текущими через поля, город, потом снова через поля и так до самого устья; я представлял себе беспокойное, мрачное море, в котором, пройдя такой долгий путь, теряются эти воды, и время от времени утомленно зевал.

– Свобода... свобода... – бормотал я. – Но разве в другом месте будет не то же самое?

Иногда по вечерам я видел на балконе рядом нашу маленькую маму в капотике – она поливала цветы. «Вот жизнь», – думал я, следя за славной

девушкой и ее приятным занятием, и ждал, что она вот-вот бросит взгляд на мое окно. Но напрасно. Она знала, что я дома, но, когда была одна, притворялась, что не замечает меня. Почему? Вероятно, только из-за робости; впрочем, может быть, наша мамочка все еще втайне сердилась на меня за то, что я с упорной жестокостью оказывал ей очень мало внимания?

Потом она, поставив лейку, облакачивалась о перила балкона и тоже смотрела на реку, стараясь показать мне, что она несколько не интересуется мной, так как занята собственными, гораздо более серьезными мыслями и нуждается в одиночестве.

Думая об этом, я мысленно улыбался, но, когда она уходила с балкона, готов был признать, что мое суждение может быть ошибочно, что оно – обычное, инстинктивное следствие досады, возникающей у каждого, кто видит, что на него не обращают внимания.

«Почему, в конце концов, – спрашивал я себя, – она должна думать обо мне и без всякой надобности говорить со мной?»

Ведь я служил живым напоминанием о несчастье ее жизни – безумии ее отца; быть может, мое присутствие было унижением для нее. Быть может, она оплакивала то время, когда ее отец, состоя на службе, не был вынужден сдавать комнаты и держать в доме постороннего, в особенности такого, как я! Быть может, я просто пугаю бедную девочку своим глазом и очками...

Стук экипажа, проезжавшего по ближайшему деревянному мосту, отрывал меня от этих размышлений; я фыркал, отходил от окна, смотрел на кровать, смотрел на книги, некоторое время колебался – лечь мне в постель или взяться за чтение, затем пожимал плечами, хватал шляпу и уходил, надеясь, что на улице я избавлюсь от щемящей тоски.

Повинуясь настроению, я шел или на самые шумные улицы, или в уединенные места. Помню, однажды ночью на площади Святого Петра мне почудилось, что я погружаюсь в сновидение, что я воочию вижу далекий мир былых веков, замкнутый здесь между крыльями величавого портика, в тишине, казавшейся еще более глубокой из-за немолчного лепета двух фонтанов. Я подошел к одному из них, и вода показалась мне живой, а все остальное почти призрачным и глубоко печальным в своей молчаливой и неподвижной торжественности.

Возвращаясь по улице Борго Нуово, я наткнулся на пьяного, который, проходя мимо меня и видя, что я задумался, наклонился, вытянул шею, заглянул мне в лицо, слегка тряхнул мою руку и сказал:

– Веселей!

Я круто остановился и удивленным взглядом смерил его с ног до головы.

– Веселей! – повторил он, сопровождая это слово жестом, означавшим: «Что ты делаешь? Стоит ли так задумываться? Выкинь-ка все из головы!»

И он ушел, шатаясь и держась рукой за стену.

Меня ошеломило появление этого пьяницы и неожиданный дружеский и философский совет, данный им на безлюдной улице, около большого храма, как

раз в тот момент, когда я был целиком погружен в мысли, которые возбудил во мне этот храм.

Некоторое время я стоял неподвижно и следил за этим человеком, потом почувствовал, что мое удивление вот-вот изольется исступленным хохотом.

– Веселей! Да, дорогой, но я не могу, как ты, идти в кабачок и по твоему совету искать веселья на дне бокала. Я, конечно, не найду его там! Не найду и в другом месте! Я пойду в кафе, мой дорогой, к порядочным людям, которые курят и болтают о политике. По словам одного адвоката-монархиста, мы все можем быть веселы и даже счастливы только при одном условии, что нами управляет добрый абсолютный монарх. Ты, бедный пьяный философ, ничего об этом не знаешь, это даже не приходит тебе в голову. А знаешь, в чем истинная причина всех наших бед и печалей? В демократии, мой дорогой, в демократии, то есть в правлении большинства, потому что, когда власть в руках одного, этот один, помня, что он один, должен удовлетворять многих; но когда управляют многие, они думают о том, как бы удовлетворить самих себя, и тогда возникает самая гнусная, самая отвратительная тирания – тирания, прикрытая маской свободы. Именно так! Отчего, ты думаешь, я страдаю? Я страдаю как раз от этой тирании, которая замаскирована свободой... Вернемся-ка домой!

Но это была ночь встреч.

Немного спустя, проходя почти в темноте по улице Тординоне, я услышал громкий вопль и другие, более приглушенные крики в одном из переулков, выходящих на эту улицу. Внезапно я увидел, что навстречу мне движется группа дерущихся. Четыре негодяя, вооруженные суковатыми палками, гнали за проституткой.

Я упоминаю об этом приключении не для того, чтобы похвастаться мужественным поступком, но чтобы передать тот страх, который я испытал перед последствиями его. Мужчин было четверо, но у меня была трость с железным наконечником. Двое из них бросились на меня с ножами. Я защищался, как мог, размахивая тростью и вовремя отпрыгивая в сторону, чтоб не оказаться окруженным; наконец мне удалось метко ударить самого буйного металлическим набалдашником по голове, и я увидел, как он зашатался, а потом пустился наутек; трое остальных, опасаясь, вероятно, что на крики женщины сбежится народ, последовали за ним. Не помню, как это получилось, но оказалось, что у меня разбит лоб. Я крикнул женщине, которая продолжала звать на помощь, чтобы она замолчала, но она, видя, что у меня все лицо залито кровью, не удержалась и, сама вся растерзанная, с плачем попыталась помочь мне, перевязав меня шелковым платком, закрывавшим ей грудь и разорванным во время драки.

– Нет, нет, благодарю, – сказал я, содрогаясь от отвращения. – Оставь, это пустяки. Уходи сейчас же и никому не показывайся...

Я пошел умыться к ближайшей колонке, находившейся под лестницей моста. Но, пока я был там, прибежали, запыхавшись, двое полицейских и стали выяснять, что случилось. Женщина, которая была из Неаполя, немедленно

рассказала им о приключившемся со мной несчастье, произнося по моему адресу самые пылкие и восторженные фразы на своем родном диалекте. Мне стоило немалых усилий избавиться от этих двух ретивых полицейских, которые непременно хотели, чтобы я пошел с ними и дал показания о происшествии. Боже, только этого не хватало! Мне ли, кому надлежит молчаливо жить в тени, в полной безвестности, связываться с квестурой, чтобы на следующее утро стать героем газетной хроники?

Вот уж кем я не мог стать, так это героем – разве что ценою смерти... Но ведь я уже был мертв!

– Простите, синьор Меис, вы вдовец?

Синьорина Капорале внезапно задала мне этот вопрос однажды вечером на балконе, где они были вдвоем с Адрианой и куда пригласили посидеть с ними и меня.

Мне на мгновение стало дурно, потом я ответил:

– Я? Нет. Почему вы это предположили?

– Потому что вы всегда трете указательным пальцем правой руки безымянный на левой, словно хотите повернуть кольцо. Вот так... Не правда ли, Адриана?

Подумайте, чего только не видят глаза женщин, вернее сказать – некоторых женщин, потому что Адриана заявила, что она никогда ничего подобного не замечала.

– Ты просто не обращала внимания! – воскликнула синьорина Капорале.

Должен признаться, что, хотя я тоже никогда не обращал на это внимания, у меня, вполне вероятно, действительно была такая привычка.

– В самом деле, – пришлось добавить мне, – я долгое время носил на этом пальце колечко, которое распилил ювелир, потому что оно слишком жало и причиняло мне боль.

– Бедное колечко! – простонала, кривляясь, сорокалетняя дева, обуреваемая в этот вечер ребячливым жеманством. – Такое ли уж оно было узкое? Неужели оно не слезало с пальца? Может быть, это было воспоминание о...

– Сильвия! – укоризненно прервала ее маленькая Адриана.

– Что здесь плохого? – ответила синьорина Капорале. – Я хотела только сказать – о первой любви... Ну, расскажите же нам что-нибудь, синьор Меис. Неужели вы так никогда и не заговорите?

– Так вот, – начал я. – Я подумал о том, как вы объяснили мою привычку чесывать палец. Вы сделали очень нелогичный вывод, милая синьорина, потому что вдовцы, насколько мне известно, не снимают обручального кольца. Тяготить может жена, но не кольцо, когда жены уже нет. Скажу больше: как ветеранам нравится украшать себя всеми своими медалями, так и вдовцу, думается мне, приятно носить кольцо.

– Ну вот еще! – воскликнула Капорале. – Вы просто ловко меняете тему разговора.

– Напротив, я даже хочу углубить ее.

– Что тут углублять! Я никогда ничего не углубляю. Просто у меня создалось такое впечатление, и все.

– Впечатление, что я вдовец?

– Да, синьор. Не кажется ли тебе, Адриана, что у синьора Меиса вид вдовца?

Адриана подняла было на меня глаза, но тотчас же их опустила – застенчивость не дала ей выдержать чужой взгляд. Она слегка улыбнулась своей обычной нежной и грустной улыбкой и сказала:

– Откуда мне знать, как выглядят вдовцы? Какая ты странная!

В это мгновение у нее, наверно, возник какой-то образ, какая-то мысль, потому что она смутилась и вновь стала смотреть вниз на реку. Ее приятельница, должно быть, поняла это. Она вздохнула и тоже повернулась лицом к реке. Очевидно, между нами встал кто-то четвертый, невидимый. В конце концов, глядя на полутраурное платье Адрианы, до этого додумался и я. В самом деле, ее находящийся в Неаполе зять Теренцио Папиано едва ли похож на безутешного вдовца; следовательно, такой же вид, по мысли синьорины Капорале, должен быть и у меня.

Признаюсь, я обрадовался, что разговор кончился так плохо: пусть боль, причиненная Адриане воспоминанием о покойной сестре и о Папиано-вдовце, будет для синьорины Капорале наказанием за нескромность.

Но надо быть справедливым: то, что мне казалось нескромностью, было, в сущности, только естественным и вполне извинительным любопытством; странное молчание, окружавшее мою личность, не могло не возбудить его. А так как одиночество стало для меня теперь невыносимо и я был не в силах отказаться от такого соблазна, как общество других людей, эти последние имели полное право полюбопытствовать, кто я такой. Я же был вынужден удовлетворять их желание, то есть выдумывать и лгать, – другого пути у меня не было. Виноват в этом был только я, правда, свою вину я усугублял ложью, но если бы я не согласился лгать и страдал, оттого что лгу, я должен был бы уйти и снова отправиться в одинокие и безвестные странствия. Я заметил, что Адриана, которая сама никогда не задавала мне никаких нескромных вопросов, тем не менее вся превращалась в слух, когда я отвечал синьорине Капорале; вопросы же, по правде сказать, учительница музыки задавала очень часто, и они нередко переходили границы естественного и простительного любопытства.

Однажды вечером, например, на том же балконе, где мы обычно собирались, когда я возвращался после ужина, она спросила меня, смеясь и увертываясь от Адрианы, которая в крайнем возбуждении кричала ей: «Нет, Сильвия, не смей, я тебе запрещаю!»:

– Простите, синьор Меис, Адриана хочет знать, почему вы не носите хотя бы усов...

– Неправда, – кричала Адриана, – не верьте, синьор Меис, это все она, а я, напротив...

И наша маленькая мамочка неожиданно разрыдалась. Синьорина Капорале немедленно принялась утешать ее:

– Да что ты! В чем дело? Что тут дурного?

Адриана оттолкнула ее локтем:

– Дурно то, что ты солгала, и это меня сердит! Мы говорили об актерах, которые все... такие, и тогда ты сказала: «Как синьор Меис? Почему он не отрастит хотя бы усы?» А я только повторила: «Да, почему?»

– Ну что ж, – согласилась синьорина Капорале, – кто говорит: «Да, почему?», тот и спрашивает.

– Но ведь первая сказала ты! – с досадой заявила Адриана.

– Можно ответить? – спросил я, чтобы их успокоить.

– Нет, простите, синьор Меис, не надо. Покойной ночи! – отрезала Адриана и встала, собираясь уйти.

Но синьорина Капорале удержала ее за руку:

– Полно, глупышка! Мы ведь шутим... Синьор Меис так добр, что он не рассердится. Не правда ли, синьор Адриано? Скажите же ей сами, почему вы не отрастите по крайней мере усы...

На этот раз Адриана рассмеялась, хотя глаза у нее еще были полны слез.

– Под этим кроется тайна, – ответил я, комически понижая голос. – Я заговорщик.

– Не верим! – воскликнула синьорина Капорале тем же тоном, но потом прибавила: – А все-таки вы, без сомнения, очень скрытный. Что вы, например, делали сегодня после обеда на почте?

– Я? На почте?

– Да, синьор! Не станете же вы отрицать? Я видела вас собственными глазами. Около четырех... Я проходила по площади Сан-Сильвестро.

– Вы ошиблись, синьорина: это был не я.

– Ну, ну, – недоверчиво протянула Капорале. – Тайная переписка... Это правда, Адриана! Синьор Меис никогда не получает писем на дом. Заметь, мне это сказала служанка!

Адриана раздраженно заерзала на стуле.

– Не обращайтесь на нее внимания, – сказала она, бросив на меня грустный и почти ласковый взгляд.

– Да, я не получаю писем ни домой, ни до востребования, – согласился я. – Совершенно верно! Мне никто не пишет, синьорина, по той простой причине, что у меня нет никого, кто мог бы мне написать.

– Даже ни одного приятеля? Быть не может! Так-таки никого?

– Никого. На земле существуем только я и моя тень. Я непрерывно путешествую вместе с ней по разным местам и до сих пор нигде не задерживался так долго, чтобы успеть завязать прочную дружбу.

– Счастливцев! – вздохнула синьорина Капорале. – Всю жизнь путешествовать!.. Расскажите нам хоть о путешествиях, если уж не желаете говорить ни о чем другом.

Преодолев подводные камни первых затруднительных вопросов, я постепенно научился обходить некоторые из них на веслах лжи, служившей мне рычагом и опорой; если же вопрос касался меня особенно близко, я цеплялся за подводный камень обеими руками и тихонько, осторожненько поворачивал лодочку моего вымысла так, чтобы она могла наконец выйти в открытое море и поднять паруса фантазии.

И теперь, после года молчания, я получал большое удовольствие от того, что каждый вечер говорил на балконе – говорил, о чем хотел: обо всем, что видел, о своих наблюдениях, о приключениях, пережитых в разных местах. Я сам удивлялся, что за время путешествия собрал столько впечатлений, которые почти похоронило во мне молчание; теперь же, когда я заговорил, они воскресли и живыми слетали с моих губ. Это внутреннее удивление необычайно расцветчивало мои рассказы, и удовольствие, с которым обе женщины слушали меня, постепенно пробуждало во мне все большее сожаление о тех благах, которых я еще не вкусил полностью; это сожаление также окрашивало теперь мои рассказы.

После нескольких вечеров поведение синьорины Капорале и ее отношение ко мне совершенно изменились. Взгляд ее как бы отяжелел от нарочитой томности; он еще больше напоминал теперь о свинцовых шариках, подвешенных внутри для равновесия, и углублял контраст между скорбными глазами и карнавальная маской лица. Сомнений не было: синьорина Капорале влюбилась в меня. Нелепое удивление, которое я ощутил при этом открытии, показало мне, что все эти вечера я говорил не для нее, а для другой, всегда слушавшей меня молча. Адриана – это было совершенно ясно – тоже поняла, что я говорил для нее одной, ибо нас связало обоюдное, хоть и невысказанное желание посмеяться над неожиданным и комическим действием, которое производили мои рассказы, затрагивая самые чувствительные струны души сорокалетней учительницы музыки.

Когда я это открыл, у меня не появилось никаких нечистых чувств к Адриане – ее целомудренная, проникнутая грустью доброта исключала их, – но мне доставляли бесконечную радость даже первые проявления доверчивости, на какие могла решиться милая и застенчивая Адриана. То это был беглый, как молния, очаровательный нежный взгляд, то сочувственная улыбка по поводу смешного самообольщения подруги, то благосклонное предостережение, которое она посылала мне взглядом или легким кивком головы, когда я забредал по нашей тайной тропинке чуть-чуть дальше, чем надо, и подавал хоть проблеск надежды синьорине Капорале, то, словно бумажный змей, взвивавшейся к небесам блаженства, то падавшей с неба на землю при каком-нибудь моем неожиданным и резком выпадом.

– У вас не слишком нежное сердце, – объявила мне однажды синьорина Капорале, – если вы, как уверяете, вправду прошли по жизни невредимо, во что я, конечно, не верю.

– То есть как это невредимо?

– Я хочу сказать – ни разу не испытал страсти...

– О, ни разу, синьорина, ни разу.

– А все-таки вы не сказали нам, откуда у вас взялось... колечко, которое распилил ювелир, так как оно слишком резало вам палец.

– И причиняло мне боль. Разве я вам не говорил? Да нет, говорил, конечно. Это память о дедушке, синьорина.

– Ложь.

– Думайте, как вам угодно, но я, видите ли, могу вам даже сказать, что дедушка подарил мне это колечко во Флоренции, когда мы выходили из галереи Уффици. И знаете за что? За то, что я (мне было тогда двенадцать лет) принял одну вещь Перуджино за работу Рафаэля. В награду за эту ошибку я и получил колечко, купленное в одной из лавчонок на Понте-Веккьо. Дедушка, не знаю уж, по каким соображениям, был твердо убежден, что эта картина Перуджино должна считаться картиной Рафаэля. Вот вам и объяснение тайны. Вы понимаете, что между рукой двенадцатилетнего мальчика и моей теперешней ручищей есть известная разница. Взгляните сами. Теперь я весь такой, как эта ручища, на которую уже не Наденешь изящное колечко. Сердце-то у меня, может быть, и есть, но я должен быть справедлив к себе, синьорина: когда я смотрю на себя в зеркало сквозь эти самые очки, которые ношу из жалости к собственной особе, у меня опускаются руки и я мысленно восклицаю: «И ты еще надеешься, дорогой Адриано, что какая-нибудь женщина полюбит тебя!»

– О, какой вздор! – взорвалась синьорина Капорале. – И вы считаете, что думать так – справедливо? Напрасно: это вопиющая несправедливость в отношении нас, женщин. Запомните, дорогой синьор Меис: женщина гораздо великодушнее мужчины и обращает внимание не только на телесную красоту, как вы.

– Скажем тогда, что женщина и храбрее мужчины: надо признать, синьорина, что, кроме великодушия, ей надо иметь изрядную дозу отваги, чтобы по-настоящему полюбить такого мужчину, как я.

– Да подите вы! Вам просто нравится говорить о себе и даже изображать себя более некрасивым, чем на самом деле.

– Это правда. И знаете почему? Чтобы не вызывать ни в ком жалости. Пожелай я хоть немного приукрасить себя, надо мной бы посмеялись: «Посмотрите-ка на этого беднягу, он надеется, что станет менее уродлив, отрастив усы». А так не будут. Я некрасив? Ну что ж, зато некрасив откровенно и ничем не желаю себя прикрасить. Что вы на это скажете?

Синьорина Капорале глубоко вздохнула и ответила:

– Скажу, что вы не правы. Если бы вы, например, отрастили себе хоть маленькую бородку, вы сразу бы поняли, что вы совсем не такое чудовище, как уверяете.

– А мой косой глаз? – спросил я.

– О боже! – воскликнула синьорина Капорале. – Раз уж вы говорите об этом так просто, я, извините, скажу вам то, что хочу сказать уже несколько дней:

почему вы не рискнете на операцию, которую теперь делают запросто? Стоит только захотеть, и вы очень быстро избавитесь от этого маленького недостатка.

– Вот видите, синьорина, – закончил я спор. – Допускаю, что женщина более великодушна, чем мужчина, но позволю себе заметить, что, давая мне такие советы, вы все-таки хотите, чтобы я изменил свою наружность.

Почему я так настойчиво длил этот спор? Неужели мне действительно хотелось, чтобы учительница Капорале в присутствии Адрианы прямо сказала, что уже полюбила меня, даже такого бритого и косоглазого? Нет. Я говорил так много и задавал синьорине Капорале столько мелких вопросов потому, что заметил удовольствие, вероятно бессознательное, которое испытывала Адриана при победоносных ответах учительницы.

Таким образом я понял, что, несмотря на мой нелепый облик, она могла бы полюбить меня. Я не признавался в этом даже самому себе, но с этого вечера постель, на которой я спал в этом доме, стала казаться мне мягче, все окружавшие меня предметы – приятнее, воздух, который я вдыхал, – свежее, небо – лазурнее, солнце – ослепительнее. Мне хотелось верить, что эта перемена объясняется еще и тем, что Маттиа Паскаль умер на мельнице в Стиа, а я, Адриано Меис, на первых порах несколько потерявшись в своей новой беспредельной свободе, обрел наконец равновесие, постиг идеал, который нарисовал себе, и сделал из себя другого человека, живущего другой жизнью, которая теперь, я это чувствовал, переполняет меня.

И моя душа, избавив яд опытности, вновь обрела веселость ранней юности. Даже синьор Ансельмо Палеари не казался мне больше таким скучным: тень, туман, дым его философии растаяли на солнце моей новой радости. Бедный синьор Ансельмо! Из двух вещей, о которых, по его словам, надо думать на земле, он незаметно для себя привык думать только об одной; но как знать – быть может, и он в лучшие дни думал о жизни. Гораздо более достойна сочувствия была учительница Капорале, даже вино не давало ей «веселья», о котором говорил тот незабвенный пьяница с улицы Борго Нуово; бедняжка хотела жить и считала невеликодушными мужчин, которые обращают внимание только на телесную красоту. Значит, в душе она чувствовала себя красивой. Кто знает, сколько и какие жертвы она бы принесла, если бы нашла «великодушного» мужчину! Может быть, она отказалась бы даже от вина.

«Если мы признаем, – думал я, – что человеку свойственно ошибаться, разве справедливость не является нечеловеческой жестокостью?»

И я обещал себе, что не буду больше жесток к синьорине Капорале. Я это обещал, но, увы, я был жесток, сам того не желая, и даже тем более жесток, чем меньше я этого хотел. Моя приветливость еще больше разжигала в ней огонь, который так легко вспыхивал. И вот что случалось: при моих словах бедная женщина бледнела, а Адриана краснела. Я не очень хорошо понимал, что говорю, но чувствовал, что, хотя мои слова, звук голоса, интонация и волнуют ту, к кому они на самом деле обращены, она не хочет разрушить тайную гармонию, которая, не знаю как, уже создалась между нами. Душам свойственна особая

способность понимать друг друга, вступать в близкие отношения, переходить, так сказать, на «ты», в то время как мы сами еще нуждаемся в сложности обыденных слов и пребываем в рабстве у социальных условностей. У наших душ есть свои собственные потребности и устремления, на которые тело не обращает внимания, когда видит невозможность удовлетворить их и претворить в действие. И всякий раз, когда двое общаются друг с другом на молчаливом языке души, они, оставаясь наедине, ощущают мучительную растерянность и нечто вроде острого отвращения к малейшему физическому контакту. Это острое чувство отвращения, удаляющее их друг от друга, немедленно прекращается, как только появляется кто-то третий. Тогда тягостное ощущение проходит, обе души вновь окрыляются, испытывают взаимное притяжение и снова издали улыбаются друг другу.

Сколько раз я убеждался в этом на примере себя и Адрианы. Но растерянность, которую она чувствовала, казалась мне следствием ее природной сдержанности и застенчивости, тогда как мое смущение объяснялось, по-моему, угрызениями совести, потому что я был принужден непрерывно притворяться, появляясь в ином, поддельном облике перед этим чистым, наивным, нежным и робким существом.

Теперь я смотрел на нее другими глазами. Но, может быть, она в самом деле переменилась за этот месяц? Разве не озарились внутренним светом ее беглые взгляды? И разве ее улыбка не доказывала, что те усилия, которых ей стоила роль мудрой хозяйки и которые представлялись мне раньше несколько показными, стали для нее теперь менее тягостны?

Может быть, и она инстинктивно повиновалась моей потребности создать себе иллюзию новой жизни, какой и как – я и сам не знал. Желание неясное, как вздох души, незаметно приоткрыло для нее, равно как и для меня, окно в будущее, откуда к нам лился опьяняюще теплый свет, хотя мы не умели ни приблизиться к этому окну, ни закрыть его, ни увидеть, что же находится за ним.

Наше сладкое опьянение заражало и бедную синьорину Капорале.

– Знаете, синьорина, – сказал я ей однажды вечером, – я почти решил последовать вашему совету.

– Какому? – спросила она.

– Оперироваться у окулиста.

Синьорина радостно захлопала в ладоши:

– О, великолепно! И обязательно у доктора Амброзини. Обратитесь к Амброзини – это самый лучший врач! Он оперировал катаракту бедной моей маме. Видишь, Адриана, зеркало заговорило. Что я тебе сказала?

Адриана улыбнулась, я – тоже:

– Дело тут не в зеркале, а в необходимости, синьорина: с некоторых пор у меня побаливает глаз. Правда, он никогда не служил мне как следует, но я все же не хочу его терять.

Это была неправда. Синьорина Капорале не ошиблась: зеркало заговорило и сказала мне, что, если относительно легкая операция сотрет с моего лица эту

безобразную особую примету Маттиа Паскаля, Адриано Меис может снять синие очки, отрастить себе усы и вообще по мере сил привести свою наружность в соответствие с изменившимся состоянием духа.

Несколько дней спустя меня неожиданно потрясла ночная сцена, при которой я присутствовал, спрятавшись за жалюзи одного из моих окон.

Сцена разыгралась на балконе, где я до десяти пробыл в обществе обеих женщин. Вернувшись к себе в комнату, я начал рассеянно читать «Воплощение», одну из любимых книг синьора Ансельмо. Внезапно мне почудилось, что на балконе я слышу разговор. Я прислушался – не Адриана ли это? Нет. Говорили два голоса, тихо и возбужденно. Один голос был мужской и принадлежал не Палеари. В доме было всего двое мужчин – я и он. Меня охватило любопытство, я подошел к окну и заглянул в просветы жалюзи. Мне показалось, что в темноте я различил синьорину Капорале. Но кто был мужчина, с которым она разговаривала? Может быть, неожиданно приехал из Неаполя Теренцио Папиано?

По одному слову, которое синьорина Капорале произнесла чуть громче, я понял, что говорили обо мне.

Я подошел ближе к жалюзи и прислушался еще внимательнее. Мужчина был явно раздражен сведениями, которые учительница музыки, несомненно, сообщила обо мне, и теперь она старалась сгладить впечатление, произведенное ими на него.

– Богат? – вдруг спросил он.

– Не знаю... Кажется, да. Во всяком случае, живет на свои сбережения, ничего не делая...

– Он всегда дома?

– Нет. И потом, завтра ты его увидишь. – Она сказала именно так: «Увидишь». Значит, она была с ним на «ты»; значит, Папиано (в этом не было больше никакого сомнения) – любовник синьорины Капорале... Почему же тогда она все эти дни проявляла такую благосклонность ко мне?

Мое любопытство становилось все сильнее, но они, как нарочно, заговорили очень тихо. Лишась возможности следить за разговором, я еще напряженнее стал всматриваться во мрак. И тут я увидел, как синьорина Капорале положила руку на плечо Папиано. Минуту спустя тот грубо оттолкнул ее.

– Но как я могла запретить? – сказала она, с глубоким отчаянием повышая голос. – Кто я такая? Что я значу в этом доме?

– Позови мне Адриана, – повелительно бросил мужчина.

Услышав имя Адрианы, произнесенное таким тоном, я сжал кулаки и почувствовал, как кровь застучала у меня в жилах.

– Она спит, – ответила синьорина Капорале.

– Поди и сейчас же разбуди ее! – мрачно и угрожающе приказал он.

Не знаю, как я сдержался и в бешенстве не распахнул жалюзи. Усилие, которое я сделал над собой, чтобы обуздать свой гнев, на мгновение привело

меня в себя. С губ моих готовы были сорваться те же самые слова, которые только что с таким отчаянием произнесла несчастная женщина: «Кто я такая? Что я значу в этом доме?»

Я отошел от окна и немедленно подыскал оправдание для себя: они говорили обо мне, а мужчина хотел, кроме того, расспросить Адриана; следовательно, я вправе узнать, каковы его намерения в отношении меня. Легкость, с которой я извинил такой свой неделикатный поступок, как подслушивание и подглядывание, показала мне, что я выдвигаю на первый план собственные интересы лишь с одной целью – чтобы не сознаваться самому себе, что Адриана внушает мне сейчас еще гораздо более живой интерес.

Я снова стал смотреть через щели жалюзи.

Синьорины Капорале на балконе уже не было. Мужчина стоял один, облокотившись о перила, сжав голову руками, и смотрел на реку.

Охваченный неудержимым страхом, согнувшись и крепко обхватив руками колени, я ждал, когда же появится Адриана. Длительное ожидание несколько меня не утомило, напротив, я даже постепенно приободрился, испытывая живое и все возрастающее удовлетворение: я предположил, что Адриана заперлась у себя, не желая подчиняться этому грубияну. Может быть, как раз сейчас синьорина Капорале, ломая руки, умоляет ее выйти. А этого субъекта тем временем грызет досада. Я уже надеялся, что Адриана откажется встать с постели, а учительница придет и сообщит об этом. Но нет – вот она.

Папиано двинулся ей навстречу.

– Идите спать и дайте мне поговорить с моей свояченицей, – приказал он синьорине Капорале.

Та повиновалась, и Папиано принялся закрывать ставни выходящих на балкон окон столовой.

– Зачем? – возразила Адриана, удерживая рукой ставень.

– Мне нужно побеседовать с тобой, – мрачно бросил ей зять, стараясь говорить шепотом.

– Говори так. Что ты хочешь мне сказать? – спросила Адриана. – Мог бы подождать до завтра.

– Нет, теперь! – ответил Папиано, схватив ее за руку и притягивая к себе.

– Это еще что? – воскликнула Адриана, яростно вырываясь.

Не владея больше собой, я распахнул жалюзи.

– О, синьор Меис! – воскликнула Адриана. – Подите сюда, если вам не трудно.

– Сию минуту, синьорина! – торопливо отозвался я.

Сердце мое затрепетало от радости и благодарности, и я одним прыжком очутился в коридоре. Но там, у входа в мою комнату, свернувшись клубком на сундуке, лежал тощий белокурый юноша с длинным бескровным лицом, который, с трудом открыв голубые томные глаза, удивленно глянул на меня; в изумлении я на секунду остановился, решил, что это, вероятно, брат Папиано, и выбежал на балкон.

– Позвольте, синьор Меис, представить вам моего зятя, Теренцио Папиано, только что приехавшего из Неаполя, – сказала Адриана.

– Очень рад! Просто счастлив! – воскликнул тот, снимая шляпу, низко кланяясь и горячо пожимая мне руку. – Мне очень жаль, что меня все это время не было в Риме, но я уверен, моя маленькая свояченица позаботилась обо всем, не правда ли? Если вам чего-нибудь не хватает, скажите, не стесняйтесь! Если вам, например, нужно бюро побольше или какая-нибудь другая мебель, не церемоньтесь. Мы всегда стараемся угождать постояльцам, которые делают нам честь.

– Благодарю! – ответил я. – У меня все есть. Благодарю.

– Не стоит благодарности – это мой долг! И, пожалуйста, всегда обращайтесь ко мне со всеми своими надобностями, как бы дорого они нам ни стоили... Адриана, дитя мое, ты ведь уже спала, ложись, если хочешь.

– Оставь, – сказала Адриана, грустно улыбаясь. – Уж если я поднялась...

Она подошла к перилам и уставилась на реку.

Я почувствовал, что она не хочет оставлять меня с ним наедине. Чего она боится? Она стояла, погруженная в свои мысли, а Папиано, все еще держа шляпу в руке, говорил мне о Неаполе, где ему пришлось задержаться дольше, чем он предполагал, чтобы снять копии с множества документов из частного архива ее светлости герцогини Терезы Раваскьери Фьески, герцогини-мамы, как все ее зовут. Это документы исключительной важности, которые проливают новый свет на последние годы существования Королевства Обеих Сицилии и в особенности на Гаэтано Филанджери, князя Сатриано, которого маркиз Джильо, дон Иньяцио Джильо д'Аулетта, собирается прославить в подробной и беспристрастной биографии. Он, Папиано, служит секретарем у маркиза Джильо. Биография должна быть беспристрастной хотя бы настолько, насколько это позволяют синьору маркизу его преданность и верность Бурбонам.

Папиано никак не мог кончить. Он упивался собственным красноречием и, говоря, подкреплял свои слова всеми уловками закоренелого актера-любителя – то легким смешком, то выразительным жестом. Ошеломленный, я стоял как чурбан, время от времени утвердительно кивая головой и взглядом следя за Адрианой, которая все еще смотрела на реку.

– Ну конечно, – сказал в виде заключения Папиано, понижая голос, – маркиз Джильо д'Аулетта был сторонником Бурбонов и клерикалов! А я, я, кто... я должен говорить об этом шепотом даже у себя дома... кто каждое утро, перед уходом, отдает честь статуе Гарибальди на Джаниколо... Вы видели ее? Отсюда прекрасно видно... Я, кто готов каждую минуту воскликнуть: «Да здравствует двадцатое сентября!» – я должен быть его секретарем! Заметьте, он достойнейший человек, но сторонник Бурбонов и клерикал. Да, синьор, хлеб!.. Клянусь вам, мне столько раз хотелось, простите, плюнуть на все! Кусок застревает в горле, душит меня... Но что я могу поделать? Хлеб! Хлеб!

Он дважды пожал плечами, воздел руки и покачал бедрами.

– Ну, ну, Адрианучча! – сказал он потом, подбегая к девушке и слегка

обнимая ее за талию. – В постель! Уже поздно. Синьор, вероятно, хочет спать.

У двери в мою комнату Адриана крепко пожала мне руку, чего до сих пор никогда не делала. Оставшись один, я долго не разжимал пальцев, словно для того, чтобы сохранить прикосновение ее руки. Всю ночь напролет я размышлял, стараясь подавить в себе противоречивые чувства. Церемонное лицемерие, вкрадчивое и красноречивое низкопоклонство, злонамеренность этого человека сделали для меня нестерпимым пребывание в доме, где он – в этом я не сомневался – хотел стать тираном, воспользовавшись слабоумием своего тестя. Кто знает, к каким еще ухищрениям он может прибегнуть! Он уже показал мне одну из своих уловок, совершенно изменившись при моем появлении. Но почему он так недоволен тем, что я поселился здесь? Разве я для него не только жилец, как и любой другой на моем месте? Что ему наговорила обо мне синьорина Капорале? Неужели он всерьез ревнует ее? Или другую? Он выгнал синьорину Капорале, чтобы остаться наедине с Адрианой, с которой начал говорить очень резко. Возмущение Адрианы и то, что она не позволила ему закрыть ставни, а также волнение, в которое она приходила всякий раз, когда при ней упоминали об отсутствующем зяте, – все укрепляло во мне отвратительное подозрение, что Папиано имел на нее виды.

Хорошо, но почему это меня так волнует? Разве я не могу в конце концов уйти из этого дома, если Папиано хоть немного досадит мне? Что меня удерживает? Ничто. И все же я с нежностью и теплотой вспоминал, как Адриана позвала меня на балкон, словно желая, чтобы я защитил ее, а прощаясь, крепко-крепко пожала мне руку...

Я оставил открытыми и жалюзи, и ставни. Прошло еще некоторое время, и луна, склоняясь к горизонту, заглянула в просвет моего окна, словно желая подстеречь меня, застать еще бодрствующим на кровати и сказать мне:

– Я поняла, дорогой, я поняла! А ты нет? Полно!

12. Глаз и Папиано

– Трагедия об Оресте в марионеточном театрике, – объявил мне синьор Ансельмо Палеари. – Марионетки автоматические – новое изобретение. Сегодня вечером в половине девятого, улица Префетти, пятьдесят четыре.

– Трагедия об Оресте?

– Да! D'après Sophocles,²² как сказано в афише. Дают «Электру». Но послушайте-ка, мне в голову пришла странная мысль! А вдруг в кульминационный момент, когда марионетка, изображающая Ореста, уже готова отомстить за отца Эгисту и своей матери, картонное небо театрика прорвется? Скажите-ка, что тогда произойдет?

Я только пожал плечами:

– Откуда мне знать?

²² По Софоклу (франц.).

– Но это же ясно, синьор Меис! Такая дыра в небе привела бы Ореста в полное замешательство.

– Почему?

– А вот послушайте. Ореста еще обуревают жажда мщения, в страстном исступлении он рвется утолить ее, но в этот миг глаза его невольно устремляются на дыру, откуда на сцену прорываются какие-то враждебные веяния, и руки у него сами собой опускаются. Словом, Орест превращается в Гамлета. Поверьте мне, синьор Меис, вся разница между трагедией античной и трагедией нового времени сводится к одному – к одной дыре в картонном небе.

И он удалился, волоча ногу.

Синьор Ансельмо частенько низвергал вот так снежные лавины мыслей с заоблачных вершин своих абстракций. Откуда у него возникали такие мысли, с чем они были связаны, что его на них наталкивало, – все это было скрыто там, в облаках, и его собеседник лишь с большим трудом мог уразуметь, о чем он, собственно, говорит.

И все же образ Ореста, приведенного в замешательство дырой в небе, почему-то запечатлелся у меня в памяти. «Какие, право, счастливы эти марионетки! – вздыхал я. – Небо над их деревянными головками всегда ровное, без дыр. Ни душевного смятения, ни колебаний, ни роковых вопросов, ни мрачных мыслей, ни сожалений – ничего! Они могут быть смелыми, радостно предаваться своей игре, любить, испытывать чувство самоуважения и собственного достоинства; это небо выкроено по их мерке, оно подходящая кровля для них и для их деяний».

«А прототип такой вот марионетки, милейший синьор Ансельмо, – вилась дальше нить моих мыслей, – вы имеете у себя дома: это ваш гнусный зятек Папиано. Он вполне удовлетворен этим низеньким небом из папье-маше над своей головой, этим удобным и спокойным жилищем иконописного бога, который на все смотрит сквозь пальцы, закрывает глаза на что угодно и охотно поднимает руку в знак отпущения грехов. На любое жульничество этот самый бог отвечает лишь тем, что сонно бормочет: «Береженого бог бережет». А ваш Папиано, он-то уж себя бережет. Для него жизнь – игра, в которой важно одно – словчить. И с каким наслаждением впутывается в любую интригу проворный, предприимчивый болтун!»

Папиано было лет сорок; он отличался хорошим ростом и крепким сложением; лоб у него уже начал лысеть; густые усы с проседью топорщились прямо под самым носом основательных размеров с вечно трепетавшими ноздрями; глаза были серые, остренькие и такие же беспокойные, как руки. Он все видел и все ощупывал. Разговаривает, например, со мною и, уж не знаю, каким образом, замечает, что за его спиной Адриана что-то изо всех сил чистит или убирает в комнате. И вот он уже усердствует:

– Pardon!²³ – Бежит к ней, выхватывает у нее из рук то, над чем она

²³ Простите (франц.).

трудилась. – Нет, девочка, погляди: надо вот так!

Сам чистит заново, сам ставит на место и возвращается ко мне.

Иногда, внезапно заметив, что брат его, страдавший эпилептическими судорогами, начинает «чудить», он подбегал к нему и принимался хлопать его ладонью по щекам и щелкать по носу:

– Шипионе! Шипионе!

Или дул ему в лицо, пока тот не приходил в себя.

Как бы все это развлекало меня, если бы не мое прошлое!

Папиано с первых же дней, видимо, догадался, что у меня не все ладно – во всяком случае, он что-то учуял. Он начал правильную осаду, осторожно ходя вокруг да около, то и дело закидывая удочку в надежде, что я проболтаюсь. Мне казалось, что каждое его слово, каждый его вопрос, даже самый невинный, таит в себе подвох. Впрочем, я старался не выказывать ему недоверия, чтобы не усиливать его подозрений. Но меня до того бесили его повадки льстивого инквизитора, что я так и не научился достаточно хорошо скрывать свое раздражение.

Раздражали меня и еще два обстоятельства – внутренних, потаенных. Во-первых, то, что я, не совершив ничего дурного, не причинив никому зла, вынужден был в отношениях с любым другим человеком вести себя осторожно, с оглядкой, словно я потерял право на то, чтобы меня оставили в покое. Что касается второго обстоятельства, то в нем мне самому не хотелось отдавать себе отчет, и от этого я в глубине души еще больше раздражался. Сколько я себе ни твердил: «Болван, да плюнь ты на это, встряхнись!» – я не мог ни плюнуть, ни встряхнуться.

Борьба, которую я вел с самим собой, чтобы не осознать своего чувства к Адриане, не давала мне поразмыслить над теми последствиями, какие могло иметь для этого чувства мое в высшей степени ненормальное положение в жизни. И вот я топтался на месте, озабоченный, нестерпимо недовольный собой, в беспрестанном внутреннем возбуждении, но с безмятежной улыбкой на лице.

То, что я подслушал в первый вечер из-за спущенных жалюзи, еще не проявилось открыто. По-видимому, неблагоприятное впечатление, которое составилось обо мне у Папиано после разговора с синьориной Капорале, внезапно рассеялось при нашем знакомстве. Он, правда, донимал меня, но, вероятно, просто по привычке и, во всяком случае, без тайного намерения выжить меня из дому. Напротив! Что же он замышлял? Синьорина Сильвия Капорале обращалась к Папиано на «вы», по крайней мере в присутствии других, этот же архиначал совершенно открыто говорил ей «ты». Он доходил до того, что называл ее Рея Сильвия. Я не знал, как понимать такое его бесцеремонное и в то же время шутовское поведение. Правда, несчастная вела настолько беспорядочную жизнь, что особого уважения не заслуживала, но она не заслуживала и подобного обращения со стороны человека, не состоявшего с ней ни в родстве, ни в свойстве.

Как-то вечером (стояла полная луна, и на улице было светло почти как

днем) я увидел ее из своего окна: одинокая, грустная, стояла она на балконе, где мы собирались теперь редко и без того удовольствия, что прежде, так как к нам немедленно присоединялся Папиано, никому не дававший вымолвить слова. Движимый любопытством, я решил подойти к ней и, так сказать, захватить ее врасплох.

В коридоре, у своей двери, я, как всегда, обнаружил брата Папиано, свернувшегося на сундуке в том же положении, в каком я увидел его в первый раз. Было ли это его постоянным местопребыванием, или он наблюдал за мной по приказу брата?

На балконе синьорина Капорале плакала. Сперва она не захотела мне ничего сказать, только жаловалась на нестерпимую головную боль. Потом, словно приняв внезапное решение, она обернулась, посмотрела мне прямо в лицо, положила руку на плечо и спросила:

– Вы мне друг?

– Если вы согласны оказать мне эту честь... – с поклоном ответил я.

– Благодарю. Только, ради бога, не говорите мне пустых любезностей. Если бы вы только знали, как я нуждаюсь в друге, в настоящем друге, и именно в данную минуту! Вы должны это понять – ведь вы, как и я, один на свете... Но вы – мужчина. Если бы вы только знали, если бы вы знали...

Чтобы не плакать, она закусила носовой платок, который держала в руке, но это не помогло, и она несколько раз яростно дернула его.

– Баба, уродина, старуха! – вскричала она. – Три непоправимые беды! Зачем мне жить?

Мне стало жаль ее:

– Успокойтесь. Зачем вы так говорите, синьорина?

Ничего лучшего я не придумал.

– Потому что... – вырвалось у нее, но она тут же замолчала.

– Но в чем же дело? – уговаривал ее я. – Если вам нужен друг...

Она поднесла изорванный носовой платок к глазам.

– Больше всего мне нужно умереть! – простонала она с таким глубоким отчаянием, что я почувствовал, как к горлу моему подкатывает клубок.

Никогда в жизни я не забуду ни скорбной складки ее жалких, увядших губ, когда она произносила эти слова, ни дрожи подбородка, на котором курчавилось несколько черных волосков.

– Но меня не берет даже смерть, – продолжала она. – Ничего... Извините, синьор Меис! Чем вы мне можете помочь? Ничем. Самое большее – словами... Да лишь капелькой сочувствия! Я сирота, мне не на что рассчитывать, и пусть со мной обращаются как... Вы, наверно, сами заметили – как. А ведь они не имеют на это никакого права! Они ведь мне не милостыню подают...

И тут синьорина Капорале заговорила со мной о шести тысячах лир, которыми, как я уже упоминал, поживился Папиано.

Как ни сочувствовал я горестям несчастной женщины, мне хотелось разузнать у нее нечто совсем другое. Воспользовавшись (признаюсь в этом)

возбужденным состоянием, в котором она находилась, – вероятно, еще и потому, что пропустила лишний стаканчик, – я решился спросить:

– Но, простите меня, синьорина, почему вы дали ему эти деньги?

– Почему? – сжала она кулаки. – Две подлости, одна чернее другой! Я дала деньги, чтобы доказать ему, что отлично соображаю, чего он от меня хочет. Вы поняли? Жена его еще была жива, а этот субъект...

– Понимаю.

– Вы только представьте себе! – всхлипнула она. – Бедная Рита...

– Его жена?

– Да. Рита, сестра Адрианы... Она два года болела, все время была между жизнью и смертью. Подумайте, могла ли я... Но ведь все знают, как я себя вела. Адриана тоже знает и потому хорошо относится ко мне. Она-то ко мне добра, бедняжка. Но с чем я сейчас осталась? Поверьте, из-за него мне пришлось расстаться даже с роялем, который был для меня всем, понимаете, всем. Не только из-за моей профессии: я беседовала с ним. Еще девочкой, в музыкальной школе, я сочиняла, сочиняла и потом, по окончании ее, а затем бросила. Но пока у меня был рояль, я все же импровизировала, просто так, для себя. Давала выход своим чувствам, опьянялась музыкой до того, что порой – поверьте мне – без сознания падала на пол. Сама не могу сказать, что вырывалось из моей души: я сливалась с инструментом в одно существо, и не пальцы мои бежали по клавишам, а душа кричала и плакала. Скажу только одно: как-то вечером (мы с мамой жили в мезонине) внизу, на улице, собрался народ, и под конец мне долго аплодировали. Мне даже стало немножко страшно.

– Извините меня, синьорина, – начал я, чтобы хоть немного утешить ее, – а разве нельзя взять рояль напрокат? Мне доставило бы такое удовольствие слушать вашу игру; и если вы...

– Нет, – перебила она, – что я теперь могла бы играть? С этим для меня покончено. Бренчу всякие пошлые песенки. Довольно. С этим покончено.

– Но синьор Теренцио Папиано, наверно, обещал вернуть вам деньги? – рискнул я снова спросить.

– Он? – внезапно с гневной дрожью вырывалось у синьорины Капорале. – А кто его об этом просит? Да, конечно, он обещал, если я ему помогу... Вот так! Он хочет, чтобы я, именно я, помогла ему. Он имел наглость самым спокойным образом предложить мне это.

– Помочь ему? В чем же?

– В новой подлости! Вы меня понимаете? Я вижу, что поняли...

– Адри... Синьорина Адриана? – пробормотал я, запинаясь.

– Вот именно. Я должна уговорить ее. Я, понимаете?

– Выйти за него?

– Разумеется. Знаете зачем? У него есть, или, вернее, должно быть, тысяч четырнадцать-пятнадцать лир приданого его несчастной жены, которые он обязан был сразу же возвратить синьору Ансельмо, поскольку Рита умерла бездетной. Не знаю уж, какое он там учинил жульничество. Во всяком случае, он

попросил отсрочки на год. А теперь рассчитывает... Тсс! Адриана!

Адриана подошла к нам, еще более замкнутая и застенчивая, чем обычно, обняла за талию синьорину Капорале и слегка кивнула мне. После всех выслушанных мною признаний меня обуревало негодование при одной мысли о том, что она почти рабски подчиняется тирании этого мошенника. Вскоре на балконе, словно тень, появился братец Папиано.

– Вот и он, – шепнула синьорина Капорале Адриане. Та опустила глаза, горько улыбнулась, покачала головой и ушла с балкона, бросив мне на прощание:

– Извините, синьор Меис, доброй ночи.

– Шпион, – шепнула мне, подмигнув, синьорина Капорале.

– Но скажите, чего боится синьорина Адриана? – вырвалось у меня от накипавшего раздражения. – Неужели она не понимает, что, поступая таким образом, дает ему лишний повод наглотать и тиранствовать еще больше? Слушайте, синьорина, должен вам признаться, что я крайне завидую всем, кто умеет любить жизнь и наслаждаться ею. Я восхищаюсь ими. Если уж выбирать между тем, кто примиряется с рабским положением, и тем, кто даже самым беззастенчивым образом стремится быть господином, то я предпочитаю второго.

Синьорина Капорале заметила мое возбуждение и спросила, словно бросив мне вызов:

– Так почему же вы сами не пытаетесь возмутиться?

– Я?

– Да, да, вы, – подтвердила она, с подстрекательским видом глядя мне прямо в глаза.

– Но я-то тут при чем? – возразил я. – Я могу проявить свое возмущение только одним способом – уехать.

– Ну, так вот, – лукаво заявила синьорина Капорале, – может быть, именно этого Адриана и не желает.

– Не желает, чтобы я уезжал?

Она повертела в воздухе разорванным носовым платком, затем обкрутила его вокруг пальца и вздохнула:

– Почем знать?

Я пожал плечами.

– Пора ужинать! – воскликнул я и удалился, оставив музыкантшу одну на балконе.

Для начала в тот же самый вечер я, проходя по коридору, остановился у сундука, где опять свернулся клубочком Шипионе Папиано.

– Простите, – обратился я к нему, – не найдете ли вы другого места, где вам будет поудобнее? Здесь вы мне мешаете.

Он тупо глянул на меня сонными глазами, но даже не шевельнулся.

– Вы поняли меня? – возвысил я голос, тряся его за плечо. С таким же успехом можно было обращаться к стене! Но тут дверь в конце коридора открылась, и на пороге появилась Адриана.

– Прошу вас, синьорина, – обратился я к ней, – попробуйте вы втолковать этому бедняге, что ему следовало бы расположиться где-нибудь в другом месте.

– Он ведь больной, – вступилась Адриана.

– Вот именно, больной! – не сдавался я. – Здесь ему плохо: мало воздуха... Да и лежать на сундуке... Может быть, мне поговорить с его братом?

– Нет, нет! – поспешно возразила она. – Я сама скажу, не беспокойтесь.

– Он поймет! – добавил я. – Я ведь еще не король, чтобы у моей двери все время находился часовой.

С этого вечера я перестал держать себя в узде и начал откровенное наступление на застенчивость Адрианы, закрыв на все глаза и без дальнейших размышлений предавшись своему чувству!

Бедная милая девочка! С самого начала она словно колебалась между страхом и надеждой. Довериться надежде она не решалась, догадываясь, что меня подхлестывает раздражение. Но я, со своей стороны, понимал, что страх в ней порождается именно скрытой до последнего времени и почти подсознательной надеждой на то, что она меня не потеряет. И так как я своим решительным поведением давал теперь пищу этой надежде, девушка не могла больше безраздельно поддаваться страху.

Эти колебания и благородная сдержанность, в которых проявлялась ее душевная деликатность, не давали мне остаться наедине с самим собой и вынуждали меня все глубже втягиваться в скрытое пока что соперничество с Папиано.

Я ожидал, что он сразу же примет вызов, отбросив обычную любезность и церемонность. Однако этого не случилось. Он убрал своего братца с его наблюдательного пункта на сундуке, как я требовал, и даже принялся подшучивать над смущением и застенчивостью, которые невольно выказывала в моем присутствии Адриана.

– Вы уж не взывайте с моей маленькой свояченицы, синьор Меис, она у нас застенчивая, словно монашка.

Такая неожиданная уступчивость и развязность заставили меня призадуматься: что он замышляет?

Однажды вечером он явился домой с каким-то субъектом, который вошел, громко стуча палкой по плитам пола; этот человек был обут в тряпичные туфли, заглушавшие топот ног, и стучал палкой, видимо, для того, чтобы слышно было, как он шагает.

– А где же мой любезный родственник? – закричал он с резким туринским акцентом, не снимая шапчонки с приподнятыми полями, надвинутой на самые глаза, затуманенные вином, и не вынимая изо рта трубки, которой он словно подпаливал себе нос, еще более красный, чем нос синьорины Капорале. – А где же мой любезный родственник?

– Вот он, – сказал Папиано, указывая на меня. Затем он обратился ко мне: – Синьор Адриано, вас ждет приятный сюрприз: это синьор Франческо Меис из Турина, ваш родственник.

– Мой родственник? – изумленно вскричал я. Субъект закрыл глаза, поднял, словно медведь, свою лапу и некоторое время держал ее на весу в ожидании рукопожатия.

Я, не принимая руки, оглядел его с головы до ног и наконец спросил:

– Что это за комедия?

– Простите, почему же комедия? – отозвался Теренцио Папиано. – Синьор Франческо Меис уверил меня, что он ваш...

– Кузен, – подтвердил субъект, не открывая глаз. – Все Меисы в родстве друг с другом.

– Но я даже не имею удовольствия знать вас, – возразил я.

– В том-то все и дело! – вскричал субъект. – Потому я и зашел с тобой повидаться.

– Меис? Из Турина? – переспросил я, делая вид, что припоминаю. – Но я же не из Турина!

– Как так? – вмешался Папиано. – Простите, разве вы не говорили мне, что до десятилетнего возраста жили в Турине?

– Ну да! – подхватил субъект, раздраженный тем, что кто-то взял под сомнение нечто для него вполне достоверное. – Вот этот господин... Как ваше имя?

– Теренцио Папиано. К вашим услугам.

– Теренциано. Он мне сказал, что твой отец уехал в Америку. А что из этого следует? А то, что ты сын дядюшки Антонио, уехавшего в Америку. И мы с тобой кузены.

– Но ведь моего отца звали Паоло...

– Нет, Антонио.

– Паоло! Паоло! Мне-то лучше знать.

Субъект пожал плечами и скривил рот.

– Мне помнилось – Антонио, – произнес он, поскребывая подбородок, поросший седоватой щетиной по меньшей мере четырехдневной давности. – Не стоит спорить: пусть будет Паоло. Я тоже мог запомнить – я ведь не знал его.

Бедняга! Он наверняка лучше меня знал, как звали его дядю, уехавшего в Америку, но тем не менее уступил, так как во что бы то ни стало желал быть моим родственником. Он сообщил мне, что его отец, которого тоже звали Франческо и у которого был брат Антонио, то бишь Паоло, мой отец, уехал из Турина, когда сыну было всего семь лет. Сам он, человек бедный и служащий, всегда жил отдельно от семьи – то тут, то там. Поэтому он очень мало знал о родичах как с отцовской, так и с материнской стороны, но тем не менее был совершенно убежден в том, что мы с ним двоюродные братья.

Но дедушку-то, дедушку он по крайней мере знал?

Я спросил его насчет дедушки. Оказывается – знал, но в точности не помнит, где это было: то ли в Павии, то ли в Пьяченце.

– Ах так? Знали? Какой же он был?

– Он был... Да нет, по чести скажу, не упомяну. Прошло-то ведь лет

тридцать...

По-видимому, говорил он вполне чистосердечно. Похоже было, что это просто неудачник, утопивший душу в вине, чтобы не слишком ощущать бремя тоски и нищеты. Не открывая глаз, он кивал головой в ответ на все, что я ни говорил, только бы мне не перечить. Уверен: скажи я ему, что ребятишками мы росли вместе и я не раз вцеплялся ему в волосы, он точно так же согласился бы. Мне не разрешалось выражать сомнение лишь в одном – в том, что мы двоюродные братья. Тут уж он не шел ни на какие уступки: это твердо установлено, он на этом стоит, и конец.

Однако наступил момент, когда я взглянул на Папиано, увидел его ликование, и у меня пропала охота шутить. Я отпустил этого полупьяного беднягу, именуя его «дорогим родственником», посмотрел Папиано в глаза, чтобы он сразу понял, что я – орешек не по его зубам, и спросил:

– А теперь вы мне скажете, где вы откопали этого чудака.

– Тысяча извинений, синьор Адриано, – рассыпался в любезностях этот мошенник, которому я, во всяком случае, не могу отказать в изобретательности. – Я вижу, что мне не повезло...

– Но вам же всегда необыкновенно везет! – воскликнул я.

– Я имею в виду лишь то, что не доставил вам удовольствия. Прошу вас верить, что это простая случайность. Вот как все получилось. Нынче утром по поручению маркиза, моего принцепала, мне пришлось пойти в налоговое управление. Занимаюсь своим делом и вдруг слышу – кто-то громко зовет: «Синьор Меис, синьор Меис!» Я живо обернулся, подумав, что и вы зашли сюда по какому-нибудь делу и вам, может быть, понадобится моя помощь. Я же всегда к вашим услугам. Но ничего подобного: звали этого чудака, как вы правильно выразились. Ну вот, я взял, подошел к нему, просто так, из любопытства, и спросил, действительно ли его зовут Меис и откуда он родом, так как я имею честь и удовольствие сдавать комнату некоему синьору Меису... Вот как все получилось! Он уверил меня, что вы, наверное, его родич, и напросился пойти со мной, чтобы увидеть вас.

– Это было в налоговом управлении?

– Точно так. Он служит там помощником инспектора.

Можно ли было ему верить? Я решил в этом убедиться, и все подтвердилось. Но верно было и другое: в то время как я действовал напрямик, препятствуя тайным интригам, которые Папиано плел против меня в настоящем, он все время ускользал от меня и тайно рылся в моем прошлом, готовя мне удар в спину. Хорошо его зная, я имел все основания опасаться, что при его чутье он окажется такой ищейкой, которой не придется долго водить носом по ветру. Горе мне, если этот пес нападет хоть на малейший след: он уж наверняка приведет его к мельнице в Стиа.

Так вот, легко вообразить себе мой ужас, когда через несколько дней я читал у себя в комнате и вдруг из коридора, как с того света, до меня донесся голос, голос еще живой в моей памяти.

Испанец? Мой маленький бородатый и коренастый испанец из Монте-Карло? Который хотел играть со мной и с которым я поссорился в Ницце? Ах, черт возьми. Вот он, след! Папиано удалось-таки на него напасть!

Растерявшись от неожиданности и страха, я вскочил и, чтобы не упасть, ухватился за столик. Ошеломленный, охваченный ужасом, я прислушался, и у меня мелькнула мысль спастись бегством, пока эти двое, Папиано и испанец (вне всякого сомнения, это был он: я буквально увидел его, услышав голос), еще не дошли до конца коридора. Бежать? А что, если Папиано, войдя, спросит у служанки, дома ли я? Что он подумает, узнав о моем бегстве? Но, с другой стороны, он, может быть, уже знает, что я не Адриано Меис? Спокойнее! Что известно обо мне испанцу? Он видел меня в Монте-Карло. Но сказал ли я ему тогда, что меня зовут Маттиа Паскаль? Может быть... Я не помнил.

Сам не знаю как, я очутился перед зеркалом, словно кто-то подвел меня к нему за руку. Всмотрелся в свое отражение. Проклятый глаз! Из-за него-то меня, пожалуй, и можно узнать. Но каким, каким образом Папиано докопался до моего приключения в Монте-Карло? Это удивляло меня больше всего. Что же теперь делать? Да ничего. Ждать, пока произойдет то, что должно произойти.

Но ничего не произошло. И тем не менее в тот день страх мой не прошел. Он не прошел даже вечером, когда Папиано, объяснив мне неразрешимую и страшную для меня тайну этого посещения, доказал, что он вовсе не напал на след моего прошлого и что только случай, чьей милостью я воспользовался в свое время, пожелал оказать мне еще одну милость, поставив на моем пути того самого испанца, который, может быть, и не помнил обо мне ровно ничего.

Судя по тому, что я узнал о нем от Папиано, выходило, что я неизбежно должен был встретить его в Монте-Карло, поскольку он профессиональный игрок. Странно было только, что я встретил его в Риме или, вернее, что, обосновавшись в Риме, я попал в дом, куда имел доступ и он. Разумеется, если бы мне нечего было бояться, случай этот не показался бы мне столь странным. И правда – разве так редко приходится нам неожиданно сталкиваться с человеком, с которым мы случайно познакомились где-то в другом месте? Впрочем, он имел или воображал, что имеет, весьма основательные причины для приезда в Рим и появления в доме Папиано. В страхах же своих виноват был лишь я сам или, точнее, то, что я сбрил бороду и переименовал имя.

Лет двадцать назад маркиз Джильо д'Аулетта, у которого секретарствовал Папиано, выдал свою единственную дочь за дону Антонио Пантогаду, атташе испанского посольства при святом престоле. Вскоре после свадьбы Пантогада вместе с другими представителями римской аристократии был однажды ночью задержан в игорном притоне и отозван в Мадрид. Там он продолжал в том же Духе, а может быть, натворил и кое-что похуже, почему и был вынужден отказаться от дипломатической карьеры. С той поры маркиз д'Аулетта уже не знал покоя: ему приходилось без конца посылать деньги для оплаты карточных долгов неисправимого зятя. Четыре года тому назад жена Пантогады скончалась, оставив шестнадцатилетнюю дочь, которую маркиз решил взять к себе, слишком

хорошо зная, в каких руках она окажется в противном случае. Пантогада сперва не соглашался отпустить дочь, но затем нужда в деньгах вынудила его уступить. Зато он без конца угрожал тестю, 'то отберет у него свою дочь, и именно в этот день явился в Рим с намерением вытянуть у бедного маркиза еще денег, отлично зная, что тот никогда не отдаст ему любимую внучку.

Папиано самыми пламенными словами бичевал гнусного вымогателя Пантогаду. И его благородный гнев был вполне искренен. Пока он разглагольствовал, я невольно восхищался необыкновенной изворотливостью его совести, которая позволяла ему самым неподдельным образом возмущаться гнусностью других людей и преспокойно делать то же или почти то же самое в ущерб такому доброму человеку, как его тесть Палеари.

Однако на этот раз маркиз Джильо проявил твердость. Поэтому Пантогада на некоторое время задержался в Риме и неизбежно должен был появиться у Теренцио Папиано; они, наверно, превосходно понимали друг друга. Таким образом, встреча между мной и этим испанцем в любой момент могла оказаться неотвратимой. Что же было делать?

Не имея возможности посоветоваться с кем бы то ни было, я снова посоветовался с зеркалом. На глади его, словно из туманного водоема, всплыл передо мной образ покойного Маттиа Паскаля с его косым глазом — единственным, что у меня от него осталось. И покойник сказал мне так:

— В какое некрасивое дело впутался ты, Адриано Меис! Признайся, ты ведь боишься Папиано, а вину хочешь свалить на меня, опять на меня, только потому, что в Ницце я повздорил с этим испанцем. А ведь ты знаешь, что я был прав. Ты воображаешь, что сейчас тебе нужно одно — смыть с лица единственное напоминание обо мне? Что ж, последуй совету синьорины Капорале и обратись к доктору Амброзини, чтобы он водворил твой глаз на место. А потом поживешь — увидишь!

13. Фонарик

Сорок дней в темноте.

Операция удалась, отлично удалась. Только, наверно, один глаз у меня будет чуточку больше другого. Терпение! А пока придется провести сорок дней в темноте, у себя в комнате.

Я смог на собственном опыте убедиться, что, когда человек страдает, у него возникает совсем особое представление о добре и зле. Другие должны делать ему добро, он на это претендует, словно страдания дают ему право требовать возмещения; если же он причиняет зло другим, то ему надо прощать, словно из-за своих страданий он приобрел право и на это. И он обвиняет других, если они, нарушая свой долг, не делают ему добра, и легко оправдывает себя за зло, которое по праву больного причиняет другим.

После нескольких дней заключения во мраке слепоты потребность хоть в каком-то утешении довела меня до полной ожесточенности. Я отлично понимал,

что нахожусь в чужом доме и потому должен быть только благодарен своим хозяевам за внимание и заботу, которые они ко мне проявляют. Но их заботы уже не могли меня удовлетворить. Они даже раздражали меня, словно все делалось мне назло. Да, именно так. Я ведь догадывался, от кого они исходят. Ими Адриана доказывала мне, что мысленно она почти весь день со мной, в моей комнате.

Благодарю покорно за такое утешение! Какой в нем был для меня смысл, если я-то мыслью неотступно и смятенно следовал за ней по всему дому? Только она могла ободрить меня и должна была это делать – ведь она больше других способна понять, до какой степени терзает меня скука и грызет желание видеть ее или хотя бы ощущать ее близость.

К душевному смятению и тоске прибавилась еще ярость, в которую привело меня известие о том, что Пантогада внезапно уехал из Рима. Разве стал бы я на целых сорок дней прятаться в полный мрак, если бы знал, что он так скоро уедет?

Чтобы утешить меня, Ансельмо Палеари решил доказать мне обстоятельными рассуждениями, что мрак этот – воображаемый.

– Воображаемый? Слепота – воображение? – крикнул я.

– Минуточку терпения. Я сейчас все объясню...

И он стал развивать (может быть, с целью подготовить меня к спиритическим опытам, которые на этот раз для моего развлечения поставлены были бы в моей комнате) целую весьма искусственную философскую концепцию, которой можно было бы дать наименование «фонарикософии».

Время от времени добряк останавливался и спрашивал:

– Вы не спите, синьор Меис?

Меня так и подмывало ответить:

– Благодарю вас, синьор Ансельмо, сплю.

Но так как намерение у него было, в сущности, самое благое – не оставлять меня в одиночестве, я отвечал ему, что крайне заинтересован и прошу продолжать.

И синьор Ансельмо продолжал, доказывая мне, что, на нашу беду, мы не устроены так, как дерево, которое живет, не осознавая себя, и которому вовсе не кажется, будто земля, солнце, воздух, дождь, ветер – это вещи либо дружественные, либо враждебные ему, чем на самом деле они отнюдь не являются. Нам же, людям, от природы дано печальное преимущество: мы сознаем, что живем. И это порождает в нас иллюзию: мы принимаем за некую находящуюся вне нас реальность свое внутреннее чувство жизни, изменчивое и разнообразное в зависимости от времени, обстоятельств и случая.

Для синьора Ансельмо это чувство жизни уподоблялось некоему фонарику, находящемуся внутри каждого из нас. Фонарик этот показывает нам, что является для нас добром, а что злом. Он отбрасывает вокруг нас более или менее широкое кольцо света, а за пределами этого кольца царит непроглядная тьма, внушающая нам страх. Она не существовала бы, не будь в нас зажжен фонарик,

но, пока он в нас горит, нам приходится считать ее реальностью. В конце концов фонарик погаснет от одного дуновения, наш суетный воображаемый день кончится, и нас примет вечная ночь. А может быть, мы просто окажемся во власти некоего существа, которое только развеяло суетные образы, порожденные нашим разумом?

– Вы не спите, синьор Меис?

– Продолжайте, продолжайте, синьор Ансельмо, я не сплю. Мне кажется, я вижу его – этот ваш фонарик.

– Вот и хорошо... Но поскольку глаз ваш еще не зажил, мы не станем углубляться в философию, не так ли? Лучше попытаемся проследить за нашими фонариками, этими блуждающими огоньками во мраке людского бытия. Прежде всего я сказал бы, что они бывают разных цветов – как по-вашему? – в зависимости от стекол, которые поставляет нам наша иллюзия, великая продавщица цветного стекла. Мне, например, кажется, синьор Меис, что в те или иные исторические эпохи, равно как в те или иные периоды человеческой жизни, можно заметить преобладание того или иного цвета. Не так ли? Ведь в каждую эпоху у людей обычно наблюдается известная согласованность чувств, которая дает и свет, и окраску фонарикам, представляющим собой абстрактные понятия: истину, добродетель, красоту, честь и так далее... Не находите ли вы, что, скажем, фонарик языческой добродетели – красный? А фонарик добродетели христианской лилового, мрачноватого цвета? Свет всякой общей идеи питается коллективным чувством. Если чувство это перестает быть единым, фонарь отвлеченного понятия по-прежнему стоит на месте, но пламя идеи в нем начинает потрескивать, колебаться, гудеть, как это обычно и бывает во все так называемые переходные периоды. В истории, кроме того, нередки и бурные ветры, которые сразу задувают все фонари. Какая прелесть! Внезапный мрак – и в нем неопишуемая сумятица отдельных фонариков: один устремляется сюда, другой туда, тот возвращается назад, этот описывает круги, и ни один не находит своей дороги. Они сталкиваются, объединяются на мгновение группами по десять, по двадцать огоньков, но не могут согласовать свои движения и опять разбегаются в полном смятении, тревоге и ярости, словно муравьи, которые никак не могут найти вход в муравейник, засыпанный жестоким ребенком. Мне кажется, синьор Адриано, что сейчас мы переживаем именно один из таких моментов. Мрак и смятение! Все большие светильники погасли. Куда нам податься? Может быть, назад, к еще уцелевшим фонарям, к тем, которые горят на могилах великих покойников? Мне вспоминаются замечательные стихи Никколо Томмазо:

Мой маленький светильник
И ярко не пылает,
И густо не дымит,
Не жжет он, не трещит.
Но к небу поднимает

Спокойный пламень свой.

Умру – он на могиле
Горит неугасимо;
Но от него все те,
Кто ночью в темноте
Бредут на ощупь мимо,
Зажгут огонь живой.

Но что делать, синьор Меис, когда в нашей лампе нет того священного елея, которым питается светильник поэта? Многие до сих пор еще ходят в церковь, чтобы заправлять маслом свои фонарики. Это по большей части несчастные старики, несчастные женщины, которых обманула жизнь и которые прокладывают себе путь во мраке нашего бытия, охваченные чувством, горящим словно лампада у образа. Они дрожат над этим огоньком, заботливо защищают его от ледяного дыхания губительных разочарований, только бы он горел до конца, до рокового часа, который уже близок. И вот они торопятся, не отрывая взгляда от пламени и беспрестанно повторяя про себя: «Бог меня видит!», чтобы только не слышать громких призывов окружающей их жизни, звучащих для них богохульством. «Бог меня видит...» – так говорят они, потому что сами видят его, и не только внутри себя, но во всем, даже в своей нищете, в своих муках, за которые они в конце пути получают воздаяние. Тусклый, но ровный свет этих светильничков у многих из нас вызывает тревожную зависть. Напротив, другие, считающие, что они, словно Юпитеры-громовержцы, вооружены молнией, которую приручила наука, и торжественно выставляющие напоказ мощные электрические лампы, с презрением смотрят на эти церковные лампы. Но вот я спрашиваю себя, синьор Меис: а что, если весь этот мрак, вся эта великая тайна, которую с древних времен на все лады тщетно обсуждали философы, не отрицая, впрочем, ее, и которой перестала заниматься современная наука, – что, если она, в сущности, просто обман воображения, одно из заблуждений нашего разума, плоская, бесцветная фантазия? А что, если мы в конце концов убедим себя в том, что этой тайны вне нас просто нет, что она неизбежно существует лишь внутри нас именно из-за этого нашего пресловутого преимущества – сознания, что мы живем, то есть наличия у нас фонарика, о котором я говорил? Словом, что, если смерти, вызывающей у нас такой страх, нет; что, если она вовсе не прекращение жизни, а только порыв ветра, гасящий этот наш фонарик – злосчастное сознание жизни, сознание мучительное, боязливое, ибо оно ограничено, замкнуто со всех сторон кольцом мнимого мрака, сгущающегося за пределами того ничтожного пространства, которое озаряем мы, жалкие блуждающие светлячки? Ведь наша жизнь заключена в этом тесном пространстве, словно в тюрьме, она как бы отрешена на некоторое время от мировой жизни, вечной жизни, с которой мы, видимо, должны когда-нибудь слиться, чтобы пребывать в ней постоянно, но уже без чувства отрешенности и

страха. Но пределы этого пространства – воображаемые, они определяются нашим слабым светом, нашей личностью, в действительности же в настоящей природе таких пределов нет. Мы – не знаю, согласитесь вы со мной или нет, – всегда жили и будем жить вместе со всем миром. И сейчас, в данном нашем облике, мы участвуем во всех движениях мира, но не знаем и не замечаем этого, потому что, к сожалению, наш проклятый унылый светильничек дает нам возможность увидеть ровно столько, сколько он в состоянии озарить. И если бы он еще показывал это немного в настоящем виде! Ничего подобного: он все окрашивает по-своему и чего только не являет нашим глазам! Черт возьми, тут и впрямь пожалеешь, что в другой форме бытия у нас не будет рта и мы не сможем хорошенько над этим посмеяться! Да, синьор Меис, посмеяться над всеми суетными, глупыми огорчениями, которыми наградит нас фонарик, над мраком, окружавшим нас, над страхом, мучившим нас, над нелепыми призраками, возникавшими впереди и позади нас по его вине!

Но почему же синьор Ансельмо Палеари, который с полным основанием бранил этот фонарик, зажженный в каждом из нас, так хотел зажечь в моей комнате другой фонарик, с красными стеклами, для своих спиритических опытов? Не достаточно ли одного, нашего собственного?

Я задал ему этот вопрос.

– В качестве корректива! – ответил он. – Один фонарик в противовес другому. К тому же в определенный момент второй, материальный фонарик гаснет.

– И, по-вашему, это самый верный способ что-нибудь увидеть? – нерешительно заметил я.

– Но, простите, – живо возразил синьор Ансельмо, – так называемый свет служит только для того, чтобы мы правильно видели вещи здесь, в нашей так называемой жизни. Видеть же за ее пределами свет, поверьте мне, совершенно не помогает, скорее препятствует. Все это глупейшие претензии кое-каких ученых с жалкой душонкой и еще более жалким умишком, которые ради своего удобства хотят убедить публику, что подобные опыты – оскорбление науки и природы. Ничего подобного! Мы стремимся открыть в природе законы, иные силы, иную жизнь, да, черт побери, в той же природе, только за пределами нашего ничтожного обычного опыта. Мы хотим преодолеть узость восприятий, которые получаем обычно от своих ограниченных чувств. Но, простите, разве сами эти ученые не создают определенной обстановки и условий для того, чтобы их опыты удались? Достаточно вспомнить камеру-обскуру в фотографии! Чего же еще? И, кроме того, существует столько способов проверить себя!

Однако, как я убедился в последующие вечера, синьор Ансельмо никаких способов не применял. Но ведь речь шла об опытах в домашнем кругу! Мог ли он заподозрить синьорину Капорале и Папиано в том, что они морочат его? С какой стати? Зачем? Он и без этих опытов неколебимо верил в спиритизм. Предположение же, что его могут морочить с другими целями, и в голову бы не пришло такому добрейшему человеку, как он. А что касается ребячески жалкой

ничтожности результатов, то сама теософия находила для нее убедительнейшее объяснение. Высшие существа ментального или еще более высокого плана не опускаются до общения с нами через медиума; таким образом, приходится довольствоваться грубоватыми опытами с вызыванием душ покойников низшего разряда, астрального плана, наиболее близкого к нам. Вот так.

Что можно было ему возразить?²⁴

Я знал, что Адриана неизменно отказывалась участвовать в опытах. С тех пор как я заперся в полной темноте у себя в комнате, она заходила ко мне очень редко, всегда не одна и лишь для того, чтобы осведомиться о моем самочувствии. Каждый раз она задавала этот вопрос, казалось, просто из вежливости, да так оно было и на самом деле: она же отлично знала, как я себя чувствую. В ее голосе мне слышались даже иронические нотки – она ведь понятия не имела об истинной причине моего внезапного решения подвергнуться операции и поэтому, должно быть, считала, что я страдаю из тщеславия, в надежде стать более красивым или по крайней мере менее неприглядным, когда глаз мой будет приведен в порядок согласно совету синьорины Капорале.

– Я чувствую себя превосходно, синьорина! – отвечал я. – Вот только не вижу ничего.

– Ну, скоро будете видеть, и даже лучше, чем прежде, – вмешивался Папиано.

Под покровом темноты я поднимал кулак, словно собираясь треснуть болтуна по физиономии. Он, несомненно, говорил это нарочно, чтобы я потерял последние остатки терпения. Он же не мог не замечать отвращения, которое я к нему испытывал: я изо всех сил выказывал это чувство – зевал, пыхтел. И тем не менее он был тут как тут: почти каждый вечер он заходил ко мне в комнату (именно – заходил!) и сидел часами, ни на минуту не умолкая. В непроглядной тьме у меня от его голоса чуть ли не спирало дыхание, я извивался на стуле, словно сиденье было утыкано гвоздями, сжимал кулаки и порою готов был задушить его. Догадывался ли он об этом? Ощущал ли мое ожесточение? Почему-то именно в такие моменты голос его становился особенно мягким, почти ласковым.

У человека всегда есть потребность обвинять кого-нибудь в своих бедах и невзгодах. В сущности, Папиано делал все, чтобы выжить меня из дома. И если бы в те дни я прислушался к голосу разума, я должен был бы от всего сердца благодарить своего недруга. Но как мог я внять этому благословенному голосу, когда он исходил из уст такого человека, как Папиано, которого я считал неизменно, явно, нагло неправым? Разве он не стремился выжить меня из дома, чтобы без помехи обманывать Палеари и погубить Адриану? Только это я и слышал тогда в его речах. Как случилось, что голос разума избрал уста Папиано,

²⁴ «Вера, – пишет маэстро Альберто Фьорентино, – есть субстанция вещей желаемых, подтверждение и доказательство вещей не явленных». (*Примечание дона Элиджо Пеллегринотто.*)

для того чтобы я ему внял? Но, может быть, это я сам вкладывал его в уста Папиано, чтобы найти оправдание себе и причины не доверять ему, так как я уже чувствовал, что запутался в сетях жизни, и бесился именно от этого, а не от окружавшего меня мрака и раздражения, которое вызывал во мне Папиано.

О чем он мне толковал? Каждый вечер об одном и том же – о Пепите Пантогада.

Хотя жил я весьма скромно, он вбил себе в голову, что я богат. И вот, чтобы отвлечь мое внимание от Адрианы, он, вероятно, взлелеял мысль влюбить меня во внуку маркиза Джильо д'Аулетты и описывал мне ее как девушку добродетельную и гордую, с умом, добрым сердцем и решительными манерами, откровенную и пылкую. И, кроме того, – красавица, ух какая красавица! Брюнетка, изящная и вместе с тем видная; вся – огонь, глаза искрятся, рот создан для поцелуев. О приданом и говорить нечего: оно будет сказочное – не более не менее, как все состояние маркиза д'Аулетты. Маркиз – в этом можно не сомневаться – счастлив был бы поскорее выдать ее замуж – не только для того, чтобы избавиться от папаши Пантогады, который не дает ему житья, но и потому, что Деду и внучке не так уж сладко живется вместе. У маркиза не хватает характера, он замкнут в своем уже мертвом мире, Пепита же вся трепещет жаждой жизни.

Папиано было невдомек, что чем больше он мне расхваливал Пепиту, тем сильнее росла во мне заочная антипатия к ней. Мне предстоит с ней познакомиться, уверял он. В один из ближайших вечеров он уговорит ее прийти на спиритический сеанс. Познакомлюсь я и с маркизом Джильо д'Аулеттой, который сам этого жаждет – столько хорошего слышал он обо мне от него, Папиано. Но маркиз не выходит из дому и никогда не примет участия в спиритических сеансах из-за своих религиозных убеждений.

– Как так? – спросил я. – Сам не пойдет, а внучке разрешит?

– Он же отдает себе отчет, кому вверяет ее! – гордо воскликнул Папиано.

Дальнейшее меня не интересовало. Но почему и Адриана отказывается приходить на эти сеансы? Тоже из-за религиозных убеждений... Но если внука маркиза Джильо будет принимать в них участие с разрешения дедушки-клерикала, почему бы не прийти и Адриане? Вооружившись этим доводом, я попытался убедить ее вечером, накануне первого сеанса.

Она зашла ко мне в комнату вместе с отцом, который услышал мое предложение.

– Вечно то же самое, синьор Меис! – вздохнул он. – Перед лицом этой проблемы религия настораживает свои ослиные уши и пугается, как и наука. Между тем я уже говорил и объяснял дочери, что наши опыты отнюдь не противоречат ни той, ни другой. Что касается религии, то они ведь как раз и доказывают те истины, которые она утверждает.

– А может быть, я просто боюсь? – возразила Адриана.

– Чего? – не сдавался отец. – Доказательств?

– Или темноты? – добавил я. – С вами, синьорина, мы были бы в полном

составе. Неужели вы нам измените?

– Но я... – смущенно ответила Адриана, – я в это не верю, не могу верить... Вот и все.

Больше она не добавила ни слова. По ее тону и растерянности я сразу понял, что не одна только религия препятствовала Адриане бывать на этих опытах. Страх, на который она сослалась в свое оправдание, мог объясняться совсем другими причинами, о которых синьор Ансельмо и не подозревал. Вероятнее всего, ей было мучительно присутствовать при том, как ее отца, словно ребенка, морочат Папиано и синьорина Капорале.

У меня не хватило духу настаивать.

Но она, будто прочитав в моем сердце огорчение, которое причинял мне ее отказ, нерешительно пробормотала в темноте: «Впрочем...», и я тотчас же поймал ее на слове:

– Ах, молодец! Значит, вы будете с нами?

– Только на завтрашний вечер, – улыбнулась она.

На следующий день, попозже, Папиано явился приготовить комнату: внес грубовато сколоченный прямоугольный столик елового дерева, неполированный, без ящиков, освободил один угол и повесил там на протянутой веревке простыню. Потом притащил гитару, собачий ошейник с большим количеством бубенчиков и еще другие предметы. Все эти приготовления совершались при свете пресловутого фонарика с красными стеклами. Хозяйничая в комнате, он, разумеется, ни на минуту не умолкал.

– Простыня служит... да, служит... как бы это выразиться... ну, скажем, аккумулятором таинственной психической силы. Вы увидите, синьор Меис, как она будет дрожать, вздвигаться, словно парус, и порою озаряться странным, я бы сказал, звездным светом. Да, да, вот именно! Нам не удалось еще добиться материализации, но свет мы уже получили. Вы сами в этом убедитесь, если нынче вечером синьорина Сильвия будет в подобающем состоянии. Она общается с духом одного своего старого товарища по консерватории, умершего – храни нас господь! – от тифа в возрасте восемнадцати лет. Родом он был... право, не знаю... да, кажется, из Базеля, но его семья давно обосновалась в Риме. Одареннейший был музыкант, но жестокая смерть скосила его раньше, чем он дал все, что мог бы дать. Так по крайней мере утверждает синьорина Капорале. Она общалась с духом Макса еще до того, как выяснилось, что у нее дар медиума. Так его звали – Макс... Погодите... Макс Олиц, если не ошибаюсь. Да, да, уверяю вас! Когда этот дух овладевал ею, она импровизировала на рояле, пока не падала в обморок. Однажды вечером на улице собрался народ и ей стали аплодировать...

– И синьорина Капорале даже испугалась, – невозмутимо вставил я.

– Ах, так вы знаете?... – прервал свой рассказ Папиано.

– Она сама мне говорила. Значит, люди аплодировали музыке Макса, которую исполняла синьорина Капорале?

– Да, да! Жаль, что у нас в доме нет рояля. Приходится довольствоваться

отрывками, двумя-тремя аккордами на гитаре. Из-за этого Макс иногда приходит в такую ярость – да, да! – что струны на гитаре рвутся... Ну, да сегодня сами услышите. Кажется, сейчас все в порядке.

– А скажите-ка мне, синьор Теренцио, – я просто из любопытства решил спросить вас, пока вы не ушли, – вы-то сами в это верите? Действительно верите?

– Н-да, – отозвался он сразу, словно предвидел заданный ему вопрос. – По правде говоря, для меня тут не все ясно.

– Еще бы!

– Но вовсе не потому, что опыты совершаются в темноте! Все происходящие при этом явления вполне реальны, тут ничего не скажешь, они просто не подлежат сомнению. Не можем же мы сомневаться в самих себе...

– Почему нет? Как раз вполне можем!

– Как так? Не понимаю!

– Мы же так легко обманываемся! Особенно когда нам хочется во что-то верить...

– Но мне-то совсем не хочется! – запротестовал Папиано. – Мой тесть, весьма углубившийся в изучение этих вещей, верит в них. У меня же, должен вам сказать, помимо всего прочего, и времени-то нет в них вдуматься... даже если бы я и хотел. У меня столько дела с проклятыми Бурбонами моего маркиза – они меня просто заездили. Здесь я иногда по вечерам отдыхаю. Что же касается моих воззрений на это, то я считаю, что мы, пока милостью божьей еще живы, ничего не можем знать о смерти, а потому не напрасное ли дело и думать о ней? Лучше уж постараемся как можно удачнее прожить свою жизнь, прости нас господи! Вот как я на этот счет думаю, синьор Меис. Итак, до вечера? Сейчас я побегу на улицу Понтефичи за синьориной Пантогада.

Через полчаса он возвратился крайне недовольный: вместе с синьориной и ее гувернанткой явился некий испанский художник, которого Папиано сквозь зубы представил мне как друга семьи Джильо. Звался он Мануэль Бернальдес и бегло говорил по-итальянски, однако не настолько хорошо, чтобы произносить конечное «с» моей фамилии. Каждый раз, когда он произносил его, казалось, будто оно колет ему язык.

Вошли дамы: Пепита, гувернантка, синьорина Капорале, Адриана.

– И ты здесь? Вот это ново, – не слишком вежливо приветствовал Папиано свою свояченицу.

Этого сюрприза он не ожидал. Я же, со своей стороны, по тому, как приняли Бернальдеса, понял, что маркизу Джильо не должно было стать известным его присутствие на сеансе и что за этим скрывается какая-то интрижка между ним и Пепитой.

Однако великий Теренцио не отказался от своего плана. Располагая вокруг столика медиумическую цепочку, он сел рядом с Адрианой, а возле меня посадил синьорину Пантогада.

Меня это не устраивало, да и Пепиту тоже. Она запротестовала, заговорив

при этом совсем как ее отец:

– Помилуйте, *así no puede!*²⁵ Я хочу *estar*²⁶ между *el señor Paleari*²⁷ и моей *gobernanta*,²⁸ дорогой *señor Terencio*!

В красноватом полумраке различались лишь контуры человеческих фигур и предметов. Поэтому я не мог убедиться, насколько верен портрет Пепиты, который мне нарисовал Папиано. Но очертания ее фигуры, голос и этот внезапный бунт хорошо соответствовали представлению, которое составилось у меня о ней на основании его слов.

Разумеется, столь пренебрежительный отказ от места рядом со мной, которое предназначил ей Папиано, был обиден для меня, но я не только не оскорбился, а даже обрадовался.

– Совершенно справедливо! – воскликнул Папиано. – Тогда можно сделать так: пусть рядом с синьором Меисом сядет синьора Кандида, а за нею сядете вы, синьорина. Мой тесть остается на своем месте, и мы трое тоже, где сидим. Так будет хорошо?

Нет, так тоже было нехорошо ни для меня, ни для синьорины Капорале, ни для Адрианы, ни – как выяснилось немного спустя – для Пепиты, которая гораздо лучше устроилась в новой цепочке, составленной по указанию гениального духа Макса.

Пока что рядом со мной оказалось некое привидение женского пола с каким-то странным холмиком на голове. Что это была за чертовщина? Шапочка? Чепец? Парик? Из-под этой тяжелой груды чего-то по временам исходили вздохи, заканчивавшиеся легким стоном. Представить меня синьоре Кандиде никто и не подумал. Между тем, составляя цепочку, мы должны были держать друг друга за руки, и она вздыхала. По ее мнению, это было неприлично... Боже, не рука, а ледышка. Другой рукой я держал левую руку синьорины Капорале. Она сидела спиной к простыне, развешанной в углу. Папиано держал ее за правую руку. Слева от Адрианы сидел художник; на другом конце стола, как раз напротив синьорины Капорале, находился синьор Ансельмо.

Папиано сказал:

– Прежде всего следовало бы объяснить синьору Меису и синьорине Пантогада способ общения. Как он называется?

– Типтологический язык, – подсказал синьор Ансельмо.

– Мне, пожалуйста, тоже, – вмешалась синьора Кандида, ерзая на своем стуле.

– Совершенно справедливо! Разумеется, синьоре Кандиде тоже.

– Так вот, – начал объяснять синьор Ансельмо. – Два удара означают «да».

25 Так не годится (*исп.*).

26 Находиться (*исп.*).

27 Сеньор Палеари (*исп.*).

28 Гувернантка (*исп.*) .

– Удары? – прервала его Пепита. – Какие удары?

– Удары, – ответил Папиано, – это значит постукивание по столику, по стульям или по чему другому, а иногда и общение посредством прикосновений.

– Ах, нет, нет! – тотчас же вскричала Пепита, вскакивая с места. – Я никаких прикосновений не люблю. Чьи это прикосновения?

– Речь идет о духе Макса, синьорина, – объяснил Папиано. – Я же вам показывал, как это бывает, когда мы шли сюда. Это совершенно безвредно, не беспокойтесь.

– Типтология, – добавила со снисходительным видом сведущей в таких делах женщины синьора Кандида.

– Так вот, – продолжал синьор Ансельмо, – два удара – «да», три удара – «нет», четыре – «темнота», пять – «говорите», шесть – «свет». Пока достаточно. А теперь, господа, нам надо сосредоточиться.

Воцарилось молчание. Мы сосредоточились.

14. Подвиги Макса

Страх? Нет, ни тени страха. Но мною овладело живейшее любопытство и, кроме того, некоторое опасение – как бы Папиано не провалился со своей затеей. Казалось, это должно было бы меня обрадовать. А между тем – ничего подобного. Но кто не испытывал мучительного или, вернее, холодно-унизительного ощущения, присутствуя на спектакле, скверно разыгранном плохими актерами?

«Он сидит между двумя женщинами, – думал я. – Либо он уж очень искусен, либо упорное желание сидеть рядом с Адрианой мешает ему сообразить, что он поместился не там, где следовало б, что здесь он не сможет обмануть ни Бернальдеса с Пепитой, ни меня с Адрианой, и мы сразу же, не строя никаких иллюзий, убедимся в его мошенничестве. Прежде всего убедится в этом Адриана, сидящая рядом с ним. Но она уже подозревает обман и подготовлена к нему. Так как ей не удалось поместиться рядом со мной, она, вероятно, уже думает: а зачем ей присутствовать при комедии, с ее точки зрения не просто глупой, но недостойной и кощунственной. Тот же вопрос, несомненно, задают себе Бернальдес и Пепита. Как же Папиано не дает себе в этом отчета теперь, когда ему не удалась его уловка – посадить меня рядом с Пантогадой? Выходит, он до такой степени уверен в своей ловкости? Что ж, посмотрим».

Размышляя таким образом, я упустил из виду синьорину Капорале. Она же внезапно заговорила, словно в легкой дремоте.

– Цепочка, – произнесла она, – цепочка сейчас изменилась...

– Макс уже тут? – торопливо спросил добряк синьор Ансельмо.

Синьорина Капорале ответила не сразу.

– Да, – объявила наконец она, но затем озабоченно и даже тревожно добавила: – Но сегодня вечером нас ведь больше...

– Правда! – прервал ее Папиано. – Но мне кажется, мы отлично

разместились.

– Тише! – строго заметил синьор Палеари. – Послушаем, что скажет Макс.

– Он считает, – продолжала синьорина Капорале, – что цепочка недостаточно ровная. Вот тут, с этой стороны (она приподняла мою руку), рядом с мужчиной две женщины. Синьору Ансельмо хорошо бы поменяться местами с синьориной Пантогада.

– Сейчас! – воскликнул синьор Ансельмо, вскакивая с места. – Пожалуйста, синьорина, сядьте на мое место!

На этот раз Пепита не стала возражать. Она оказалась рядом с художником.

– Затем, – продолжала синьорина Капорале, – синьора Кандида...

Тут ее прервал Папиано:

– На место Адрианы, не так ли? Я уже об этом подумал. Что ж, отлично.

Как только Адриана уселась рядом со мною, я изо всех сил, до боли сжал ее руку. В то же время синьорина Капорале стиснула мне другую руку, словно спрашивая: «Ну как, довольны?» – «Доволен, доволен», – ответил я, в свою очередь пожав ей руку так, чтобы это означало: «А теперь можете делать все, решительно все, что вам угодно!»

– Тише! – раздался в этот миг строгий голос синьора Ансельмо.

А кто подал голос? Кто? Столик! Четыре удара! «Темнота!»

Клянусь, я ничего не слышал.

Однако, едва только фонарик потух, произошло нечто, сразу же опрокинувшее все мои предположения. Синьорина Капорале издала резкий крик, от которого все немедленно повскакали со стульев:

– Света! Света! Что же случилось?

А то, что синьорина Капорале получила сильнейший удар кулаком по лицу: десны у нее кровоточили.

Пепита и синьора Кандида стояли, дрожа от страха. Папиано тоже встал, чтобы зажечь фонарик. Адриана тотчас же вырвала свою руку из моей. На лице Бернальдеса, красноватом от отсвета зажженной спички, которую он держал в пальцах, блуждала удивленная и в то же время недоверчивая улыбка. А совершенно растерявшийся синьор Ансельмо только повторял:

– Удар кулаком? Но как же могло это случиться?

Я тоже в полном смущении задавал себе этот вопрос. Удар кулаком? Выходит, что последний обмен местами не был согласован между синьориной Капорале и Папиано. Удар кулаком? Значит, синьорина Капорале взбунтовалась против Папиано. Что же теперь будет? Теперь синьорина Капорале, отодвинув от себя стул и прикладывая ко рту носовой платок, решительно заявила, что с нее хватит. А Пепита Пантогада визжала:

– Увольте, синьоры, увольте! *Aquí se daío cachetes.*²⁹

– Да нет же, нет! – вскричал синьор Палеари. – Послушайте, господа, это же совершенно новое и весьма странное явление! Надо выяснить, в чем дело.

29 Да здесь дерутся! (исп.)

– У Макса? – спросил я.

– Разумеется, у Макса. Может быть, вы, дорогая Сильвия, неправильно поняли то, что он вам подсказывал относительно упорядочения нашей цепочки?

– Весьма вероятно! Весьма вероятно! – расхохотался синьор Бернальдес.

– А что вы-то на этот счет думаете, синьор Меис? – спросил меня синьор Палеари, которому явно не нравился Бернальдес.

– Да, действительно похоже, что произошло нечто подобное.

Но синьорина Капорале решительно замотала головой.

– Тогда в чем же дело? – продолжал синьор Ансельмо. – Чем же объяснить, что Макс вдруг разъярился? Когда это бывало? А ты что скажешь, Теренцио?

Теренцио под покровом полумрака молчал. Он только пожал плечами.

– Ну что ж, – обратился я к синьорине Капорале. – Сделаем, как хочет синьор Ансельмо, синьорина? Потребуем у Макса объяснений. А если этот дух опять окажется... не в духе, прекратим сеанс. Правильно я говорю, синьор Папиано?

– Совершенно правильно! – ответил он. – Конечно, попросим его объясниться. Я так считаю.

– А вот я не считаю! – отпарировала синьорина Капорале, поворачиваясь к нему.

– Ты это мне? – спросил Папиано. – Но если ты не желаешь продолжать...

– Да, лучше бы прекратить, – робко вставила Адриана.

Но тут заговорил синьор Ансельмо:

– Вот трусишка! Ну что за ребячество, черт побери! Простите, Сильвия, это относится и к вам! Вы ведь хорошо знаете этого духа, он был с вами связан, и сегодня впервые случилось, что... Прекращать сеанс было бы просто грешно: как ни неприятен сам по себе этот инцидент, надо признать, что сейчас начались явления исключительной силы.

– Даже чрезмерной! – вскричал Бернальдес, заражая всех других своим саркастическим смехом. – Я, – добавил он, – не хотел бы, чтобы мне поставили фонарь под глазом...

– И я тоже не хочу! – поддержала его Пепита.

– По местам! – решительным тоном скомандовал Папиано. – Последуем совету синьора Меиса. Попытаемся добиться какого-нибудь объяснения. А если все эти феномены опять начнут проявляться слишком резко, прекратим сеанс. По местам!

И он погасил фонарик.

В темноте я нащупал холодные дрожащие пальчики Адрианы. Чтобы не испугать ее, я не стал сразу же стискивать руку девушки, а постепенно, понемногу пожимал ее, чтобы согреть и чтобы вместе с теплом Адриана прониклась уверенностью, что теперь все пойдет благополучно. И в самом деле, можно было, по-видимому, не сомневаться, что Папиано, раскаиваясь в приступе ярости, которому он поддался, изменил свои намерения. Во всяком случае, у нас будет передышка. Потом мишенью Макса в темноте, возможно, окажемся мы с

Адрианой. «Ладно, – подумал я про себя, – если игра окажется слишком докучной, мы ее прекратим. Я не допущу, чтобы Адриану мучили».

Между тем синьор Ансельмо принялся разговаривать с Максом так, словно это был кто-то, присутствующий тут вполне реально:

– Ты здесь?

Два легких удара по столику. Он был тут!

– Как же это получилось, Макс, – с ласковым упреком спросил синьор Палеари, – что ты, такой добрый и дружелюбный, так плохо обошелся с синьориной Сильвией? Что это значит?

На этот раз столик сперва закачался из стороны в сторону, а затем в самом центре его раздались три резких, громких стука. Три удара. Значит, нет. Он не желал объясниться.

– Мы не настаиваем! – продолжал синьор Ансельмо. – Ты, может быть, еще немного взбудоражен, не так ли, Макс? Понятно, я ведь знаю тебя, знаю... Но не скажешь ли по крайней мере, доволен ли ты теперешним расположением нашей цепочки?

Не успел синьор Палеари сформулировать этот вопрос, как я почувствовал, что меня кто-то быстро и легко дважды ударил по лбу – кончиками пальцев, как мне показалось!

– Да! – внезапно воскликнул я и сообщил всем об ответе духа, при этом тихонько пожав ручку Адрианы.

Должен сознаться, что это неожиданное «прикосновение» сразу произвело на меня какое-то странное впечатление. Я был уверен, что, вовремя подняв свою руку, я ухватил бы за руку Папиано, и все же... Легкость, нежность и вместе с тем четкость прикосновения были, во всяком случае, удивительны. К тому же, повторяю, я его не ожидал. Но почему Папиано избрал именно меня для проявления своей уступчивости? Хотел он этим успокоить меня или же, напротив, бросал мне вызов: «Сейчас узнаешь, доволен ли я»?

– Bravo, Макс! – воскликнул синьор Ансельмо.

Я же воскликнул про себя: «Именно, что bravo! Ух и надавал бы я тебе подзатыльников!»

– Так вот, если тебе угодно, – продолжал хозяин дома, – дай какой-нибудь знак своего расположения к нам.

Последовало пять ударов по столику, что означало: «Разговаривайте!»

– Что это значит? – испуганно спросила синьора Кандида.

– Что надо разговаривать, – спокойно объяснил Папиано.

– С кем? – осведомилась Пепита.

– Да с кем угодно, синьорина. Например, со своим соседом.

– Громко?

– Да, – сказал синьор Ансельмо. – Это означает, синьор Меис, что Макс тем временем подготовится к тому, чтобы как-то особенно явственно проявить себя. Может быть, вспыхнет свет... кто знает! Так будем же разговаривать...

Но что говорить? Я-то уже некоторое время разговаривал с ручкой Адрианы

и – увы! – ни о чем больше не думал. Я вел с этой маленькой ручкой долгий разговор, напряженный, настойчивый и вместе с тем нежный; она же внимала ему трепетно и самозабвенно. Я уже заставил ее разжать пальцы, переплести их с моими. Мною овладело какое-то опьянение, я пылал, я наслаждался даже тем судорожным усилием, которого стоило мне старание подавить свой неистовый пыл и действовать лишь с той ласковой нежностью, какой требовала чистота ее тонкой, застенчивой души.

И вот, пока руки наши вели эту оживленную беседу, я почувствовал, как что-то настойчиво трется о перекладину между двумя задними ножками моего стула. Папиано не мог дотянуться туда ногами, а если бы даже и мог, ему помешала бы перекладина между передними ножками стула. Может быть, он встал из-за стола и подошел к моему стулу сзади? Но в таком случае синьора Кандида, если только она не окончательная дура, заметила бы это. Прежде чем объявить о новом феномене, я хотел найти ему какое-то объяснение. Но затем мне пришло в голову, что, раз уж я добился того, чего хотел, мне теперь следовало, хотя бы в качестве награды, без дальнейших околичностей помогать Папиано мошенничать, чтобы не слишком раздражать его. И я сообщил о своих ощущениях.

– Вот как? – вскричал со своего места Папиано с искренним, как мне показалось, изумлением.

Не меньшее удивление выказала и синьорина Капорале. Я почувствовал, как волосы у меня на голове зашевелились. Значит, все это не обман?

– Трение? – взволнованно спросил синьор Ансельмо. – Но какое? Какое?

– Ну да, трение! – несколько раздраженно подтвердил я. – И непрерывное! Словно там за стулом собачка... Вот опять!

Мое объяснение вызвало неожиданный взрыв хохота.

– Но это же Минерва! Минерва! – вскричала Пепита Пантогада.

– Что за Минерва? – с досадой спросил я.

– Да моя собачка, – ответила Пепита, продолжая смеяться. – Моя старенькая болонка, синьоры! Она трется *asì*³⁰ обо все стулья. Позвольте-ка!

Бернальдес зажег спичку, Пепита встала, взяла болонку, именовавшуюся Минервой, и положила ее к себе на колени.

– Теперь я понимаю раздражение Макса, – недовольным тоном заметил синьор Ансельмо. – Сегодня мы несерьезно относимся к делу!

Может быть, с точки зрения синьора Ансельмо, так было только в тот вечер. Но, по нашему мнению, последующие вечера – по крайней мере в отношении спиритизма – отличались не большей серьезностью.

Кому была охота внимательно следить за подвигами, которые совершал в темноте Макс? Столик поскрипывал, двигался, разговаривал посредством громкого или легкого стука. Другие постукивания раздавались под сиденьями наших стульев, а порою и под другими столами и стульями, стоявшими в

30 Так (*исп.*).

комнате; слышались также царапанье, трение и прочие звуки. В воздухе на миг возникало и проносилось по комнате странное фосфорическое мерцание, похожее на блуждающие огни; простыня светилась и раздувалась, словно парус. Один маленький столик – подставка для сигарных ящиков – передвигался туда-сюда и однажды чуть не упал на стол, вокруг которого мы держали цепочку. У гитары словно выросли крылья: как-то раз она слетела с ящика, на который была положена, и забренчала прямо над нашими головами. Впрочем, мне показалось, что Макс гораздо лучше проявлял свои выдающиеся музыкальные способности, играя бубенчиками на собачьем ошейнике, который неожиданно оказался на шее у синьорины Капорале. Синьор Ансельмо счел это за дружескую и в высшей степени милую шутку со стороны Макса, но синьорине Капорале она не слишком понравилась.

Можно было не сомневаться, что под покровом темноты на сцене появлялся брат Папиано Шипионе, которому даны были подробнейшие инструкции. Он действительно был эпилептик, но отнюдь не такой идиот, каким старался изобразить его братец Теренцио, да и он сам прикидывался. Он привык к темноте – глаза его, наверно, приспособились к ней и научились видеть во мраке. По правде сказать, я не берусь определить степень ловкости, с какой он совершал свои проделки, о которых заранее улавливался с братом и синьориной Капорале. Поскольку это касалось нас, то есть меня и Адрианы, Пепиты и Бернальдеса, он мог выделять, что ему было угодно, и все сходило как нельзя лучше. Таким образом, ему оставалось ублаготворить только синьора Ансельмо и синьору Кандиду, и, кажется, он превосходно с этим справлялся. По правде говоря, оба они были не слишком требовательны. О, синьор Ансельмо просто ликовал – были минуты, когда он походил на мальчишку, попавшего в кукольный театр. Подчас, слушая его ребячески восторженные восклицания, я страдал не только от стыда за отнюдь не глупого человека, который выставлял себя в таком до невероятия дурацком виде, но и потому, что Адриана давала мне понять, какая мука для нее радоваться нашей близости за счет обманутого отца и пользоваться его смехотворной наивностью.

Только это и отравляло по временам нашу радость. Однако я знал Папиано, и у меня должно было бы зародиться подозрение, что, если он примирился с необходимостью позволить мне сидеть рядом с Адрианой и, вопреки моим опасениям, не только не тревожил нас вмешательством духа Макса, но даже как будто помогал нам и покровительствовал, значит, у него была при этом некая задняя мысль. Но в эти мгновения я так радовался свободе, которую давала мне темнота, что подобное подозрение даже не коснулось меня.

– Нет! – пронзительно вскрикнула вдруг синьорина Пантогада.

– Что такое, что такое, синьорина? – сразу же вскинулся синьор Ансельмо. – Что случилось? Что вы почувствовали?

Бернальдес тоже стал заботливо расспрашивать ее.

– Aquf,³¹ с одной стороны, я ощутила словно ласку... – ответила Пепита.

31 Здесь (*исп.*).

– Прикосновение руки? – спросил синьор Палеари. – Легкое, правда? Прохладное, беглое, легкое... Ого, Макс, ты, когда захочешь, умеешь быть любезным с дамами! А ну, посмотрим. Макс, не коснешься ли ты еще раз синьорины?

– Aquf esta! Aquf esta!³² – со смехом завизжала Пепита.

– В чем дело? – спросил синьор Ансельмо.

– Опять, опять... Он ласкает меня!

– Может быть, ты поцелуешь ее, Макс? – предложил тогда синьор Палеари.

– Нет! – снова взвизгнула Пепита.

Но тут кто-то звонко и сочно поцеловал ее в щеку. Тогда я почти бессознательным жестом поднес к губам руку Адрианы и – мало того – наклонился, ища ее губ. И вот так-то мы обменялись первым поцелуем – долгим, беззвучным.

Что за этим последовало? Растерявшись от стыда и смущения, я не сразу заметил беспорядок, внезапно возникший вокруг нас. Неужели они узнали, что мы поцеловались? Кругом раздавались крики, вспыхнула спичка, другая, потом и свеча, та, что была под красным стеклянным колпачком. Все оказались на ногах. Но почему? Почему? Внезапно, уже при свете, что-то грохнуло по столику. Это был мощный удар кулака, словно нанесенный невидимым великаном. Мы все побелели от ужаса. Папиано и синьорина Капорале больше всех.

– Шипионе! Шипионе! – закричал Теренцио. Эпилептик лежал на полу и странно хрипел.

– Да садитесь же! – вскричал синьор Ансельмо. – Он тоже впал в транс! Видите – столик двигается, поднимается, поднимается... Это же левитация! Браво, Макс! Ура!

И правда, столик, до которого никто не дотрагивался, приподнялся над полом на целую ладонь, а затем с тяжелым стуком встал на место.

Мертвенно-бледная, дрожащая, перепуганная синьорина Капорале прижалась лицом к моей груди. Синьорина Пантогада с гувернанткой выбежали из комнаты, взбешенный же синьор Палеари кричал:

– Куда вы! Назад! Не разрывайте цепочки! Сейчас будет самое интересное! Макс! Макс!

– Да какой там Макс! – вскрикнул Папиано, оправившись наконец от оледенившего его страха и бросаясь к брату, чтобы встряхнуть его и привести в чувство.

На миг я забыл о поцелуе, ошеломленный поистине странным и необъяснимым явлением, при котором только что присутствовал. Если, как утверждал синьор Палеари, таинственная сила, действовавшая в то мгновение, при свете, у меня на глазах, была силой какого-то незримого духа, то, очевидно,

32 Bot! Bot! (исп.)

дух этот не имел ничего общего с Максом. Чтобы убедиться в этом, достаточно было взглянуть на Папиано и синьорину Капорале. Макса они придумали сами. Но что же это такое было? Кто так мощно ударил по столику кулаком? Тут в уме моем хаотически ожило все то, о чем я читал в книжках синьора Палеари. И дрожь пробрала меня, когда я подумал о том неизвестном, который утонул в мельничной запруде Стиа и у которого я отнял слезы и траур родных и друзей.

«А если это он? – подумалось мне. – А если он пришел сюда, чтобы отомстить мне, раскрыв мою тайну?» Между тем синьор Палеари, единственный из всех нас, кто не ощутил ни страха, ни удивления, никак не мог уразуметь, почему столь простое и обычное явление, как левитация столика, так взволновало нас, уже присутствовавших при самых разнообразных чудесах. С его точки зрения, было совсем несущественно, что это явление произошло при свете. Он гораздо больше удивлялся тому, что Шипионе оказался здесь, в моей комнате, – ведь он-то думал, что мальчик уже лег спать.

– Меня это удивляет, – сказал он, – потому что обычно бедняга ни на что не обращает внимания. Очевидно, наши таинственные сеансы вызвали у него некоторое любопытство; он отправился подсмотреть, что у нас делается, потихоньку вошел – и вот... бац! Попался! Ибо нет сомнения, синьор Меис, что необыкновенные явления медиумизма возникают весьма часто через посредство невропатов-эпилептиков, каталептиков, истериков. Макс берет ото всех, он заимствует и у нас значительную часть нашей нервной энергии, используя ее для спиритических явлений. Это же твердо установлено! Разве вы, например, не ощущаете, что у вас тоже кое-что взято?

– По правде сказать, пока не ощущаю.

Почти до утра ворочался я на кровати, все время представляя себе несчастного, погребенного под моим именем на кладбище Мираньо. Кто он был? Откуда явился? Почему покончил с собой? Может быть, он хотел, чтобы о его печальном конце стало веем известно; может быть, это было возмездие, искупление... А я использовал его в своих целях!

Признаюсь, я не раз леденел от страха во мраке ночи. Ведь не я один слышал удар кулаком по столику тут, в моей комнате. Не он ли нанес его? А может быть, он и сейчас здесь, со мной, молчаливый, невидимый? Я весь обращался в слух, если мне случалось уловить в комнате какой-либо звук. Потом я заснул, но меня тревожили страшные сны. На следующий день я открыл окна и впустил в комнату дневной свет.

15. Я и моя тень

Нередко, когда я просыпался, как говорится, в самом сердце ночи (в данном случае ночь проявляла себя довольно бессердечной), мне случалось переживать в окружавшем меня молчании и мраке минуты странного удивления, странного смущения при воспоминании о чем-либо, что я делал при свете дня, даже не замечая, что именно я делаю. И тогда я задавал себе вопрос: не определяются ли

наши действия зримым обликом окружающих нас вещей, их окраской, многоголосым звучанием жизни? Да, разумеется, определяются и этим, и еще очень многим другим. Не находимся ли мы, как полагает синьор Ансельмо, в общении со всей вселенной? И нам следует подумать о том, сколько же глупостей заставляет нас делать проклятая вселенная, глупостей, в которых мы потом обвиняем нашу несчастную совесть, а ведь ее понуждают к этому внешние силы, ослепляя ее бьющим извне светом. И наоборот, сколько принятых ночью решений, сколько тщательно разработанных замыслов, сколько задуманных хитростей оказываются нелепыми, рушатся, рассеиваются при свете дня? Как день и ночь – вещи совершенно различные, так, может быть, и мы днем одни, а по ночам совершенно другие, но – увы! – при всем том жалчайшие создания – как днем, так и ночью.

Знаю одно: я не ощутил никакой радости, когда после сорока дней, проведенных во мраке, вновь открыл окна моей комнаты и увидел дневной свет. Его грозно затемнило воспоминание о том, что я делал, пока жил в темноте. Все доводы, оправдания и убеждения, имевшие вес и цену в темноте, утратили их или обрели противоположное значение, едва распахнулись окна. И тщетно то несчастное «я», которое столько времени жило за закрытыми ставнями и изо всех сил старалось облегчить себе неистовую тоску заключения, теперь, словно побитая собака, терлось, хмурое, суровое, возбужденное, возле того, другого «я», которое распахнуло окно и вставало навстречу дню. Тщетно стремилось оно оторвать своего двойника от мрачных мыслей, уговаривая его подойти вместо этого к зеркалу и порадоваться счастливому исходу операции, отросшей бороде и даже бледности, которая в известном смысле облагораживала меня.

«Болван, что ты наделал, что ты натворил!»

Что я наделал? Да, по правде говоря, ничего. Занимался любовью. Во мраке – моя ли это вина? – мне показалось, что никаких препятствий уже нет, и я утратил навязанную мне сдержанность. Папиано хотел отнять у меня Адриану, а бедняжка Капорале вернула мне ее, усадив рядом со мной, и за это получила удар кулаком по лицу. Я страдал и, естественно, считал, как всякий другой страдалец (такова уж человеческая природа), что имею право на некое возмещение. А так как это возмещение было рядом, я его взял. Тут занимались всякими экспериментами с миром мертвых; Адриана же, сидевшая рядом со мною, была сама жизнь, только и ждавшая поцелуя, чтобы распуститься в лучах радости. К тому же Мануэль Бернальдес поцеловал ведь в темноте свою Пепиту, и, значит, я тоже...

– Ах!

Я закрыл лицо руками и бросился в кресло. Губы мои дрогнули, когда я вспомнил об этом поцелуе. Адриана! Адриана! Какие надежды зажег я в ее сердце этим поцелуем! Она – моя невеста. Неужели? Окна распахнуты, пир на весь мир!

Уж не знаю, сколько времени сидел я так в кресле и то закрывал рукой глаза, то весь внутренне сжимался в диком смятении, словно защищаясь от острой

душевной боли. Теперь мне наконец все стало ясно: стало ясно, какую жестокую шутку сыграл со мной мой же самообман и чем в конце концов оказалось то, что представлялось величайшим счастьем мне, опьяненному внезапным освобождением.

Я уже узнал на опыте, насколько моя свобода, не имевшая, казалось, границ, на самом деле, к сожалению, ограничена скудостью моих денежных средств. Затем я начал отдавать себе отчет и в том, что эта самая свобода может с гораздо большим основанием именоваться одиночеством и скукой и что она осуждает меня на жестокую кару – довольствоваться своим собственным обществом. Я стал искать общения с другими людьми. Но чего стоило мое намерение ни в коем случае, пусть даже очень слабо, не завязывать вновь разрезанных нитей? Ничего не стоило – эти нити сами собой завязались. И жизнь, как я ни сопротивлялся ей, чувствуя, что дело уже неладно, жизнь, на которую я уже не имел права, увлекла меня в своем неудержимом порыве. Да, я отдавал себе в этом полный отчет теперь, когда не мог уже, прибегая ко всевозможным нелепым доводам, почти ребяческим ухищрениям и жалким, мелочным оправданиям, не сознавать своего чувства к Адриане, затушевывать перед самим собой свои собственные намерения, слова, действия. Не произнося ни слова, я сказал ей слишком многое, когда сжимал ей руки, вынуждал ее пальцы переплетаться с моими. И наконец нашу взаимную любовь скрепил, запечатлел поцелуй. Но как мне теперь выполнить данное таким образом обещание? Могла ли Адриана стать моей? Ведь это меня бросили в мельничную запруду там, в Стиа, две милые женщины – Ромильда и вдова Пескаторе. Не они же сами туда бросились! Свободной поэтому оказалась моя жена, а вовсе не я, устроившийся на положении покойника и вообразивший, что могу стать другим человеком, зажить другой жизнью. Стать другим человеком – да, но при одном условии: ничего не делать! И каким человеком! Тенью человека! Зажить другой жизнью? А какая это жизнь? Да, пока я довольствовался тем, что, замкнувшись в себе, созерцал, как живут другие, я мог хорошо ли, худо ли сохранять иллюзию, будто зажил другой жизнью. Но теперь, когда я вошел в эту жизнь настолько, что сорвал поцелуй с дорогих мне уст, я должен был в ужасе оторваться от них, словно поцеловал Адриану устами мертвеца, который не мог воскреснуть ради нее. Да, я мог бы позволить себе поцеловать продажные губы, но дадут ли они ощутить радость жизни? О, если бы Адриана, зная о моих странных обстоятельствах... Она? Нет, нет, что я! И думать об этом нельзя! Она, такая чистая, такая робкая... Но если бы все же любовь в ее сердце оказалась сильнее всего, сильнее любых соображений о том, что принято и не принято в обществе... Ах, бедная Адриана, мог ли я втянуть ее в пустой круг моей судьбы, сделать ее подругой человека, который ни под каким видом не смеет заявить о себе открыто, признаться, что он жив? Что делать? Что делать?

В дверь однажды постучали, и я вскочил с кресла. Это была она, Адриана.

Как ни старался я изо всех сил справиться со смятением своих чувств, мне все же не удалось скрыть от нее, что я несколько взволнован. Она тоже

испытывала некоторое волнение, но от застенчивости, не дававшей ей свободно, как ей хотелось бы, проявить свою радость – ведь она наконец увидела меня при дневном свете, исцеленного, довольного... Разве нет? Почему нет?... Она лишь на миг подняла на меня глаза, покраснела и протянула мне запечатанный конверт.

– Это вам...

– Письмо?

– Не думаю. Кажется, это счет от доктора Амброзини. Слуга просит сказать, будет ли ответ.

Голос у нее слегка дрожал. Она улыбнулась.

– Сейчас, – сказал я.

Но тут меня охватила невыразимая нежность: я понял, что она под предлогом этого счета пришла услышать от меня хоть одно слово, которое подкрепило бы ее надежды. Я ощутил глубочайшее волнение и жалость, жалость к ней и к самому себе, жестокою жалость, неудержимо повелевавшую мне приласкать девушку, а заодно ощутил и свое собственное страдание, которое лишь в ней, его источнике, могло найти утешение... И хотя мне было ясно, что я запутываюсь еще больше, я не устоял и обнял ее. Она доверчиво, но вся залившись румянцем, тихонько подняла свои руки и положила на мои. Тогда я привлек к себе на грудь ее белокурую головку и провел рукой по ее волосам.

– Бедная Адриана!

– Почему? – спросила она, пока я гладил ее волосы. – Разве мы не счастливы?

– Счастливы...

В тот миг меня охватило возмущение, мне захотелось во всем открыться ей, сказать: «Почему? Пойми же: я люблю тебя, но не могу, не должен тебя любить! И все же, если ты хочешь...» Но бог мой! Могло ли чего-либо хотеть это кроткое создание? Я с силою прижал к груди ее головку и почувствовал, что было бы куда более жестоко сбросить ее с высот блаженства, на которые она, ни о чем не ведая, была вознесена любовью, в ту бездну отчаяния, что разверзлась в моей душе.

– Потому, – промолвил я, отстраняясь от нее, – что я знаю очень многое такое, из-за чего вы не можете быть счастливы.

Словно какое-то горестное изумление охватило Адриану, когда я так внезапно выпустил ее из своих объятий. Может быть, она ожидала, что после всех этих ласк я начну говорить ей «ты»? Она взглянула на меня и, заметив мое смущение, несмело спросила:

– Столько вещей... которые вы знаете... насчет себя самого или... о моей семье?

Кивком я дал понять ей: «О вашей семье», чтобы отогнать все сильнее овладевавшее мною искушение заговорить, открыть ей все.

О, если бы я на это решился! Причинив ей внезапно эту острую боль, я избавил бы ее от других горестей и сам не запутался бы в гораздо более сложной

и тяжелой неразберихе. Но печальное свое открытие я сделал еще слишком недавно, мне нужно было еще лучше освоиться с ним, а любовь и жалость лишали меня мужества так вот сразу разрушить ее надежды, да и свою собственную жизнь, то есть ту тень иллюзии, что я живу, которая еще могла оставаться у меня, пока я молчал. К тому же я понимал, как отвратительно звучало бы признание, которое мне пришлось бы ей сделать, признание, что у меня где-то есть живая жена. Да, да! Открыв ей, что я не Адриано Меис, я снова превращался в Маттиа Паскаля, умершего, но все еще женатого. Можно ли говорить такого рода вещи? Это же предел мучений, которыми жена может донимать своего мужа: сама освободилась, опознала его, увидев труп какого-то несчастного утопленника, и посмертно продолжает докучать ему, виснуть на нем. Правда, я мог взбунтоваться, объявив, что я жив, и тогда... Но кто на моем месте не поступил бы, как я? В такой момент, в таком положении все, все, как и я, сочли бы, разумеется, счастьем возможность столь неожиданным-негаданным чудесным способом освободиться от жены, от тещи, от долгов, от такого унылого и жалкого существования, как мое. Разве мог я думать, что даже мертвому мне не избавиться от жены? Что она-то от меня избавилась, а я от нее нет? Что дальнейшая моя жизнь, представлявшаяся мне свободной, беспредельно свободной, явилась, в сущности, лишь иллюзией и только в очень слабой степени могла стать действительностью? Что она оказалась существованием, еще более рабски зависящим от притворства, от лжи, к которой я вынужден был прибегать с таким отвращением, от страха быть обнаруженным, хотя, в сущности, за мной не числилось никакого преступления?

Адриана признала, что у нее и впрямь нет оснований быть довольной положением дел в семье. Но ведь сейчас... И взглядом своим, и грустной улыбкой она словно спрашивала, может ли явиться для меня препятствием то, что было причиной горести для нее. «Нет? Ведь правда?» – вопрошали эти глаза и грустная улыбка.

– Ах, да, надо же заплатить доктору Амброзини! – воскликнул я, делая вид, что внезапно вспомнил о счете и о слуге, дожидавшемся ответа. Я вскрыл конверт и тотчас же, принуждая себя говорить шутливым тоном, объявил: – Шестьсот лир! Ну, подумайте только, Адриана, природа выкидывает очередное коленце, заставляет меня столько лет ходить с таким, скажем, непослушным глазом; затем я испытываю боль и переносу заключение ради того, чтобы исправлена была ее ошибка; а теперь я ко всему еще должен платить деньги. Как по-вашему, это справедливо?

Адриана с трудом принудила себя улыбнуться.

– Пожалуй, – сказала она, – доктор Амброзини не был бы в восторге, если бы вы посоветовали ему обратиться за вознаграждением к природе. Думаю, что он рассчитывает даже на благодарность, так как глаз...

– По-вашему, он сейчас в порядке?

Она заставила себя взглянуть на меня и тихо вымолвила, тотчас же опустив взгляд:

– Да... как будто совсем другой...

– Я или глаз?

– Вы.

– Может быть, из-за моей бородавки?

– Нет... Почему? Она вам идет...

Я вырвал бы себе этот глаз! Какое теперь имело для меня значение, что он на месте?

– И все же, – заметил я, – сам глаз тогда, возможно, был счастливее. Сейчас он меня как-то раздражает... Ну да ладно. Пройдет.

Я направился к висевшему на стене шкафчику, где держал свои деньги. Адриана повернулась было к выходу, а я, глупец, стал ее удерживать. Но как можно было предвидеть то, что случилось? Во всех моих злоключениях, больших или маленьких, меня, как читатель мог убедиться, всегда выручала судьба. Вот каким образом она пришла мне на помощь и в данном случае.

Стараясь отпереть шкафчик, я заметил, что ключ не поворачивается в замке. Я стал осторожно нажимать, и внезапно дверца поддалась: шкафчик не был заперт!

– Как! – вскричал я. – Неужели я его так оставил?

Заметив мое неожиданное волнение, Адриана смертельно побледнела. Я взглянул на нее и сказал:

– Но... Посмотрите сами, синьорина, сюда кто-то запускал руку!..

В шкафчике все было перевернуто. Мои банковые билеты были вынуты из кожаного бумажника, куда я их прятал, и разбросаны по всей полочке. Адриана в ужасе закрыла лицо руками. Я в лихорадочном волнении собрал кредитки и принялся считать их.

– Быть не может! – воскликнул я, сосчитав деньги, и провел дрожащей рукой по лбу, на котором выступил холодный пот.

Адриана едва не лишилась чувств. Она оперлась о стоявший неподалеку столик и каким-то чужим голосом спросила:

– Украла?

– Погодите... Погодите... Как это могло случиться? – перебил я.

Я снова принялся считать, яростно ломал себе пальцы, мямлил бумажки, словно мои усилия могли выдавить из оставшихся кредиток те, которых не хватало.

– Сколько? – спросила она, взглянув на меня с искаженным от ужаса и отвращения лицом, когда я кончил считать.

– Двенадцать... двенадцать тысяч лир... – пробормотал я. – Было шестьдесят пять... осталось пятьдесят три! Сосчитайте сами...

Не подхвати я вовремя бедную Адриану, она упала бы на пол, словно ее ударили обухом по голове. Я хотел усадить ее в кресло, однако ценой невероятного усилия она еще раз справилась с собою и, судорожно рыдая и вырываясь из моих рук, устремилась к двери:

– Я позову папу! Я позову папу!

– Нет! – закричал я, в свою очередь, удерживая ее и усаживая в кресло. –

Ради бога, не волнуйтесь так! Для меня это страшнее, чем потеря денег... Не надо, не надо! При чем тут вы? Ради бога, успокойтесь. Дайте мне сперва убедиться, почему... Да, шкафчик оказался незапертым, но я не могу, не хочу еще верить в такую огромную кражу... Ну будьте же умницей!

И, в последний раз проверяя себя, я снова стал пересчитывать кредитки. Хотя я был совершенно уверен в том, что все мои деньги находились тут, в шкафчике, я принялся искать повсюду, даже там, где уж никак не оставил бы такую сумму, разве что меня на миг поразило бы безумие.

И, чтобы принудить себя к этим поискам, которые чем дальше, тем все очевиднее представлялись мне глупыми и напрасными, я убеждал себя, что такая дерзкая кража была просто неправдоподобна. Но Адриана, закрыв лицо руками, все время стонала прерывающимся от рыданий голосом:

– Бесполезно, бесполезно! Вор... вор... Он ко всему еще и вор!.. Все было заранее обдумано... Я что-то чуяла тогда, в темноте... У меня возникло подозрение, но я не хотела допускать мысль, что он способен дойти до такого...

Она имела в виду Папиано: никто, кроме него, не мог совершить кражу. Это сделал он с помощью своего братца во время спиритического сеанса.

– Зачем же, – горестно стонала она, – зачем вы держали такую сумму здесь, дома?

Я обернулся и тупо уставился на нее. Что я мог ответить? Мог ли я сказать, что обстоятельства, в которых я нахожусь, вынуждают меня держать все деньги при себе? Мог ли я сказать, что мне нельзя так или иначе пустить эти деньги в оборот, доверить их кому-либо? Что я даже не могу положить их в банк на свое имя: возникни какое-нибудь затруднение при получении их обратно – а это было бы вполне вероятно, – мне никак не удалось бы доказать своих прав на них.

И, чтобы не показаться глупцом, я вынужден был пойти на жестокость:

– Да разве я предполагал что-либо подобное?

Адриана опять закрыла лицо руками и в полном отчаянии простонала:

– Боже! Боже! Боже!

Сообразив, что, совершая кражу, вор, несомненно, испытывал сильный страх, я задумался над тем, что же из всего этого получится. Конечно, Папиано не мог предположить, что я заподозрю в краже испанского художника, или синьора Ансельмо, или синьорину Капорале, или служанку, или дух Макса. Он, несомненно, был уверен, что я заподозрю его, его с братом. И тем не менее он решился на это, словно бросая мне вызов.

А я? Что я-то мог сделать? Уличить его? Но каким образом? Я ничего не мог сделать, еще раз – ничего! Я чувствовал себя сраженным, уничтоженным. Это было второе открытие, сделанное мною в тот день. Я знал вора и не мог на него донести. Какое было у меня право на защиту со стороны закона? Я ведь стоял вне всяких законов. Кем я был? Да никем. По закону я не существовал. Любой человек мог обобрать меня. А я – молчок!

Но Папиано обо всем этом не было известно. Тогда каким же образом?...

– Как он мог это сделать? – произнес я, словно размышляя вслух. – Откуда в

нем столько дерзости?

Адриана открыла лицо и с удивлением взглянула на меня, словно хотела сказать: «Вы не знаете?»

– Ах да! – воскликнул я, сразу все сообразив.

– Но вы об этом заявите! – воскликнула она, вскакивая с кресла. – Прошу вас, пустите меня, дайте мне позвать папу... Он сам немедленно заявит!

Мне удалось и на этот раз вовремя удержать ее. Не хватало только, чтобы вдобавок ко всему Адриана принудила меня еще заявить о краже! Разве не достаточно было, что у меня походя украли двенадцать тысяч лир? Мне еще нужно было опасаться, как бы эта кража не обнаружилась, надо было заклинять Адриану всеми святыми не кричать об этом во весь голос, не говорить об этом никому. Но что было делать? Адриана – я это отлично понимал – ни в коем случае не могла допустить, чтобы я промолчал сам и заставил молчать ее, не могла ни под каким видом принять то, что она считала великодушным поступком с моей стороны. На это было много причин: прежде всего ее любовь ко мне, затем честь дома, затем я сам и, наконец, ее ненависть к зятю. Но сейчас я находился в таком ужасном положении, что ее справедливый гнев показался мне последней каплей в чаше. Я раздраженно закричал:

– Вы будете молчать, я вам приказываю. Вы никому ни слова не скажете, понятно? Вы что, хотите скандала?

– Нет! Нет! – тотчас же, плача, запротестовала несчастная Адриана. – Я просто хочу избавить свой дом от этого гнусного человека!

– Но он же станет отрицать! – возразил я. – И тогда все живущие в доме попадут под следствие... Понимаете?

– Да, отлично понимаю! – пылко бросила мне Адриана. – Пусть, пусть отрицает! Но у нас-то, я полагаю, найдется, что ему возразить. Вы должны о нем заявить и не думайте о нас, не опасайтесь за нашу судьбу... Поверьте, вы окажете нам услугу, большую услугу! Отомстите за мою бедную сестру... Вы должны понять, синьор Меис, что для меня будет оскорблением, если вы этого не сделаете. Я хочу, хочу, чтобы вы о нем заявили. А если вы не сделаете этого, я сама сделаю! Что ж, вы хотите, чтобы мы с отцом терпели этот позор? Нет, нет, нет! И, кроме того...

Я сжал ее в объятиях. Я уж не думал об украденных деньгах, видя, как она страдает, безумствует, отчаивается. И, чтобы успокоить ее, я пообещал, что сделаю, как она хочет. Но при чем тут позор? Для нее, для ее отца никакого позора нет. Я ведь знаю, кто виновник. Папиано подсчитал, что моя любовь к ней, уж во всяком случае, стоит двенадцати тысяч лир, а я должен это опровергать? Заявить о нем? Хорошо, я это сделаю, но не для себя, а ради того, чтобы избавить дом от негодяя. Сделаю, но при одном условии: прежде всего она должна успокоиться, перестать плакать – вот так. Ну! ну!.. Затем она должна поклясться мне всем самым дорогим для нее на свете, что никому ни слова не скажет о краже, пока я не посоветуюсь с адвокатом относительно всех последствий, которые могут иметь место и которых мы с ней в теперешнем

возбужденном состоянии не можем предвидеть.

– Клянетесь? Тем, что вам всего дороже?

Она поклялась и сквозь слезы бросила мне взгляд, ясно давший мне понять, чем она клянется и что ей всего дороже.

Бедная Адриана!

И вот я остался один в своей комнате, потрясенный, убитый, уничтоженный, словно весь мир для меня опустел. Через сколько времени пришел я в себя? И в каком состоянии? Болван... Болван... Как болван пошел я осмотреть дверцу шкафчика – нет ли на ней каких-либо следов взлома. Нет, ни следа. Его потихоньку вскрыли с помощью отмычки, в то время как я так старательно прятал в кармане ключ... «Разве вы не ощущаете, – спросил меня синьор Палеари, когда кончился последний сеанс, – что у вас тоже кое-что взято?» Двенадцать тысяч лир!

И снова овладела мной, раздавила меня мысль о моем полном бессилии, о моем совершенном ничтожестве. Действительно, мне и в голову не могло прийти, что меня могут обокрасть, а теперь я вынужден буду молчать и даже бояться, как бы кража не обнаружилась, словно не меня обворовали, а я сам совершил воровство. Двенадцать тысяч лир? Пустяки, пустяки! Меня могут обчистить до нитки, снять с меня последнюю рубашку. А я – молчок! Какое право я имею возвышать голос? Первое, что меня спросили бы: «А вы кто такой? Откуда у вас эти деньги?» Но даже если я не подам на него жалобу... Посмотрим-ка, что получится, если нынче вечером я схвачу его за шиворот и крикну: «Отдавай сейчас же деньги, которые ты взял отсюда, из шкафчика, вору!» Он поднимет крик, станет отрицать, возможно, даже скажет: «Да, да, вот они, я взял их по ошибке...» Дай бог, чтобы так!.. А может случиться, что он подаст на меня жалобу за клевету. Итак, я должен молчать! Помнится, я считал, что для меня будет большим счастьем, если меня сочтут мертвым. Так вот, я на самом деле умер. Умер? Хуже, чем умер. Мне об этом напомнил синьор Ансельмо: мертвым уже не приходится умирать, а мне еще придется. Какая у меня может быть теперь жизнь? Скука, одиночество, неизбежная необходимость довольствоваться своим собственным обществом! Я закрыл лицо руками и упал в кресло. Если бы я хоть был негодяем! Тогда я, может быть, приспособился бы к существованию между небом и землей, к жизни по воле случая, постоянно подверженной риску, без мало-мальски твердой почвы под ногами, без прочной основы. Но я не был на это способен. Что же в таком случае делать? Уйти? Но куда? А Адриана? Что я, однако, мог для нее сделать? Ничего... Ничего... Уйти без всяких объяснений после всего, что произошло? Но Адриана усмотрит в краже причину моего ухода и скажет: «Он захотел спасти преступника, а меня, невинную, покарать». О нет, нет, бедная моя Адриана! Но, с другой стороны, раз я ничего не в силах предпринять, как мне сделать мою роль в отношении ее менее жалкой? Я неизбежно должен оказываться непоследовательным и жестоким. Непоследовательность и жестокость – такова уж моя участь. И я первый страдаю от этого. Даже Папиано, вор, совершая преступление, оказался

более последовательным и менее жестоким, чем, к сожалению, вынужден быть я.

Он хотел получить Адриану, чтобы не возвращать тестю приданого своей первой жены. Я пожелал отнять у него Адриану? Значит, я и должен возвратить приданое синьору Палеари.

Абсолютно последовательное рассуждение с точки зрения вора.

Вора? Да воровства, в сущности, и нет, ибо изъятие у меня этих денег окажется не столько реальным, сколько видимым, — ведь, зная порядочность Адрианы, Папиано не мог предполагать, что я рассчитываю сделать ее своей любовницей. Я, конечно, хотел жениться на ней и, значит, получил бы свои деньги обратно уже в качестве приданого Адрианы, а заодно обзавелся бы честной и хорошей женой. Что мне еще нужно?

О, я был уверен, что, если бы мы могли подождать и если бы у Адрианы хватило сил сохранить тайну, мы стали бы свидетелями того, как Папиано, сдержав свое обещание, возвращает тестю приданое покойной жены еще до истечения годовичного срока.

Правда, деньги эти не перешли бы ко мне, поскольку Адриана не могла стать моей, но они достались бы ей самой, если бы она сумела промолчать, как я ей советовал, и если бы я мог задержаться здесь еще на некоторое время. Словом, мне надо было только проявить достаточно ловкости, и тогда к Адриане, на худой конец, вернулось хотя бы ее приданое.

Рассуждая таким образом, я немного успокоился — во всяком случае, за нее. Но не за себя! Для меня оставались только грубая очевидность обнаруженной кражи и крах моих иллюзий, а по сравнению с этим потеря двенадцати тысяч лир была просто пустяком, даже, пожалуй, благом, если она могла обернуться к выгоде Адрианы.

Я понял, что навеки выброшен из жизни без всякой возможности вернуться в нее. Перетерпев и это испытание, я с омраченной душой уйду из дома, где уже прижился, обрел немного покоя, свил себе нечто вроде гнезда. Теперь я должен опять блуждать по дорогам, бессмысленно, бесцельно, в пустоте. Страх снова запутаться в сетях жизни заставит меня еще больше чуждаться людей; я буду одинок, по-настоящему одинок, я стану подозрителен, угрюм. И для меня возобновятся муки Тантала.

Как безумный выбежал я из дома и лишь спустя некоторое время пришел в себя на виа Фламиния, у Понте Молле. Зачем я сюда забрался? Я огляделся по сторонам; затем взор мой задержался на моей собственной тени, с минуту я созерцал эту тень, а потом яростно поднял ногу, чтобы растоптать ее. Но разве я в силах был растоптать свою тень?

И кто из нас был тенью — я или она?

Две тени!

Обе они повержены на землю. И кто угодно может по нам пройти, расплющить мне голову, растоптать мое сердце. А я ни гугу. И тень тоже ни гугу!

Быть тенью мертвеца – вот к чему свелась моя жизнь... Проехала телега. Я нарочно не двинулся с места. По тени моей прошли сперва четыре лошадиных ноги, потом колеса.

– Так, так, покрепче, по самой шее! Ого, и ты тоже, собачка? Вот, вот, так и надо! Поднимай лапу, поднимай лапу!

Я разразился злорадным хохотом. Перепуганный песик улепетнул. Возница обернулся и посмотрел на меня. Тогда я двинулся вперед. Тень шла рядом, опережая меня. Я зашагал быстрее, с каким-то сладострастием бросая ее под другие колеса, под ноги пешеходов. Мною овладело неистовое озлобление, когтями впившееся в мои внутренности. Под конец я был уже не в силах видеть свою тень перед собой, мне хотелось стряхнуть ее с ног. Я повернулся: теперь она была позади меня.

«А если я побегу, – подумал я, – она станет меня преследовать».

Я изо всех сил ударил себя по лбу, боясь, что схожу с ума, что у меня возникает навязчивая идея. Ну да! Так оно и есть! Эта тень – символ, призрак моей жизни. Это я сам лежу на земле, и чужие ноги топчут меня как хотят. Вот что осталось от Маттиа Паскаля, погибшего в Стиа, – тень на улицах Рима.

У этой тени есть сердце, а она не может любить. Есть у этой тени и деньги, но каждый может обокрасть ее. Есть у нее и голова, но только для того, чтобы думать и понимать, что она – голова тени, а не тень головы. Да, именно так.

Тогда я ощутил ее как нечто живое, и мне стало за нее больно, словно она и вправду раздавлена ногами лошади и колесами телеги. Я уже не хотел, чтобы она продолжала лежать на земле под ногами у всех. Мимо проходил трамвай. Я вскочил в него.

А когда вернулся домой...

16. Портрет Минервы

Еще до того как мне открыли дверь, я догадался, что в доме, по-видимому, произошло нечто серьезное: до меня донеслись громкие голоса Папиано и синьора Палеари. Навстречу мне попалась взбудораженная синьорина Капорале.

– Так это правда? Двенадцать тысяч лир?

Я остановился, ошеломленный, задыхающийся. В тот же миг через прихожую пробежал Шипионе Папиано, эпилептик – бледный, босой, без пиджака; в руках он держал ботинки. Из глубины дома доносились крики его брата.

Меня охватило сильнейшее раздражение против Адрианы: она все-таки проговорила, несмотря на мой запрет, несмотря на свое обещание.

– Кто это болтает? – крикнул я синьорине Капорале. – Неправда: деньги я нашел.

Синьорина Капорале изумленно взглянула на меня!

– Деньги? Нашли? Правда? Слава тебе господи! – вскричала она, всплеснув руками, и тотчас же побежала с радостным известием в столовую, где орали

Папиано с синьором Палеари и плакала Адриана. – Нашлись! Нашлись! Пришел синьор Меис! Он нашел деньги!

– Как!

– Нашлись?

– Неужто?

Все трое были поражены. Но у Адрианы и ее отца щеки пылали, а искаженное лицо Папиано покрывала землистая бледность.

С минуту я пристально смотрел на него. Я, наверное, был еще бледнее и весь дрожал. Он опустил глаза, словно охваченный ужасом, пиджак брата выпал у него из рук. Я подошел к нему так близко, что мы почти столкнулись, и протянул руку:

– Простите меня, пожалуйста. Прошу прощения... у вас и у всех.

– Нет! – вскричала возмущенная Адриана, но тут же зажала себе рот платком.

Папиано взглянул на нее и не посмел пожать мне руку.

– Прошу прощения... – повторил я и дотронулся до его дрожащей руки. Она была как рука мертвеца, и такими же были глаза – погасшие, мутные.

– Я крайне огорчен, – добавил я, – что, сам того не желая, причинил всем вам столько беспокойства и неприятностей.

– Да нет же... то есть да... по правде сказать, – бормотал синьор Палеари, – ведь такого... да, такого не могло случиться, черт побери! Я бесконечно счастлив, синьор Меис, бесконечно счастлив, что вы нашли эти деньги, ибо...

Папиано, отдуваясь, провел обеими руками по вспотевшему лбу и по волосам, отвернулся и уставился на балконную дверь.

– Со мной случилось как в известном анекдоте, – продолжал я, заставляя себя улыбнуться. – Я искал осла, а оказывается, сидел на нем. Эти двенадцать тысяч лир находились при мне, в бумажнике.

Тут уж Адриана не сдержалась.

– Но ведь вы же, – сказала она, – в моем присутствии прежде всего заглянули в бумажник; если там, в шкафчике...

– Совершенно верно, синьорина, – прервал я ее с холодной и суровой твердостью. – Но я, без сомнения, плохо искал, раз они все-таки нашлись... У вас я особо прошу извинения, так как из-за моей небрежности вы взволновались больше всех. Но я надеюсь, что...

– Нет! Нет! Нет! – закричала Адриана. Она разрыдалась и выбежала из комнаты, вслед за ней вышла и синьорина Капорале.

– Не понимаю... – удивился синьор Палеари.

Папиано с негодующим видом обернулся к нему:

– Все равно я сегодня же ухожу... По-видимому, теперь уже не понадобится... не понадобится...

Он смолк, словно вдруг задохнулся. Он повернулся было ко мне, но у него не хватало духу посмотреть мне в глаза.

– Я... я, верите ли, даже не сумел ничего возразить, когда меня... так вот,

застали врасплох... Я набросился на брата... Ведь он в таком состоянии... больной, безответственный... Кто знает! Можно было представить себе, что... Я притащил его сюда... Произошла дикая сцена! Я вынужден был раздеть его... стал прежде всего обыскивать его одежду, вплоть до ботинок... А он... Ах!

В горле его заклокотало рыдание, на глазах выступили слезы. И, задыхаясь, словно от непосильного душевного смятения, он добавил:

– Так что вы сами видели... Но теперь, раз уж вы... После всего этого я должен уйти!

– Да ведь ничего не случилось! – возразил я. – Уходить из-за меня? Нет, вы должны оставаться здесь. Гораздо лучше будет, если уйду я.

– Что вы, синьор Меис! – огорченным голосом воскликнул синьор Палеари.

Тогда и Папиано, стараясь подавить рыдания, отрицательно замахал рукой. Потом он вымолвил:

– Я и без того должен был... должен был уйти. И все-то вообще случилось лишь потому, что... что я, ничего не подозревая, объявил, что собираюсь перебираться из-за своего брата, которого уже нельзя держать дома... И маркиз даже дал мне... вот оно, тут... письмо к директору лечебницы в Неаполе, куда мне надо поехать и за другими нужными документами... Тогда моя свояченица, которая к вам... вполне заслуженно... так хорошо относится, внезапно принялась говорить, что никто не имеет права покидать дом... что мы все должны оставаться на месте... так как вы... я уж не знаю... обнаружили... Это она заявила мне, своему зятю! Обратилась прямо ко мне, может быть, потому, что я, человек бедный, но порядочный, должен возместить своему тестю...

– Кто об этом думает! – вскричал, прерывая его, синьор Палеари.

– Нет! – гордо возразил Папиано. – Я-то об этом думаю! Много думаю, не сомневайтесь. А теперь я ухожу... Бедный, бедный Шипионе!

И уж не в силах более сдерживаться, он отчаянно разрыдался.

– Ну хорошо, – вмешался пораженный и растроганный Палеари, – при чем же тут он?

– Несчастный мой брат! – воскликнул Папиано в таком искреннем порыве, что даже меня пронзила жалость.

В этом вопле я услышал голос раскаяния, которое в тот миг должен был ощущать Папиано, использовавший своего брата с намерением свалить на него ответственность за кражу, если бы я подал жалобу, и только что оскорбивший его публичным обыском.

Он-то лучше всех знал, что на самом деле я не мог найти деньги, которые он у меня украл. Мое неожиданное заявление спасало его в ту минуту, когда он, считая, что все погребено, обвинил во всем брата или, во всяком случае, постарался изобразить дело таким образом (все это, конечно, было заранее обдуманно), что только брат мог совершить кражу. Но этим же моим заявлением он был в полном смысле слова раздавлен. Теперь он плакал, понуждаемый неудержимой потребностью дать выход жестокому душевному потрясению, а может быть, еще и потому, что лишь так, плача, он мог стоять лицом к лицу со

мною. Эти рыдания как бы означали, что он падает передо мною ниц, становится на колени, но при условии, что я и дальше стану утверждать, будто нашел деньги. Если же, увидев его унижение, я пожелал бы воспользоваться этим и пошел бы на попятный, он дал бы мне самый яростный отпор. Сам он – это подразумевалось – ничего не знал и не должен был знать о краже; таким образом, мое заявление спасало только его брата, который в конечном счете, вероятно, и не пострадал бы нисколько, так как власти посчитались бы с его болезненным состоянием. Папиано же, со своей стороны, давал обязательство, на что уже намекал и раньше, вернуть приданое синьору Палеари.

Вот какой смысл имели, на мой взгляд, его рыдания. Уступая уговорам синьора Ансельмо и даже моим, он в конце концов успокоился и заявил, что возвратится из Неаполя, как только устроит брата в лечебницу, «выйдет из некоего торгового предприятия, которое он недавно основал там в компании с одним своим приятелем», и разыщет документы, которые потребовались маркизу.

– Да, кстати, – закончил он свою речь, обращаясь ко мне, – совсем забыл: синьор маркиз просил меня передать, что если вам это удобно, сегодня... вместе с моим тестем и Адрианой...

– Прекрасно, отлично! – вскричал синьор Ансельмо, прерывая его. – Мы все придем... Великолепно! Мне кажется, сейчас у нас есть все основания повеселиться, черт побери! Как вы считаете, синьор Адриано?

– Что до меня, – сказал я, разводя руками.

– Ну, тогда около четырех... Идет? – предложил Папиано, утирая напоследок глаза.

Я ушел в свою комнату. Мысли мои внезапно устремились к Адриане, которая после моего заявления выбежала, рыдая, из столовой. А что, если она явится требовать объяснений? Конечно, она не верит, будто я нашел деньги. Что же она должна в таком случае подумать? Что я, упорно отрицая кражу, хочу наказать ее за неверность слову? Но почему? Очевидно, потому, что от адвоката, к которому я будто бы намеревался обратиться за советом, прежде чем заявить о краже в полицию, я узнал, что и она, и все живущие в доме окажутся под подозрением. Ну и пусть! Разве она не сказала мне, что охотно пойдет на скандал, связанный с разбором этого дела? Да, но я – это было ясно – не согласился, предпочтя пожертвовать двенадцатью тысячами лир... И разве не придет ей в голову, что это с моей стороны великодушие, жертва, на которую я иду из любви к ней? Вот еще одна ложь, к которой принуждало меня мое двусмысленное положение, тошнотворная ложь, которая изображала меня способным на утонченнейшее, деликатнейшее доказательство любви и приписывала мне великодушие тем более бескорыстное, что Адриана не просила о нем и не желала его. Но нет, нет, нет! С чего это я расфантазировался? Следуя логике моей необходимой и неизбежной лжи, она должна прийти к совсем иным выводам. Какое там великодушие? Какая жертва? Какие доказательства любви?

Неужели я буду и впредь морочить голову несчастной девушке? Я обязан подавить, задушить свою страсть. Я не смею обратиться к Адриане ни с одним словом любви, не смею бросить на нее ни одного нежного взгляда. Что же тогда получится? Как ей согласовать мое кажущееся великодушие с той сдержанностью, к какой я отныне обязан принудить себя в ее присутствии? Выходит, что сила обстоятельств вынуждает меня воспользоваться этой кражей, о которой Адриана рассказала против моей воли и которую я опроверг, для того чтобы порвать всякие отношения с девушкой. Но какой логический вывод следует из всего этого? Либо я решил стерпеть кражу денег, – но тогда почему, зная вора, не выдаю его, а, напротив, отнимаю у нее свою любовь, словно она сама повинна в воровстве? Либо я и впрямь нашел деньги, – но тогда почему же не продолжаю любить ее?

Я задышался от тошноты, отвращения, гнева, ненависти к самому себе. Мне следовало хотя бы сказать ей, что тут нет с моей стороны никакого великодушия, что я просто не имею ни малейшей возможности заявить о краже... Но тогда я должен сознаться – по какой причине. Уж не украл ли я сам эти деньги, как и те, что остались у меня? Она может предположить даже это... Или я должен изобразить себя беглецом, скрывающимся от властей, который вынужден таиться во мраке и не имеет права связать судьбу женщины со своей судьбой? Снова лгать бедной девочке... Но, с другой стороны, мог ли я сказать ей правду, правду, которая мне самому казалась невероятной, нелепой побасенкой, бессмысленным сном? Неужели для того, чтобы не солгать и теперь, я должен признаться в том, что лгал все время? Вот к чему приведет меня раскрытие истинного моего положения. А какой в этом смысл? Не получится ни оправдания для меня, ни лекарства для нее.

И все же в ярости и отчаянии я, может быть, открыл бы все Адриане, не пошли она ко мне синьорину Капорале. Пусть бы она сама вошла в мою комнату и объяснила бы по крайней мере, почему она нарушила свое обещание.

Впрочем, причина мне была уже известна – ведь я узнал ее от самого Папиано. Синьорина Капорале добавила, что Адриана безутешна.

– Почему же? – спросил я с деланным безразличием.

– Потому что не верит, что вы на самом деле нашли деньги.

И тут у меня возникла мысль (она, впрочем, вполне соответствовала моему душевному состоянию, моему отвращению к самому себе) заставить Адриану потерять ко мне всякое уважение, разлюбить меня, а для этого – выставить себя фальшивым, жестоким, легкомысленным, корыстным... Тем самым я наказал бы себя за причиненное ей зло. В данный момент я, конечно, нанес бы ей еще один удар, но с благой целью – чтобы излечить ее.

– Не верит? Как так не верит? – сказал я синьорине Капорале с грустной усмешкой. – Двенадцать тысяч лир, синьорина... Это же не песок! Неужели она воображает, что я был бы так спокоен, если бы у меня их украли на самом деле?

– Но Адриана сказала мне... – попыталась возразить синьорина Капорале.

– Вздор! Вздор! – оборвал я. – Да, правда, мне сперва почудилось... Но

напомните синьорине Адриане, что я не допускал возможности кражи. Так оно и оказалось! К тому же зачем было бы мне говорить, что я нашел деньги, если бы я их действительно не нашел?

Синьорина Капорале пожала плечами:

– Вероятно, Адриана думает, что у вас есть особая причина...

– Да нет же, нет! – торопливо прервал я ее. – Речь идет, повторяю, о двенадцати тысячах лир, синьорина. Были бы это тридцать, сорок лир – ладно уж! Поверьте, на такое великодушие я не способен... Черта с два! Для этого надо быть героем.

Когда синьорина Капорале ушла, чтобы передать Адриане мои слова, я заломил руки и впился в них зубами. Следовало ли мне выйти из положения именно таким образом? Воспользоваться этой кражей, словно похищенными у меня деньгами я хотел заплатить ей, возместить обманутые надежды? О, какой низменный способ действовать! Она, разумеется, застонет от гнева, станет презирать меня, не понимая, что ее боль – также и моя. Ну что ж, пусть так и будет! Пусть она ненавидит и презирает меня, как я себя ненавижу и презираю. И для того, чтобы еще жарче распалить ее гнев, углубить ее презрение, я стану особенно ласков с Папиано, ее недругом, постараюсь на глазах у нее искупить возникшее было против него подозрение... Да, да, я приведу в полнейшее изумление даже самого вора, выставлю себя в глазах окружающих сумасшедшим. Больше того. Мы ведь собираемся в гости к маркизу Джильо? Так вот, с сегодняшнего дня я начну ухаживать за синьориной Пантогада.

– Ты станешь еще больше презирать меня, Адриана! – стонал я, ворочаясь на кровати. – Что еще, что еще могу я для тебя сделать?

Едва пробило четыре, ко мне в дверь постучался синьор Ансельмо.

– Сейчас, – сказал я, надевая пальто. – Я готов.

– Вы так и пойдете? – спросил синьор Палеари, с удивлением глядя на меня.

– А в чем дело? – спросил я.

И тут я заметил, что у меня на голове дорожная шапчонка, которую я всегда носил дома. Я сунул ее в карман и снял с вешалки шляпу, а синьор Ансельмо смеялся, смеялся, смеялся, словно сам он...

– Над чем это вы смеетесь, синьор Ансельмо?

– Посмотрите-ка, в каком виде я иду! – ответил он, все еще смеясь и указывая мне на свои домашние туфли. – Ну, выходите, выходите. Там Адриана...

– Она тоже идет? – спросил я.

– Она не хотела, – произнес, направляясь к себе в комнату, синьор Палеари, – но я ее уговорил. Выходите: она уже готова и ждет нас в столовой.

Каким суровым, осуждающим взглядом окинула меня синьорина Капорале, когда я вышел в столовую! Она, столько выстрадавшая из-за любви, она, которую так часто утешала ласковая, ничего не ведавшая девочка, теперь, когда Адриана тоже познала горе, тоже получила рану, в свою очередь стремилась великодушно и заботливо утешить ее. И она возмущалась мною: ей казалось

несправедливым, что из-за меня страдает такое доброе и прелестное создание. Она сама – куда ни шло: она ведь и некрасивая, и недобрая – значит, если мужчины к ней жестоки, у них есть хоть тень оправдания. Но как можно причинять боль Адриане?

Вот что говорил ее взгляд, побуждая меня посмотреть на ту, кого я заставлял страдать.

Как она бледна! По глазам видно, что она плакала. Кто знает, каких усилий стоило ей при ее душевном смятении заставить себя пойти в гости вместе со мной...

Несмотря на мрачное настроение, в котором я шел к маркизу Джильо д'Аулетте, дом и хозяин его вызывали у меня некоторое любопытство.

Я знал, что маркиз обосновался в Риме, потому что видел отныне лишь один способ возродить Королевство Обеих Сицилии – вести борьбу за восстановление светской власти папы: если бы глава церкви вновь вернул себе Рим, единая Италия распалась бы, и тогда... кто знает! Пророчествовать маркиз не решался. В настоящий момент он ясно видел свою задачу – беспощадная борьба вместе с клерикалами. И дом его посещали наиболее непримиримые прелаты курии, наиболее пылкие рыцари черной партии.

В этот день, однако, в просторной, роскошно обставленной гостиной мы не застали никого. Впрочем, нет. Посреди комнаты стоял мольберт, а на нем незаконченная картина, долженствовавшая представлять собой портрет Минервы – Пепитиной болонки: черная собачонка развалилась на белом кресле, вытянувшись и положив головку на передние лапы.

– Творение художника Бернальдеса, – важно объявил Папиано, словно представлял нам кого-то и ждал от нас низкого поклона.

Первыми в гостиной появились Пепита Пантогада и ее гувернантка, синьора Кандида. Прошлый раз я видел обеих в полумраке моей комнаты; теперь, при дневном свете, синьорина Пантогада показалась мне другой, правда, не во всем, однако нос у нее был не тот... Возможно ли, что тогда, у нас в доме, нос у нее был такой же? Мне она рисовалась с маленьким, дерзко приподнятым носиком, а оказалось, что нос у нее орлиный и довольно крупный. Впрочем, она была очень хороша собой: брюнетка со сверкающими глазами, блестящими, совершенно черными вьющимися волосами, тонким, резко очерченным ярко-алым ртом. Черное платье с белыми горошинами облегалo ее стройную, красивую фигуру. Кроткая прелесть блондинки Адрианы в сравнении с нею казалась бледной.

И наконец-то я понял, что за штука на голове у синьоры Кандиды! Великолепный рыжий завитой парик, а на нем большой голубой шелковый платок, почти шаль, подвязанный под подбородком. В этой яркой раме ее худенькое, дряблое личико выглядело особенно бесцветным, хотя было весьма щедро умащено кремом, набелено и нарумянено.

Между тем старая болонка Минерва, заливаясь хриплым, надсадным лаем,

не давала нам как следует поздороваться с хозяевами. Правда, бедная собачонка лаяла отнюдь не на нас. Она лаяла на мольберт, на белое кресло, которое, наверно, было для нее местом пыток; лай этот был как бы гневным протестом измученной души. Она хотела бы выгнать из гостиной это проклятое приспособление на трех длинных ногах. Но поскольку оно не трогалось с места, неподвижное, угрожающее, собачонка то с лаем отступала, то прыгала на него, скаля зубы, то опять в бешенстве отбегала.

Минерва со своим маленьким, коренастым, толстым тельцем на слишком тонких лапках была поистине безобразна: глаза у нее уже потускнели от старости, шерсть на голове выцвела, а на спине, у самого хвоста, просто вылезла из-за того, что Минерва привыкла иступленно чесаться о низ шкафов, о перекладыны стульев, где бы она ни находилась. Я-то кое-что об этом знал.

Пепита одним махом схватила ее за шиворот и бросила на руки синьоре Кандиде, крикнув при этом:

– Замолчи!

В этот момент в гостиную быстрым шагом вошел дон Иньяцио Джильо д'Аулетта. Согбенный, почти скрюченный, он бросился в свое кресло у окна и, усевшись с зажатой между ног тростью, глубоко вздохнул и улыбнулся какой-то смертельно усталой улыбкой. Его бритое, изможденное, изрезанное вертикальными морщинками лицо было мертвенно-бледным, глаза же, напротив, горели живым, почти юношеским огнем. Вдоль щек и на висках у него тянулись странно густые пучки волос, похожие на влажный пепел.

Он весьма сердечно приветствовал нас и с резким неаполитанским акцентом попросил своего секретаря показать мне собранные в гостиной памятные вещи, свидетельствовавшие о верности маркиза Бурбонской династии. Когда мы подошли к картине, прикрытой зеленой занавеской, на которой золотом были вышиты слова: «Я не скрываю, а сохраняю; подними меня и прочти», он попросил Папиано снять картину со стены и подать ему. Это оказалось вставленное в рамку под стекло письмо Пьетро Уллоа, который в сентябре 1860 года, то есть в последние дни существования Неаполитанского королевства, приглашал маркиза Джильо д'Аулетту стать членом министерства, которое, впрочем, уже не успело сформироваться. Тут же рядом находился черновик ответа, в котором маркиз заявлял о своем согласии, – гордое письмо, клеймившее позором всех, кто отказался принять власть и ответственность в момент величайшей опасности, тревоги и всеобщего смятения перед лицом врага, авантюриста Гарибальди, стоявшего почти у самых ворот Неаполя.

Громким голосом читая этот документ, старик так загорелся и взволновался, что я не мог не восхищаться им, хотя испытывал совершенно противоположные чувства. По-своему он тоже был героем. И я получил еще одно доказательство его героизма, когда он сам соблаговолил рассказать мне историю позолоченной деревянной лилии, находившейся тут же в гостиной.

Утром 5 сентября 1860 года король выехал из своего дворца в Неаполе в открытой коляске в сопровождении королевы и двух придворных. Когда коляска

доехала до улицы Кьяйя, ей из-за скопления в этом месте телег и экипажей пришлось остановиться у аптеки, на вывеске которой были изображены золотые лилии. Приставленная к вывеске лестница загораживала путь. Взобравшись на эту лестницу, несколько рабочих сдирали с вывески лилии. Король заметил это и движением руки указал королеве на трусливую предосторожность аптекаря, который раньше ходатайствовал о чести украсить свое заведение королевской эмблемой. Маркиз д'Аулетта как раз проходил мимо. Охваченный яростью и возмущением, он ворвался в аптеку, схватил подлого труса за ворот пиджака, показал ему короля, сидевшего в коляске, потом плюнул ему в лицо и, высоко подняв одну из сорванных с вывески лилий, закричал посреди густой толпы народа: «Да здравствует король!»

Теперь эта деревянная лилия напоминала маркизу здесь, в гостинной, то печальное сентябрьское утро и один из последних выездов его короля на улицы Неаполя. И он гордился ею не меньше, чем своим золотым камергерским ключом, знаками ордена Святого Януария и многими другими орденами и наградами, выставленными напоказ в этой гостинной под двумя большими портретами маслом – короля Фердинанда и короля Франциска II.

Вскоре после этого, приводя в исполнение свои грустный замысел, я оставил маркиза в обществе синьора Палеари и Папиано и подсел к Пепите.

Мне сразу бросилось в глаза, что она охвачена нетерпением и нервничает. Прежде всего она спросила меня, который час.

– Половина пятого? Отлично! Отлично!

Что эта «половина пятого» ей почему-то не нравилась, я заключил из произнесенных сквозь зубы: «Отлично! Отлично!», а затем из ее весьма бурной и даже вызывающей речи, в которой она нападала на Италию и особенно на Рим, не в меру похваляющиеся своим прошлым. Между прочим, она заявила мне, что у них в Испании имеется *también*³³ такой же Колизей, как и у нас, и столь же древний, но они не придают ему ни малейшего значения.

– *Piedra muerta!*³⁴

Для них, испанцев, гораздо важнее plaza de toros.³⁵ Да, а лично для нее важнее всех знаменитых произведений античного искусства портрет Минервы работы художника Мануэля Бернальдеса, который что-то запаздывает. Нетерпение Пепиты вызывалось только этим, и теперь оно дошло до предела. Говоря, она все время дрожала, быстро потирала пальцем нос, кусала губы, сжимала и разжимала пальцы, а глаза ее устремлялись на дверь.

Наконец слуга доложил о Бернальдесе, и тот появился разгоряченный, потный, словно он не шел, а бежал. Пепита тотчас же повернулась к нему спиной и, сделав над собой усилие, приняла холодно-равнодушный вид. Но

³³ Также (*исп.*).

³⁴ Мертвый камень (*исп.*).

³⁵ Арена для боя быков (*исп.*).

когда он, поздоровавшись с маркизом, подошел к нам, то есть, вернее, к ней, и, заговорив с ней на своем родном языке, стал извиняться за опоздание, она утратила сдержанность и обрушила на него целый поток слов:

– Прежде всего говорите по-итальянски, *porque aquí*³⁶ мы в Риме и у нас эти господа, которые не понимают испанского языка, и, по-моему, неприлично, чтобы вы со мной говорили по-испански. А потом, знайте, что опоздание ваше мне совершенно безразлично, и вы можете не извиняться.

До крайности уязвленный Бернальдес растерянно улыбнулся и поклонился Пепите, а затем спросил, можно ли ему поработать над портретом, пока еще светло.

– Да пожалуйста! – ответила она с тем же видом и тем же тоном. – Вы *puede pintar*³⁷ без меня или *fambién* отложить работу, если угодно.

Мануэль Бернальдес снова наклонил голову и повернулся к синьоре Кандиде, все еще державшей на руках болонку.

Для Минервы возобновилась пытка. Но еще более жестокой пытке подвергался ее палач. Чтобы наказать его за опоздание, Пепита до того раскокетничалась со мной, что я уже стал находить это излишним для моих целей. Взглянув несколько раз украдкой на Адриану, я понял, до какой степени она страдает. Словом, мучения выпали не только на долю Бернальдеса и Минервы – их хватило и Адриане, и мне. Лицо у меня горело, словно я постепенно пьянел от обиды, которую – я прекрасно сознавал это – наносил несчастному юнцу. Однако он не вызывал у меня жалости. Жалко мне было здесь лишь одну Адриану. А так как я должен был причинять ей боль, мне было совершенно все равно, что заодно страдает и он. Мне даже казалось, что чем больше мучится он, тем меньше должна страдать Адриана. Но мало-помалу насилие, которое каждый из нас совершал над самим собой, дошло до того, что всеобщее напряжение неминуемо должно было привести к взрыву.

Повод к нему дала Минерва. Так как сегодня хозяйкин взгляд не держал ее в страхе божьем, она, едва только художник переводил глаза с нее на полотно, потихоньку меняла позу, засовывала мордочку и лапки в щель между спинкой и сиденьем кресла, словно старалась забраться туда и спрятаться, и с пленительной откровенностью выставляла перед художником свой зад, похожий на букву «о», помахивая как бы в насмешку высоко задранным хвостиком. Уже не раз синьора Кандида укладывала ее на место в прежней позе.

Бернальдес в ожидании пыхтел, ловил на лету обрывки того, что я говорил Пепите, и, вполголоса бормоча себе под нос, комментировал мои слова. Заметив это, я уже несколько раз порывался сказать ему: «Да говорите же громче!» В конце концов он потерял терпение и крикнул Пепите:

– Заставьте же по крайней мере эту тварь лежать смирно!

– Тварь? Тварь? – в бурном негодовании выпалила Пепита, размахивая

³⁶ Так как здесь (*исп.*).

³⁷ Можете писать (*исп.*).

руками. – Может быть, она и тварь, но не вам это говорить!

– Почему знать? Вдруг бедняжка все понимает, – заметил я в оправдание Минервы, обращаясь к Бернальдесу.

Фразу мою действительно можно было понять по-разному. Я сообразил это лишь после того, как произнес ее. Я-то хотел сказать: «Почему знать? Вдруг она понимает, что с ней делают». Но Бернальдес придал моим словам другой смысл, пришел в ярость и, глядя мне прямо в глаза, бросил:

– Вы-то уже доказали, что ничего не понимаете!

Он смотрел на меня так упорно и вызывающе, да и сам я был так возбужден, что поневоле отпарировал:

– Но я прекрасно понимаю, дорогой синьор, что вы, пожалуй, станете великим художником...

– В чем дело? – спросил маркиз, заметив, что разговор наш принимает враждебный характер.

Совершенно перестав владеть собой, Бернальдес встал и вплотную подошел ко мне:

– Великим художником?... Прекратите это издевательство!

– Да, великим художником, но, сдается мне, плохо воспитанным и нагоняющим страх на маленьких собачек, – решительно и надменно отрезал я.

– Хорошо, – произнес он. – Посмотрим, только ли на одних собачек!

С этими словами он удалился.

У Пепиты неожиданно вырвалось странное судорожное рыдание, и она без чувств упала на руки синьоры Кандиды и Папиано.

Среди наступившего смятения, наблюдая вместе со всеми другими за синьориной Пантогада, которую положили на диванчик, я вдруг почувствовал, что меня схватили за руку, и вновь увидел перед собой вернувшегося в гостиную Бернальдеса. Я вовремя перехватил его занесенную на меня руку и изо всех сил оттолкнул его, но он еще раз бросился на меня, и ему удалось слегка коснуться моего лица. Я в бешенстве кинулся на обидчика, но подоспевшие Папиано и синьор Палеари удержали меня, а Бернальдес выбежал из комнаты, крикнув на прощание:

– Можете считать себя оскорбленным! Я к вашим услугам! Здесь знают мой адрес.

Маркиз, весь дрожа, привстал с кресла и что-то кричал моему оскорбителю, я же старался вырваться из рук синьора Палеари и Папиано, которые не давали мне устремиться вдогонку за Бернальдесом. Маркиз тоже старался успокоить меня, внушая мне, как и подобало дворянину, что я должен послать двух друзей к этому негодяю, осмелившемуся выказать такое неуважение к его, маркиза, дому, и хорошенько проучить его.

Дрожа всем телом и задыхаясь, я выдавил лишь несколько слов, извинился за неприятный инцидент и поспешно удалился. Синьор Палеари и Папиано последовали за мной, Адриана же осталась с Пепитой, которую без сознания унесли из гостиной. Теперь мне оставалось лишь просить вора, обокравшего

меня, быть моим секундантом. Да, его и синьора Палеари. К кому я мог еще обратиться?

– Я? – воскликнул с изумленным и наивным видом синьор Ансельмо. – Да что вы? Нет, нет! Вы это серьезно? – Он улыбнулся. – Я в таких вещах ничего не понимаю, синьор Меис. Полно, полно! Все это, вы уж меня извините, ребячество, глупости...

– Нет, вы это сделаете для меня! – громко крикнул я, чувствуя себя не в силах вступать с ним в длительный спор. – Вы со своим зятем отправитесь к этому господину...

– Да никуда я не пойду! Что вы такое говорите! – прервал он меня. – Просите о любой другой услуге – я на все готов, но только не на это. Прежде всего, такие дела не для меня; кроме того, я уже сказал вам – это чистейшее ребячество. Незачем придавать значение... Все вздор...

– Нет, нет, я с вами не согласен! – прервал его Папиано, видя мое неистовство. – Это не вздор! Синьор Меис имеет полное право требовать удовлетворения. Я сказал бы даже, что это его долг. Да, он должен, должен...

– Тогда пойдете вы с кем-нибудь из своих знакомых, – объявил я, не ожидая от него отказа.

Но Папиано с огорченным видом развел руками:

– Поверьте, я всем сердцем хотел бы это сделать!

– Но не сделаете?... – с силой крикнул я тут же, посреди улицы.

– Тише, синьор Меис, – взмолился он. – Посудите сами... Войдите в мое положение, жалкое положение зависимого человека, ничтожного секретаря маркиза. Я ведь слуга, только слуга...

– Что тут понимать? Ведь сам маркиз... Вы же слышали?

– Так точно, так точно! Но завтра? Он же клерикал... Перед лицом своей партии... Его секретарь вмешивается в дела чести... Ах, бог ты мой, вы и понятия не имеете о моем жалком положении. К тому же вы сами видели, что такое эта ветреная особа. Она же как кошка влюблена в этого мерзавца художника. Завтра они помирятся, и тогда, извините меня, что же мне-то делать? Я окажусь в дураках! Подумайте, синьор Меис, войдите в мое положение... Уверяю вас, все это правда.

– Значит, вы оставляете меня на произвол судьбы в таком скверном деле? – с отчаянием выпалил я еще раз. – Я же никого здесь, в Риме, не знаю!

– Но средство есть! Есть средство! – поторопился успокоить меня Папиано. – Я как раз хотел дать вам совет. И я, и мой тесть только запутаем все, мы тут не годимся... Вы совершенно правы, что дрожите от гнева, согласен: кровь не вода. Так вот, вам надо немедленно обратиться к двум любым офицерам королевской армии – в деле чести они не откажутся быть свидетелями такого достойного человека, как вы. Вы представитесь им, расскажете о случившемся... Им не впервой оказывать такую услугу приезжему.

Мы подошли к дому.

– Хорошо! – сказал я Папиано и, оставив его вдвоем с тестем, мрачно пошел

куда глаза глядят.

Еще раз овладела мной мучительная мысль о полнейшем моем бессилии. Разве мог я в моем положении вызвать кого-нибудь на дуэль? Неужели мне еще не до конца ясно, что я ничего, решительно ничего не в силах предпринять? Два офицера? Хорошенькое дело! Прежде всего они с полным правом пожелают узнать, с кем имеют дело. Да ведь мне можно плюнуть в лицо, надавать оплеух, колотить меня палками, а я еще буду просить, чтобы били покрепче, но только без криков и лишнего шума... Два офицера! Допустим, я открою им свое истинное положение – они прежде всего мне не поверят и заподозрят бог знает что. Да это было бы так же бесполезно, как и в случае с Адрианой: даже поверив всему, что я расскажу, они посоветуют мне ожить, поскольку положение мертвеца не соответствует условиям, требуемым по кодексу чести.

Значит, я должен спокойно снести обиду, как уже стерпел кражу? Меня оскорбили, мне без малого дали оплеуху, бросили вызов, а я должен бежать как трус, исчезнуть во мраке той невыносимой участи, которая ждет меня, презренного, ненавистного самому себе?

Нет, нет! Как после этого жить? Как вынести бремя существования? Нет, нет, довольно, довольно! Я остановился. Все вокруг меня ходило ходуном, ноги мои подкашивались; во мне возникло вдруг какое-то смутное чувство, от которого меня всего затрясло.

– Но, во всяком случае, сперва... – бормотал я про себя, словно в бреду, – сперва надо все же попытаться... Почему нет? А вдруг выйдет! Надо хотя бы попытаться – чтобы перед самим собой не выглядеть таким ничтожеством... Если выйдет, я буду не так противен самому себе... Да и терять-то ведь уж нечего... Почему не попытаться?

Я был в двух шагах от кафе «Араньо». «Здесь, здесь и рискнем!» Слепое возбуждение прищипывало меня, и я вошел.

В первом зале за столиком сидели пять или шесть артиллерийских офицеров. Один из них увидел, что я остановился неподалеку, заметил мое смущение, нерешительность и стал разглядывать меня. Я поклонился ему и дрожащим от волнения голосом произнес:

– Простите... Могу я обратиться к вам?

Это был безусый еще юнец, лейтенантик, только в этом году, наверно, окончивший военную школу. Он тотчас же встал и весьма учтиво подошел ко мне:

– Слушаю вас, синьор.

– Разрешите представиться: Адриано Меис. Я приезжий и не имею здесь знакомых. У меня произошла... произошла ссора... Мне нужны два свидетеля, а я не знаю, к кому обратиться... Не согласились бы вы с одним из ваших товарищей...

Тот, удивленный, призадумался и некоторое время внимательно разглядывал меня. Потом повернулся к товарищам и крикнул:

– Грильотти!

Тот, кого он позвал, был тоже лейтенант, но значительно старше возрастом, прилизанный, напوماженный, с закрученными кверху усами и моноклем, не без труда державшимся в глазу. Он встал, продолжая разговаривать с приятелями («р» он произносил картаво, на французский манер), и подошел к нам с легким сдержанным поклоном в мою сторону.

Увидев, что он поднимается со своего места, я едва не сказал лейтенантику: «Нет, ради бога, только не этого. Этого не надо!». Но я тут же сообразил, что никто из этого кружка не разбирается лучше его в подобных делах. Он, конечно же, знал кодекс чести как свои пять пальцев.

Не могу передать здесь во всех подробностях то, что ему угодно было наговорить мне в связи с моим делом, то, чего он от меня хотел... Я должен был телеграфировать уж не знаю как и кому, изложить, уточнить, переговорить с их полковником, *sa va sans dire*,³⁸ как сделал он сам, когда еще не служил в армии и с ним в Павии приключилось то же, что со мной. Ибо в делах чести... И пошел, пошел перечислять статьи, и прецеденты, и казусы, возникавшие в судах чести, и еще невесть что.

Еще только завидев его, я уже почувствовал себя как на иголках. Что же было теперь, когда я слушал его излияния! Наступил момент, когда я оказался не в силах терпеть, и меня прорвало:

– Да, я отлично знаю все это, отлично знаю! Вы правы, вы совершенно правы. Но как я могу сейчас куда-то телеграфировать? Я же совсем один! Я хочу драться, драться немедленно, завтра же, если возможно, безо всяких проволочек! Откуда мне знать все эти тонкости? Я обратился к вам в надежде, что смогу обойтись без пустяковых формальностей, без таких – извините меня – глупостей!..

После моей вспышки разговор превратился чуть ли не в перебранку и неожиданно закончился взрывом грубого хохота со стороны всех этих офицеров. Я выбежал из кафе вне себя от ярости, с багровым лицом, словно там меня отхлестали, схватился за голову, словно хотел удержать покидавший меня рассудок, и, преследуемый этим хохотом, устремился прочь. Скрыться, спрятаться где-нибудь... Но куда бежать? Домой? Мысль об этом внушала мне отвращение. И вот я шел, шел, сам не зная куда, потом постепенно замедлил шаг и под конец, выбившись из сил, остановился, словно уже не мог больше нести свою несчастную душу, возмущенную, исхлестанную оскорбительным хохотом, полную мрачной, свинцово-тяжкой тоски. Некоторое время я простоял как вкопанный, потом опять двинулся вперед, ни о чем не думая, отупев и не ощущая больше никаких страданий. Я снова принялся бродить по улицам, утратив чувство времени, останавливался то тут, то там перед витринами лавок, которые постепенно закрывались, и мне казалось, что они закрываются только для меня, закрываются навсегда, что улицы понемногу пустеют для того только, чтобы я остался один и так вот блуждал в ночи, среди молчаливых темных

³⁸ Само собой разумеется (*франц.*).

домов с запертыми дверьми и окнами, навсегда закрытыми для меня. Вся жизнь кругом замыкалась, затухала, замолкала в наступающем мраке. И я созерцал ее как бы издали, будто она уже не имела для меня ни смысла, ни цели. И вот наконец, сам того не желая, движимый смутным, но охватившим все мое существо чувством, которое постепенно нарастало во мне, я оказался на Понте Маргерита, оперся о парапет и, широко раскрыв глаза, уставился на черную ночную реку.

– Сюда?

Я вздрогнул от ужаса, и ужас яростно пробудил все мои жизненные силы, вооружив их свирепой ненавистью к тем, кто издали опять понуждал меня покончить с собой, как когда-то в мельничной запруде Стиа я попал в такой переплет только из-за них – из-за Ромильды и ее матери: самому мне и в голову не пришло бы симулировать самоубийство, чтобы от них избавиться. И вот я кружился два года, как тень, в своей воображаемой посмертной жизни, а теперь они снова толкают меня, тащат за волосы к воде, чтобы я все-таки привел над собой в исполнение их приговор. Значит, они меня по-настоящему убили! И освободились только они, только они сами...

Гнев и возмущение охватили меня. А не отомстить ли им, вместо того чтобы убивать себя? Да и кого я намереваюсь убить? Мертвеца... Тень...

Я стоял, словно ослепленный внезапно брызнувшим светом. Отомстить? Значит, возвратиться туда, в Мираньо? Сбросить с себя эту ложь, которая душит меня и теперь стала уже непереносимой? Вернуться живым и этим покарать их, вернуться под своим именем, в своем прежнем состоянии, со своими подлинными, своими собственными невзгодами? А нынешние невзгоды? Могу ли я сбросить их с плеч так просто, словно докучный, ненавистный груз? Нет, нет, нет! Я чувствовал, что не в силах это сделать, и продолжал стоять на мосту, полный тревожных сомнений, еще не уверенный в своей участи.

Раздумывая обо всем этом, я беспокойно щупал и мял пальцами какой-то предмет в кармане пальто и никак не мог понять, что же это такое. Наконец я раздраженно вытащил его из кармана. Это оказалась моя дорожная шапчонка, та самая, которую, выходя из дому в гости к маркизу Джильо, я машинально сунул в карман. Я уже хотел швырнуть ее в реку, но тут меня внезапно озарила новая мысль. В памяти моей ясно возникло то, что пришло мне в голову в пути между Аленгой и Турином.

– Вот здесь, – молвил я про себя почти бессознательно, – на перилах... шляпа... трость... Да! Там, у мельничной запруды, Маттиа Паскаль, здесь – Адриано Меис... Раз и навсегда! Вернусь домой и отомщу!

Порыв почти безумной радости переполнил меня, придал мне бодрости. Да, да! Не себя, мертвеца, должен был я уничтожить, а дикую, нелепую фикцию, которая мучила и терзала меня два года, – этого Адриано Меиса, обреченного быть трусом, обманщиком, ничтожеством. Надо убить этого Адриано Меиса, который лишь вымышленное имя и у которого, следовательно, мозг из пакли, сердце из папье-маше, жилы из резины, а по жилам вместо крови струится

подкрашенная водичка. Да, именно так! Падай же в реку, падай, жалкая постылая марионетка. Утони, как Маттиа Паскаль! Раз и навсегда! Пусть эта тень живого существа, порожденная мрачной выдумкой, достойным образом покончит со своим бытием с помощью еще одной мрачной выдумки! И все отлично устроится. Может ли Адриана получить лучшее удовлетворение за все зло, которое я ей причинил? Я не должен буду считаться с оскорблением, которое нанес мне тот мерзавец. Ведь он, подлец, предательски напал на меня. О, я был уверен в том, что нисколько не боюсь его. Но обида нанесена не мне, не мне – Адриано Меису. И вот теперь Адриано Меис сводит счеты с жизнью.

У меня просто не было иного выхода!

И все же тут меня охватил странный трепет, словно мне и вправду предстояло кого-то убить. Однако разум мой внезапно прояснился, с сердца спала тяжесть, дух осенила ясность, похожая на веселье.

Я огляделся по сторонам, опасаясь, нет ли здесь, на набережной Тибра, кого-нибудь, скажем – полицейского, который, увидев, что я слишком долго стою на мосту, может быть, стал за мной наблюдать. Я решил удостовериться: сперва заглянул на площадь Либерта, потом на набережную Меллини. Ни души! Я вновь направился к мосту, но, прежде чем взойти на него, задержался между деревьями, встал под фонарем, вырвал из записной книжки листок и карандашом нацарапал: «Адриано Меис». Что еще? Ничего. Адрес и число. Вполне достаточно. Весь Адриано Меис тут – в этой шляпе и трости. Дома оставалось все – одежда, книги... Что касается денег, то после кражи я держал их при себе.

Ссутулясь и съездившись, я тихонько вернулся на мост. Ноги у меня подкашивались, сердце бешено колотилось. Я выбрал самое темное место, куда не доходил свет фонарей, быстро сорвал с головы шляпу, сунул за ленту сложенную записку, потом положил на парапет шляпу и рядом с ней трость, нахлобучил на голову ниспосланную самой судьбою дорожную шапчонку, спасшую мне жизнь, и, не оборачиваясь, словно вор, пустился прочь по самым темным улицам.

17. Воплощение

Я поспел на вокзал к поезду двенадцать десять на Пизу и забился в угол вагона второго класса, надвинув козырек шапчонки чуть ли не на нос, даже не столько для того, чтобы спрятаться, сколько для того, чтобы ничего не видеть. Но мысленно я видел все одно и то же: передо мной, словно наваждение, маячили шляпа и трость, оставленные на парапете моста. Может быть, сейчас их уже заметил какой-нибудь прохожий... Может быть, проходивший мимо ночной сторож уже побежал в квестуру сообщить о самоубийстве. А я еще в Риме! Почему этот поезд не трогается! У меня перехватило дыхание...

Наконец поезд отошел. К счастью, я был один в купе. Я встал, потянулся, расправил руки и с облегчением глубоко-глубоко вздохнул, словно с груди моей свалился обломок скалы. Ага, я начинаю оживать, становиться самим собой,

Маттиа Паскалем! Я снова я! Я не умер! Это я стою здесь, в вагоне! Мне теперь уже незачем лгать, нечего бояться, что меня опознают! Впрочем, еще не совсем: раньше мне надо добраться до Мираньо. Там я прежде всего должен открыто заявить о себе, добиться, чтобы меня признали живым, опять срастись со своими оставшимися в почве корнями... Безумец! Какое самообольщение воображать, что я могу жить как ствол, отделенный от корней! И вот мне вспомнилась другая поездка – из Аленги в Турин: я и тогда точно так же считал себя счастливым. Безумец! Освобождение, думал я... И это мне казалось освобождением. Хорошенькое освобождение – со свинцовым саваном лжи на плечах! Со свинцовым саваном лжи на плечах у призрака... Правда, теперь у меня на плечах опять будут супруга и теща в придачу. Но ведь они давили на меня, и когда я был мертвецом. Теперь я по крайней мере снова жив и набрался опыта. Теперь-то мы посмотрим!

Когда я размышлял обо всем этом, мне показалось просто невероятным легкомыслие, с которым за два года до того я пустился в такую авантюру, поставив себя вне закона. Я вспоминал, каким был в те первые дни, вспоминал бессознательное блаженство или, вернее, безумие, которому предавался в Турине, а затем в других городах, где я странствовал, молчаливый, одинокий, замкнувшийся в себе, переживая то, что казалось мне счастьем. Вот я в Германии, плыву на пароходе по Рейну... Что это? Сон? Нет, так оно и было! Ах, если бы я мог всегда вести такое существование, скитаться чужестранцем по жизни... Но затем, в Милане... Этот несчастный щенок, которого я хотел купить у старого уличного торговца... Тогда я уже начал понимать... А потом... Ах, потом!

Мысленно я вновь очутился в Риме, вошел как тень в покинутый мною дом. Они все уже спят? Адриана, может быть, и не спит, дожидается моего возвращения. Ей сказали, что я пошел искать двух свидетелей для поединка с Бернальдесом. Она прислушивается, но я все не иду, и она тревожится, плачет...

Я изо всех сил прижал руки к лицу, и сердце мое больно сжалось.

Но раз я все равно не мог быть для тебя живым, Адриана, лучше уж считай меня мертвым! Считай мертвыми губы, сорвавшие с твоих губ поцелуй, бедная Адриана... Забудь! Забудь!

Что произойдет в этом доме наутро, когда из квестуры придут с ужасной новостью? Какой причине припишут они мое самоубийство, опомнившись от первого изумления? Предстоящей дуэли? Нет, конечно. Было бы по меньшей мере странно, если бы человек, никогда не проявлявший трусости, вдруг покончил с собой из страха перед дуэлью. Тогда чему же? Тому, что я не мог раздобыть свидетелей? Нелепый повод. Или, может быть... Кто знает! Нет ли в моей странной жизни какой-нибудь тайны?...

О да! Так они, без сомнения, и решат! Я ведь покончил с собой без всякой видимой причины, никогда раньше и намеком не показав, что задумал нечто подобное. Впрочем, нет: за мной в последние дни замечались кое-какие странности, и не одна, – была эта неприятная история с кражей, которую я

сперва заподозрил, а потом стал отрицать... Может быть, деньги были не мои? И я должен был их кому-нибудь возвратить? Незаконно присвоил часть этих денег и попытался изобразить себя жертвой воровства, а потом раскаялся и наконец покончил с собой? Кто знает! Я, без сомнения, был весьма загадочным человеком: ни одного приятеля, ни одного письма откуда бы то ни было...

Пожалуй, лучше было бы написать на этой бумажке, кроме имени, числа и адреса, еще какую-нибудь причину самоубийства. Но в тот момент... Да и какую я мог выдумать причину?

Кто знает, каким образом и как долго будут кричать газеты об этом таинственном Адриано Меисе... Мой пресловутый родич, туринский Франческо Меис, помощник инспектора, тоже выплывет и будет давать показания в квестуре. По этим показаниям предпримут розыски, и одному богу известно, что еще найдут. Хорошо, а деньги? Наследство? Адриана видела все мои банковские билеты... Представляю себе Папиано! Он бросается к шкафчику, но находит его пустым... Значит, деньги пропали? На дне реки? Жаль, жаль! Вот досадно-то: надо было сразу забрать все! Квестура изымет мою одежду и книги... Кому они достанутся? О, пусть хоть что-нибудь останется на память бедняжке Адриане! Какими глазами станет она теперь оглядывать мою пустую комнату?

Поезд мчался в ночи, а во мне бушевали всевозможные мысли, чувства, вопросы, предположения, не давая мне ни отдыха, ни сна. Я решил, что из осторожности мне следует на несколько дней задержаться в Пизе, чтобы никому не пришло в голову связать возвращение Маттиа Паскаля в Мираньо с исчезновением Адриано Меиса из Рима. А связь эта может броситься в глаза любому, особенно если газеты поднимут крик о вчерашнем самоубийстве. Я подожду в Пизе римских газет – и вечерних, и утренних. Затем, если слишком громкого шума не будет, по пути в Мираньо заеду в Онелью к брату Роберто и посмотрю, какое впечатление произведет мое возвращение к жизни. Однако мне ни в коем случае нельзя распространяться о пребывании в Риме и о том, как я там жил и что делал. Я сообщу о двух годах своего отсутствия самые фантастические сведения, буду рассказывать о путешествиях за границей. Да, теперь, вернувшись живым и здоровым, я, может быть, начну с увлечением врать, врать основательно, красочно, вроде как кавалер Тито Ленци и даже хлестче!

У меня еще оставалось пятьдесят две тысячи лир с лишним. Принимая во внимание, что я уже два года как умер, кредиторы, наверно, вполне удовлетворились имением Стиа и мельницей. После продажи того и другого они получили приличную сумму и поэтому избавят меня от своих домогательств. Впрочем, если они начнут ко мне приставать, я уж как-нибудь сумею от них отделаться. С пятьюдесятью двумя тысячами лир в кармане в Мираньо можно жить не скажу – роскошно, но, во всяком случае, вполне прилично.

Сойдя с поезда в Пизе, я прежде всего купил шляпу такого фасона и размера, какую носил при жизни Маттиа Паскаль, а затем отправился остричь шевелюру этого болвана Адриано Меиса.

– Покороче. Так ведь красивее, правда? – сказал я парикмахеру.

Борода у меня уже немного отросла, и теперь, укоротив волосы, я начал обретать свой прежний вид, но при этом значительно похорошел: лицо мое стало тоньше... Да, ничего не скажешь: благороднее. Глаз, правда, уже не косил – эта характерная черта Маттиа Паскаля исчезла. Итак, в лице моем все же сохранится кое-что от Адриано Меиса. Теперь я был гораздо больше похож на Роберто. Ну мог ли я когда-нибудь предположить что-либо подобное?

Но вот беда: когда я освободился от этой копны волос и надел на голову только что купленную шляпу, голова утонула в ней целиком, до самого затылка! Пришлось прибегнуть к помощи парикмахера, который заложил под подкладку картонный кружок.

Чтобы не заходить в гостиницу без багажа, я купил чемодан: пока туда можно будет положить костюм, который на мне, и пальто. Мне следовало теперь обзавестись всем необходимым. Я не мог рассчитывать, что за истекшее время моя жена в Мираньо сохранила хоть что-нибудь из моей одежды и белья. Я зашел в магазин готового платья, купил костюм, облачился в него и с новым чемоданом в руках отправился в отель «Нептун».

Будучи Адриано Меисом, я уже приезжал в Пизу, где останавливался тогда в гостинице «Лондон». Все достопримечательности города были мною осмотрены. Теперь, обессилив от всего пережитого, ничего не евши со вчерашнего утра, я просто умирал от голода и усталости. Я перекусил и затем проспал почти до самого вечера.

Едва я пробудился, как меня опять обуяло мрачное волнение. День промчался почти незаметно – сперва я занимался своими делами, потом спал мертвым сном. Но кто знает, как прошел он там, в доме синьора Палеари! Суматоха, растерянность, нездоровое любопытство посторонних, торопливое следствие, нелепые предположения, клеветнические домыслы, тщетные поиски тела... А тут еще моя одежда и книги – на них все глядят с тяжелым чувством, которое неизменно внушают вещи, принадлежавшие трагически погибшему человеку.

А я спал! И теперь с тревогой и нетерпением должен был ждать следующего утра, прежде чем узнаю новости из римских газет.

Пока же, не имея возможности немедленно отправиться в Мираньо или хотя бы в Онелью, я вынужден был оставаться в таком вот приятном положении, пребывать вроде как в скобках два-три дня, а может быть, и дольше: в Мираньо я мертв – как Маттиа Паскаль, в Риме тоже мертв – как Адриано Меис.

Не зная, чем заняться, и надеясь хоть немного развлечься после стольких волнений, я решил устроить двум этим мертвецам прогулку по Пизе.

О, это была приятнейшая прогулка! Адриано Меис, уже бывавший здесь, решил послужить гидом и чичероне Маттиа Паскалю. Но тот, озабоченный всем, что продолжало занимать его мысли, только мрачно качал головой и поднимал руку, словно отстраняя эту докучную волосатую тень в длинном сюртуке, широкополой шляпе и очках:

– Прочь! Прочь! Прочь! Возвращайся в реку, ты же утонул!

И мне вспомнилось, как два года тому назад Адриано Меис бродил по улицам Пизы. Тогда он точно так же почувствовал, что ненавистная тень Маттиа Паскаля докучает ему, раздражает его, и ему захотелось таким же движением руки избавиться от нее, прогнать ее назад в мельничную запруду Стиа. Уж лучше было не доверять ни той, ни другой. О белая пизанская башня, ты клонишься набок, а вот я болтаюсь между двумя тенями – то туда, то сюда.

Однако богу угодно было, чтобы я все же кое-как пережил еще одну бесконечно долгую мучительную ночь и получил наконец римские газеты.

Не скажу, чтобы чтение их успокоило меня – это было невозможно. Однако донимавшая меня тревога вскоре рассеялась: я убедился, что сообщению о моем самоубийстве в газетах уделено ровно столько внимания, сколько заслуживает любой факт из хроники происшествий. Все передавали, в общем, одно и то же: говорилось о шляпе и палке, найденных на парапете Понте Маргерита вместе с коротенькой запиской; сообщалось, что я туринец, человек довольно странный и что причины, толкнувшие меня на столь роковой шаг, неизвестны. Впрочем, одна газета, основываясь притом на «ссоре с одним молодым испанским художником в доме некоего весьма важного лица, связанного с клерикальным миром», высказывала предположение, что речь идет об «обстоятельствах интимного порядка». Другая писала: «Вероятно, в связи с денежными затруднениями». В общем, все это было достаточно кратко и неопределенно. Лишь одна утренняя газета, обычно весьма подробно сообщавшая о всех происшествиях, накануне намекала на «изумление и горе в семье кавалера Ансельмо Палеари, отставного начальника отдела в Министерстве народного просвещения, у которого Меис проживал, снискав себе всеобщее уважение своей деликатностью и учтивостью». Весьма благодарен! Эта газета тоже упоминала о ссоре с испанским художником М. Б. и давала понять, что причину самоубийства следует искать в тайном любовном чувстве.

Словом, получалось, что я покончил с собой из-за Пепиты Пантогада. Ну что ж, в конце концов, так даже лучше. Имя Адрианы не упоминалось вовсе, ни слова не было и о пропаже банковских билетов. Следовательно, квестура вела расследование секретно. Но по чьим следам она идет?

Теперь можно было ехать в Онелью.

Роберто оказался у себя на вилле – шел сбор винограда. Легко представить себе, что я почувствовал, увидев опять родное прекрасное побережье, куда, как я полагал, путь навсегда был мне заказан. Но радость моя омрачалась и тревожным стремлением поскорее добраться до места, и опасением, как бы раньше, чем родные, меня не узнал кто-нибудь посторонний, и все возраставшим волнением при мысли, что же они почувствуют, когда внезапно увидят меня живым. При этой мысли в глазах у меня мутилось, я не видел ни неба, ни моря, кровь в жилах лихорадочно пульсировала, сердце колотилось. И мне казалось, что я никогда не доеду! Когда наконец слуга открыл калитку прелестной виллы,

которую Берто получил в приданое за женой, и я направился по аллее к дому, мне вдруг почудилось, что я и впрямь вернулся с того света.

– Прошу вас, – сказал слуга, пропуская меня вперед. – Как прикажете доложить?

Я почувствовал, что не могу выговорить ни слова. Стараясь прикрыть свои усилия улыбкой и запинаясь, я пробормотал:

– Ска... скажите... скажите ему, что... один его друг... очень близкий друг... приехал издалека... Ну вот...

В лучшем случае слуга счел меня заикой. Он поставил мой чемодан у вешалки и провел меня в гостиную. В ожидании Роберто я дрожал, смеялся про себя, пыхтел и оглядывал светлую, удобную гостиную, обставленную новой зеленоватой мебелью полированного дерева. Внезапно я увидел на пороге двери, в которую вошел, прелестного мальчугана лет четырех. В одной руке у него была лейка, в другой грабельки.

Он во все глаза смотрел на меня.

Я ощутил невыразимую нежность: это, очевидно, был мой племянник, старший сын Берто. Я нагнулся и поманил малыша к себе, но он испугался и убежал.

Тут я услышал, как отворяется другая дверь. Я выпрямился, от волнения в глазах у меня опять помутилось, в горле заклокотал судорожный смех.

Роберто остановился в двух шагах от меня. Он был удивлен и даже смущен.

– С кем... – начал он.

– Берто! – вскричал я, открывая объятия. – Ты не узнаешь меня?

Услышав мой голос, он смертельно побледнел, быстро провел рукой по лбу и по глазам, зашатался и пробормотал:

– Как же это... как же... как?

Но я успел поддержать его, хоть он и отстранялся, словно в испуге.

– Это я – Маттиа! Да не бойся же! Я не умер... Ты что, не видишь? Ну, потрогай же меня! Это я, Роберто! Уж если я был когда-нибудь жив, так именно сейчас. Ну же, ну!

– Маттиа! Маттиа! Маттиа! – повторял бедняга Берто, все еще не веря своим глазам. – Но как же это? Ты? О боже!.. Да как же так? Брат! Родной мой Маттиа!

И он крепко, изо всех сил обнял меня. Я расплакался как ребенок.

– Да как же это? – снова стал спрашивать Берто, тоже плача от радости. – Как же это так?

– Да вот так... Видишь? Вернулся... И не с того света, нет: я все время пребывал на этом окаянном свете... Ну, полно... Сейчас расскажу.

Крепко держа меня за руки, весь в слезах, Роберто не сводил глаз с моего лица и все еще не мог прийти в себя от изумления.

– Но как же так? Ведь там...

– То был не я... Сейчас объясню. За меня приняли другого. Я не был тогда в Мираньо и узнал о своем самоубийстве в Стиа, как, вероятно, и ты, из газеты.

– Значит, то был не ты? – воскликнул Берто. – Что же ты все это время

делал?

– Притворялся мертвым – и ни гугу. Я тебе все расскажу, но только не сейчас. Знай одно: я переезжал с места на место и сперва, веришь ли, чувствовал себя счастливым. Затем начались всякие истории, и я понял, что совершил ошибку, что ходить в мертвецах – не такое уж прибыльное дело. Ну вот, я вернулся; собираюсь снова ожить.

– Ох, Маттиа, я всегда говорил, что ты полоумный. Безумец! Безумец! Безумец! – воскликнул Берто. – Но до чего же я рад! Кто мог этого ожидать? Маттиа жив? Понимаешь, я никак не могу в это поверить! Дай-ка на тебя поглядеть... Ты что-то на себя не похож!

– Видишь, я привел в порядок глаз!

– Ах, да... Потому-то мне и казалось... Я все смотрел на тебя, смотрел... Ну и отлично! Пойдем же, пойдем к жене... Нет, постой... Ведь ты...

Он вдруг замолчал и смущенно взглянул на меня.

– Ты собираешься вернуться в Мираньо?

– Ну да, сегодня же вечером.

– Значит, ты не знаешь?

Он закрыл лицо руками и застонал:

– Несчастный! Что ты наделал, что ты наделал! Ты не знаешь, что твоя жена...

– Умерла? – вскричал я, застывая на месте.

– Нет! Хуже! Она вторично вышла замуж.

Я так и обомлел:

– Замуж?

– Да, за Помино! Я получил извещение. Тому уже больше года.

– Помино? Помино женился на... – бормотал я.

Но внезапно смех, горький, словно желчь, подкатил мне к горлу, и я громко, заливисто расхохотался.

Роберто смотрел на меня в полном недоумении, может быть, опасаясь даже, что я помешался:

– Ты смеешься?

– Ну да! Ну да! – закричал я, тряся его за руки. – Тем лучше! Это же верх блаженства.

– Что ты мелешь? – почти в бешенстве выпалил Роберто. – Блаженство! Но если ты теперь там появишься...

– Теперь-то уж наверняка появлюсь, не сомневайся!

– Да разве ты не знаешь, что тебе придется снова стать ее мужем?

– Мне? Как же так?

– Разумеется! – подтвердил Берто, и теперь уже я ошалело посмотрел на него. – Второй брак объявят недействительным, и ты будешь обязан ее взять.

Все вокруг меня так и завертелось.

– Как! Что же это за закон? – крикнул я. – Моя жена снова выходит замуж, а я... Да что ты говоришь? Замолчи! Это невозможно.

– А я тебе говорю, что так оно и есть! – стоял на своем Берто. – Подожди: тут у нас мой шурин, он – доктор права и лучше меня все тебе растолкует. Пойдем... Или нет, обожди немного: моя жена беременна, и я боюсь, что слишком сильное потрясение причинит ей вред, хоть она тебя мало знает. Я ее подготавливаю. Подожди, ладно?

Он выпустил мою руку только у самой двери, словно боялся, что, если оставит меня хоть на миг, я опять исчезну.

Когда он вышел, я заметался по гостиной, как лев в клетке. Вышла замуж! За Помино! Ну разумеется, она именно та, кого он хотел в жены, – ведь он и раньше любил ее. Да он глазам своим не поверит! И она тоже... Подумать только! Богатая, жена Помино... И в то время как она вторично вышла замуж, я там, в Риме... А теперь, оказывается, обязан снова жить с ней в браке! Возможно ли это?

Вскоре Роберто, сияя от радости, вернулся и позвал меня к жене. Я, однако, был до того взбудоражен этим неожиданным известием, что не мог как следует оценить тот сюрприз, который приготовили мне моя невестка, ее мать и брат. Берто заметил это и сразу стал расспрашивать шурина о том, что мне прежде всего и надо было узнать.

– Хорошенький же это закон! – еще раз вырвалось у меня. – Это, извините, какое-то варварство.

Молодой адвокат улыбнулся и с видом превосходства поправил пенсне на носу.

– Но он таков, и тут уж ничего не поделаешь, – ответил он. – Роберто прав. Не скажу точно, какой статьей, но вообще-то подобный казус законом предусмотрен: в случае появления первого супруга второй брак признается недействительным.

– И я должен признать женой, – гневно воскликнул я, – женщину, которая совершенно открыто в течение целого года жила в супружестве с другим мужчиной, а он...

– Но ведь это произошло по вашей вине, дорогой синьор Паскаль! – прервал меня адвокатик, не переставая улыбаться.

– По моей вине? Почему? – возразил я. – Прежде всего эта милая женщина ошиблась, приняв за меня труп какого-то несчастного утопленника, потом она поспешила вторично выйти замуж, а виноват я? И я должен восстановить с ней брачные отношения?

– Конечно, – ответил адвокат, – поскольку вы, синьор Паскаль, своевременно, то есть до истечения срока, в пределах которого по закону нельзя заключить новый брак, не пожелали исправить ошибку вашей жены, каковая ошибка – весьма возможно – была совершена не совсем бессознательно. Вы это ложное опознание приняли и даже воспользовались им... Не спорьте: я ведь вас за это даже хвалю, на мой взгляд, вы поступили совершенно правильно, и меня удивляет лишь, зачем вам понадобилось возвращаться и запутываться в нашем нелепом гражданском законодательстве. Я на вашем месте не стал бы оживать.

Безмятежность и самодовольное умничанье этого свежееиспеченного юриста рассердили меня.

– Вы же сами не знаете, что говорите! – ответил я ему, пожимая плечами.

– Как! – возразил он. – Ведь это такая удача, такое счастье!

– Вот-вот, вы бы сами и попробовали, – воскликнул я и, чтобы оборвать этого самодовольного субъекта, повернулся к Берто. Но и тут я напоролся на шипы.

– Да, кстати, – спросил меня брат, – а как ты все это время устраивался насчет...

И он потер большой палец об указательный, намекая на деньги.

– Как устраивался? – ответил я. – Это длинная история! Сейчас я не в таком состоянии, чтобы ее рассказывать. Но, должен тебе сказать, деньги у меня были, да и сейчас имеются. Так что пусть никто не воображает, будто я возвращаюсь в Мираньо, потому что очутился на мели.

– Ах, ты все же намереваешься вернуться туда? – опять спросил Берто. – После всего, что я тебе сообщил?

– Разумеется, намереваюсь! – вскричал я. – Неужели ты думаешь, что после всего, что я выстрадал, у меня еще есть желание притворяться умершим? Нет, дорогой мой, хватит. Я хочу снова получить законные документы, хочу ощутить себя живым, по-настоящему живым, даже ценой возвращения к семейной жизни. Да, вот что: а мать ее... вдова Пескаторе, жива?

– Этого не знаю, – ответил Берто. – Ты сам понимаешь, что после второго замужества... Но, кажется, она жива...

– Тем лучше! – воскликнул я. – Впрочем, неважно. Я отомщу! Я ведь, знаешь, уже не тот, что был. Жаль только, что это будет такое счастье для болвана Помино!

Все рассмеялись. Тут вошел слуга и объявил, что кушать подано. Мне пришлось остаться к обеду, но я до того дрожал от нетерпения, что не разбирал даже, какую пищу поглощаю. Во всяком случае, я ощутил наконец, что наелся досыта. Зверь, зашевелившийся во мне, подкрепил свои силы и приготовился к предстоящему прыжку.

Берто предложил мне задержаться до вечера и переночевать у них на вилле, а на следующее утро отправиться с ним вдвоем в Мираньо. Ему хотелось насладиться зрелищем моего неожиданного возвращения к жизни, увидеть своими глазами, как я, словно коршун, упаду на гнездышко, которое свил себе Помино. Но я уже закусил удила и слышать не захотел о проволочке. Я попросил его отпустить меня одного, и сегодня же, без всякой задержки.

Я уехал восьмичасовым поездом – через полчаса буду в Мираньо.

18. Покойный Маттиа Паскаль

Раздираемый двумя чувствами – тревогой и яростью (не могу сказать, которое из них волновало меня сильнее; вероятно, это было, в сущности, одно

чувство – тревожная ярость или яростная тревога), я уже не беспокоился о том, что кто-нибудь посторонний узнает меня до того, как я приеду в Мираньо или едва только сойду с поезда.

Я принял лишь одну предосторожность: сел в вагон первого класса. Уже наступил вечер, и к тому же опыт, проделанный с Берто, успокоил меня: во всех так укоренилась уверенность в моей печальной кончине целых два года тому назад, что никому и в голову не пришла бы мысль, что я – Маттиа Паскаль. Я попытался высунуть голову из окна, надеясь, что вид знакомых мест вызовет у меня иное, более кроткое чувство, но это только усилило во мне тревогу и ярость. При лунном свете я издали различил холм в Стиа.

– Убийцы! – процедил я сквозь зубы. – Ну погодите...

Сколько важного забыл я спросить у Роберто, ошеломленный неожиданным известием! Проданы ли имение и мельница? Или же кредиторы договорились между собой о временной отдаче их под опеку? Умер ли Маланья? Как тетя Сколастика?

Не верилось, что прошло всего два года и несколько месяцев. Казалось, что прошла целая вечность, а так как со мной случились вещи необычайные, я считал, что такие же необычайные вещи должны были произойти и в Мираньо. И, однако, там ничего не случилось, кроме брака Ромильды и Помино, то есть вещи самой обычной, которая лишь теперь, с моим возвращением, становилась необыкновенным происшествием.

Куда же мне следует направиться, как только я окажусь в Мираньо? Где свила гнездышко новая супружеская пара?

Для Помино, богача и единственного наследника, дом, где жил я, бедняк, был слишком убог. К тому же Помино, при своем нежном сердце, чувствовал бы себя неважно там, где все напоминало бы ему обо мне. Возможно, он поселился вместе с отцом, в большом доме. Я представил себе вдову Пескаторе – какой вид матроны она на себя теперь напускает! А бедняга кавалер Помино Джероламо Первый, такой щепетильный, мягкий, благодушный, в когтях у этой мегеры! Какие там сцены! Уж конечно, ни у отца, ни у сына не хватило мужества избавиться от нее. А теперь вот – ну не досадно ли? – избавлю их я...

Да, мне надо направиться прямо в дом Помино: если там я их не найду, то, во всяком случае, узнаю у привратницы, где искать.

О мой мирно уснувший городок, какое потрясение ожидает тебя завтра при известии о моем воскресении! Ночь была лунная, на почти вымерших улицах фонари уже погасли, многие в этот час ужинали.

Из-за предельного нервного возбуждения я не чуял под собой ног и шел, словно не касаясь земли. Не могу сказать даже, в каком я был душевном состоянии; у меня сохранилось только ощущение, будто все мои внутренности переворачивал гомерический смех, который, однако, не мог вырваться наружу; вырвись он – и камни мостовой оскалились бы, как зубы, и дома зашатались бы.

В одно мгновение очутился я у дома Помино, но не обнаружил в подъезде" старухи привратницы в ее стеклянной будке. Дрожа от нетерпения, я подождал

несколько минут и вдруг заметил над одной из створок парадной двери уже вылинявшую и пыльную траурную ленту, которая явно была приколочена здесь еще несколько месяцев тому назад. Кто же умер? Вдова Пескаторе? Кавалер Помино? Ясное дело – кто-то из них. Может быть, кавалер... Тогда, уж наверно, я найду свою пару голубков здесь, в большом доме. У меня больше не было сил дожидаться. Я побежал по лестнице, шагая через две ступеньки, и на втором пролете встретил привратницу:

– Дома кавалер Помино?

Старая черепаха посмотрела на меня так ошеломленно, что я сразу понял: умер бедняга кавалер Помино.

– Сын! Сын! – сразу поправился я, продолжая подниматься по лестнице.

Уж не знаю, что бормотала себе под нос старуха, спускаясь вниз. Дойдя почти доверху, я вынужден был остановиться – не хватало дыхания. Я взглянул на дверь и подумал: «Может быть, они еще ужинают, сидят за столом все трое, ничего не подозревая. Но пройдет несколько секунд – и едва я постучусь в дверь, как вся их жизнь перевернется вверх дном... Сейчас я – носитель грозящего им рока».

Я поднялся по последним ступенькам и взялся за шнурок звонка. Сердце у меня бешено колотилось, я прислушался. Ни звука. И в этой тишине я расслышал легкое динь-динь звонка, который я сам медленно, осторожно тянул за шнурок.

Кровь ударила мне в голову, в ушах загудело, словно этот легкий звон, еле доносившийся до меня в тишине, звучал во мне самым резко и оглушительно.

Через несколько минут я вздрогнул, узнав за дверью голос вдовы Пескаторе:

– Кто там?

Я не смог ответить сразу и крепко прижимал к груди кулаки, словно для того, чтобы не дать сердцу выпрыгнуть наружу. Потом глухо, скандируя каждый слог, произнес:

– Маттиа Паскаль.

– Кто? – вскрикнул голос за дверью.

– Маттиа Паскаль, – повторил я, стараясь говорить еще более замогильным голосом.

Я услышал, как старая ведьма – явно в ужасе – отбежала от двери, и внезапно представил себе, что там сейчас происходит. Теперь должен появиться мужчина – сам Помино, этот храбрец!

Мне, однако, следовало не спеша, как и раньше, обдумать свой образ действий.

Едва только Помино гневным рывком открыл дверь и увидел меня, выпрямившегося во весь рост и словно наступающего на него, он в ужасе попятился. Я ворвался в комнату, крича:

– Маттиа Паскаль! С того света!

Помино с тяжелым стуком плюхнулся задом на пол. Руки он инстинктивно закинул за спину и теперь опирался на них всем телом, тараща на меня глаза:

– Маттиа? Ты?!

Вдова Пескаторе, прибежавшая со свечой в руке, издала душераздирающий вопль, словно роженица. Ударом ноги я захлопнул дверь и вырвал у нее свечу, которую она едва не уронила на пол.

– Тише! – крикнул я ей прямо в лицо. – Вы, кажется, и впрямь приняли меня за привидение?

– Ты живой? – выдавила она, побелев от страха и впиваясь пальцами себе в волосы.

– Живой! Живой! Живой! – подхватил я с какой-то свирепой радостью. – А вы меня опознали в мертвеце? В утопленнике?

– Да откуда же ты? – в ужасе спросила она.

– С мельницы, ведьма! – зарычал я. – Вот, держи свечу да гляди на меня хорошенько! Это я? Узнаешь? Или тебе кажется, что перед тобой тот несчастный, который утонул в Стиа?

– Значит, то был не ты?

– Иди к черту, ведьма! Я же стою здесь, живой! А ты вставай, чудило! Где Ромильда?

– Ради бога!.. – простонал Помино, торопливо поднимаясь с пола... – Малютка... Я боюсь... Молоко...

Я схватил его за руку, тоже, в свою очередь, оторопев:

– Что еще за малютка?

– Моя... моя... дочка... – пробормотал Помино.

– Ах ты убийца! – заорала вдова Пескаторе. Ошеломленный этим новым известием, я не мог ответить ни слова.

– Твоя дочь? – прошептал я. – Ко всему еще и дочь... И теперь она...

– Мама, ради бога, пойдите к Ромильде... – умоляющим тоном произнес Помино.

Но было уже поздно. Ромильда с раскрытой грудью, к которой присосался младенец, полуодетая, словно, услышав наши крики, она впопыхах спрыгнула с постели, – Ромильда вошла в комнату и увидела меня:

– Маттиа!

Она упала на руки Помино и матери, которые унесли ее, оставив в суматохе малютку у меня на руках, когда я вместе с ними бросился к Ромильде.

Я остался один во мраке прихожей с этой хрупкой малюткой, которая пронзительно кричала, требуя молока. Я был смущен, растерян, в ушах у меня звучал отчаянный крик женщины, которая была моей, а теперь вот родила эту девочку, и не от меня, не от меня! А мою-то, мою она тогда не любила! Значит, и мне, черт побери, нечего жалеть ни ее ребенка, ни их всех. Она вышла замуж? Ну, так теперь я... Но малютка продолжала кричать, и тогда... Что оставалось делать? Чтобы успокоить девочку, я осторожно прижал ее к груди и принялся нежно похлопывать по крошечным плечикам и укачивать, прохаживаясь взад и вперед. Ярость моя утихла, пыл угас. Девочка мало-помалу смолкла.

Из темноты слышался испуганный голос Помино:

– Маттиа! А что девочка?

– Тише ты! Она у меня.

– А что ты с ней делаешь?

– Ем ее... Что делаю! Вы же сунули ее мне в руки... Пусть теперь и лежит у меня. Она успокоилась. Где Ромильда?

Он подошел ко мне, весь дрожа и глядя с опаской, как сука, увидевшая, что хозяин взял на руки ее щенка.

– Ромильда? А что? – переспросил он.

– А то, что мне надо с ней поговорить, – грубо ответил я.

– Знаешь, она в обмороке.

– В обмороке? Ну что ж, приведем ее в чувство.

Помино с умоляющим видом попытался преградить мне путь:

– Ради бога... Послушай... Я боюсь... Как это... ты... живой?... Где же ты был?... Ах, боже ты мой... Послушай... Может быть, ты лучше со мной поговоришь?

– Нет! – закричал я. – Буду говорить с ней. Ты во всем этом деле теперь никто.

– Как! Я?

– Твой брак недействителен.

– Как!.. Что ты говоришь? А девочка?

– Девочка... Девочка... – процедил я сквозь зубы. – Постыдился бы! Только два года прошло, а вы уж успели и дочкой обзавестись. Тише, маленькая, тише! Пойдем к маме!.. Ладно, веди меня! Куда идти?

Не успел я войти в спальню с ребенком на руках, как вдова Пескаторе накинулась на меня, словно гиена. Я оттолкнул ее яростным взмахом руки:

– А вы убирайтесь! Вон там ваш зятек. Если хотите орать, орите на него. Я вас знать не знаю.

Я склонился над Ромильдой, которая горько рыдала, и положил девочку рядом с ней.

– Вот, возьми ее... Ты плачешь? Отчего? Оттого, что я жив? Ты предпочла бы, чтоб я был мертв? Посмотри на меня... Ну же, посмотри мне в лицо. Каким я тебе больше нравлюсь – живым или мертвым?

Она попыталась взглянуть на меня сквозь слезы и прерывающимся от рыданий голосом прошептала:

– Но... как... ты? Что... ты делал?

– Что делал? – усмехнулся я. – Это ты у меня спрашиваешь, что я делал? Ты-то вышла вторично замуж... за этого болвана... Родила дочку и теперь еще спрашиваешь, что я делал?

– Что теперь будет? – простонал Помино, закрывая лицо руками.

– Но ты, ты... Где ты пропадал? Раз ты притворялся умершим, раз ты скрывался... – начала орать вдова Пескаторе, надвигаясь на меня с поднятыми кулаками.

Я схватил одну ее руку, скрутил и прорычал:

– Молчать, я вам говорю! Замолчите сейчас же, и если вы только пикнете, я позабуду жалость, которую испытываю к этому болвану, вашему зятю, и к этой крошке, и буду поступать по закону! А знаете ли, что гласит закон? Что я должен восстановить свой брак с Ромильдой...

– С моей дочерью? Ты?... Ты с ума сошел! – не смущаясь, завопила она.

Но Помино, услышав мою угрозу, принялся уговаривать ее, чтобы она ради всего святого замолчала и успокоилась.

Тогда мегера, отстав от меня, напустилась на него, дурака, болвана, ничтожество, умеющего только хныкать и жаловаться, как баба.

Меня разобрал такой смех, что живот заболел.

– Хватит! – закричал я, когда немного успокоился. – Да я оставлю ему Ромильду! Охотно оставлю! Неужели вы считаете меня таким дураком, чтоб я захотел снова стать вашим зятем? Ах, бедный ты мой Помино! Прости, бедный мой друг, что я назвал тебя болваном. Но ведь ты же слышал? И теща твоя назвала тебя так, и – честное слово! – еще раньше так о тебе отзывалась Ро-мильда, наша женушка, да, да, она – не кто другой. Ты ей казался и болваном, и тупицей, и пошляком, и не помню уж чем еще. Не так ли, Ромильда? Ну, признайся же... Ну-ну, перестань плакать, дорогая, вытри глаза, а то еще молоко испортишь... Я теперь жив – видишь? – и хочу радоваться жизни, да, радоваться, как говорил один мой подвыпивший приятель... Радоваться. Помино! Ты думаешь, я хочу отнять маму у дочки? Ой, нет-нет! У меня уже есть сын без отца... Видишь, Ромильда? Мы с тобой теперь квиты: у меня есть сынок, он – сын Маланьи, а у тебя дочка, и она – дочь Помино. Если на то будет воля божья, мы их еще когда-нибудь поженим! Но теперь мой сын для тебя уже не обидает... Поговорим о вещах повеселей... Расскажи-ка мне, как ты и твоя мать умудрились опознать мой труп там, в Стиа.

– Но я ведь тоже опознал! – вскричал, потеряв терпение, Помино. – Вся округа опознала! Не они одни!

– Молодцы! Молодцы! Он был так на меня похож?

– Твой рост... Борода... Одет как ты... в черное. К тому же ты столько времени пропадал...

– Ну конечно, я скрылся, ты ведь это уже слышал? Как будто я скрылся не из-за них. Из-за нее, из-за нее... И вот, знаешь ли, я все-таки решил было вернуться... Да, да, нагруженный золотом! Как вдруг, оказывается, я умер, утонул, даже разложился... И вдобавок всеми опознан! Слава богу, два года я болтался повсюду, как блудный сын, а вы-то здесь – помолвка, свадьба, медовый месяц, пиры, веселье, дочка...

Спящий в гробе – мирно спи,
Жизнью пользуйся, живущий...

– А теперь-то как? Теперь-то как будет? – стеная, повторял Помино, сидевший как на иголках. – Вот о чем я спрашиваю!

Ромильда встала и перенесла девочку в колыбельку.

– Пойдем, пойдем отсюда, – сказал я. – Малышка заснула. Поговорим в другом месте.

Мы перешли в столовую, где на еще накрытом столе виднелись остатки ужина. С мертвенно-бледным, ошалелым, перекошенным лицом, весь дрожа и беспрестанно моргая помутневшими глазками, сузившиеся от муки зрачки которых казались двумя черными точками, Помино только и делал, что почесывал себе лоб и повторял как в бреду:

– Жив... Жив... Как же это? Как же это?

– Да перестань ты ныть! – крикнул я. – Сейчас все обсудим.

Ромильда, облачившись в халат, присоединилась к нам. При свете лампы я на нее просто загляделся: она похорошела и стала совсем как в былые дни, даже еще красивее.

– Дай-ка я на тебя посмотрю... Разрешаешь, Помино? Тут ничего худого нет: я ведь раньше твоего стал ей мужем и был им подольше, чем ты. Да не стесняйся же, Ромильда! Смотри, смотри, как корчится Мино! Раз я на самом деле не умер, все в порядке!

– Это недопустимо! – пропыхтел побледневший Помино.

– Волнуется! – подмигнул я Ромильде. – Ну ладно, успокойся, Мино... Я же сказал, что не отберу ее у тебя, и я сдержу слово. Только подожди... С твоего позволения!

Я подошел к Ромильде и смачно чмокнул ее в щеку.

– Маттиа! – весь дрожа, крикнул Помино.

Я опять расхохотался:

– Ревнуешь? Ко мне? Вот еще! У меня право первенства. Впрочем, Ромильда, можешь предать это забвению. А знаешь, идя сюда, я предполагал (ты уж извини, Ромильда), я предполагал, дорогой Мино, что очень обрадую тебя возможностью освободиться, и, признаюсь, это меня весьма огорчало: я ведь хотел отомстить. Поверишь ли, я и сейчас, пожалуй, не прочь отобрать у тебя Ромильду – ты, как видно, ее любишь, а она... Да, да, это похоже на сон, но она такая же, как была когда-то... Помнишь, Ромильда?... Да не плачь же! Опять ты принялась хныкать!.. Хорошие были времена... Нет им возврата... Ладно, ладно: у вас теперь дочка, значит, и говорить не о чем! Оставляю вас в покое, черт побери!

– Но ведь брак-то наш будет недействительным! – закричал Помино.

– И пусть себе будет, – ответил я. – Если он и аннулируется, то чисто формально. Я своих прав заявлять не стану, не стану и добиваться официального признания меня живым, если не буду к этому вынужден. Я вполне удовлетворюсь, если все меня увидят и узнают, что на самом-то деле я жив. Я хочу только не числиться мертвым. Поверьте, такое состояние – самая настоящая смерть. Да ты и сам это понимаешь, раз Ромильда стала твоей женой... Остальное мне безразлично! Ты открыто, на глазах У всех, женился; все знают, что она уже целый год твоя жена; пусть так и остается. Неужто ты думаешь, что

кто-нибудь поинтересуется, остался ли законным ее первый брак? Все это – прошлогодний снег... Ромильда была моей женой; теперь, вот уже год, она твоя жена, мать твоего ребенка. Через месяц об этом и судачить-то перестанут. Верно я говорю, вы, дважды теща?

Вдова Пескаторе с мрачным видом хмуро кивнула головой. Но Помино, которого все сильнее разбирало беспокойство, спросил:

– А ты останешься тут, в Мираньо?

– Да, и иногда вечером буду заходить к тебе выпить чашку кофе или стаканчик вина за ваше здоровье.

– Ну, уж это – нет! – выпалила вдова Пескаторе, вскакивая с места.

– Да он шутит!.. – заметила Ромильда, не поднимая глаз.

– Видишь, Ромильда? – обратился я к ней. – Они боятся, как бы у нас с тобой опять не началась любовь... Это было бы мило с твоей стороны! Нет, нет, не надо мучить Помино. Я хочу сказать, что, раз он не желает принимать меня в своем доме, я стану прохаживаться по улице под твоими окнами. Хорошо? И устраивать тебе дивные серенады.

Помино, бледный, дрожащий, ходил взад и вперед по комнате, бормоча:

– Это невозможно... Невозможно... – Вдруг он остановился и сказал: – Факт тот, что она, раз ты жив и находишься тут, больше не будет моей женой...

– А ты считай, что я умер! – спокойно ответил я.

Он снова принялся ходить взад и вперед:

– Теперь я не могу так считать!

– Ну и не считай! Ну посуди сам хорошенько: если со стороны Ромильды у тебя на этот счет не будет никаких неприятностей, то от кого еще тебе их ждать? Пусть скажет Ромильда... Ну же, Ромильда, говори, кто из нас лучше: он или я?

– Но я имею в виду – перед лицом закона! Перед лицом закона! – закричал он, останавливаясь.

Ромильда озабоченно и нерешительно взглянула на него.

– Если говорить о законе, – заметил я, – то мне, извини, кажется, что больше всего пострадаю я, поскольку мне придется отныне быть свидетелем того, как моя прекрасная половина ведет с тобой супружескую жизнь.

– Но ведь раз она, – возразил Помино, – больше не является твоей женой...

– Ну, в общем, – громко вздохнул я, – я намеревался отомстить и не мщу; я оставляю тебе жену, оставляю тебя в покое, а ты еще чем-то недоволен? Ладно, Ромильда, вставай, и уйдем отсюда вместе! Предлагаю тебе блестящее свадебное путешествие... Уж мы с тобой повеселимся! Брось ты этого скучного плаксу! Как тебе нравится? Он хочет, чтобы я по-настоящему бросился в мельничную запруды Стиа.

– Вовсе я этого не хочу! – возопил выведенный из себя Помино. – Но ты по крайней мере уйди! Уходи отсюда, раз уж тебе понравилось притворяться умершим! Уходи сейчас же, и подальше, так, чтобы никто тебя не видел. Потому что, если ты... тут... живой... я не смогу...

Я встал, успокоительно похлопал его по плечу и объявил, что уже был в

Онелье у брата. Там все теперь знают, что я жив, и завтра эта весть неизбежно дойдет до Мираньо. Затем я вскричал:

– Чтоб я опять притворился умершим?! Прозябал где-то вдали от Мираньо? Шутишь, мой дорогой! Успокойся: живи себе мирно супружеской жизнью и ни о чем не тревожься... Как бы то ни было, свадьбу твою отпраздновали. Все одобряют то, что я предлагаю, принимая во внимание наличие ребенка. Обещаю, клятвенно обещаю, что никогда не явлюсь докучать тебе, даже чтобы выпить несчастную чашку кофе, даже чтобы насладиться радостным и бодрящим зрелищем вашей любви, вашего согласия, вашего счастья, построенного на моей смерти... Ах вы неблагодарные! Пари держу, что никто, даже ты, преданнейший друг, никто из вас ни разу не сходил на кладбище повесить венок, положить хоть жалкий цветок на мою могилу... Ведь правда? Отвечай же!

– Все-то ты шутишь! – весь сжавшись, произнес Помино.

– Шучу? И не думаю! Там ведь лежит труп человека, а с этим не шутят. Бывал ты там?

– Нет... Я не... У меня мужества не хватило... – пробормотал Помино.

– А жену у меня отнять – на это мужества хватило, озорник ты этакий!

– А ты – у меня? – быстро возразил он. – Разве ты первый не отобрал ее у меня, когда был жив?

– Я? Вот еще! Она же тебя сама не захотела! Неужто тебе надо повторять, что она считала тебя дураком? Пожалуйста, подтверди ему, Ромильда, – видишь, он обвиняет меня в предательстве. Ну ладно! Не будем больше об этом говорить, он все-таки твой муж. Но никакой вины за мной нет... Полно, полно... Завтра я сам навещу этого бедного покойника, который лежит там без единого цветочка, без единой пролитой слезы... А скажи, камень-то хоть положили на его могилу?

– Да, – живо ответил Помино. – За счет муниципалитета... Мой бедный папа...

– Произнес на моей могиле речь. Знаю. Если бы бедняга покойник слышал... А что написано на плите?

– Не знаю... Надпись сочинил Жаворонок.

– Представляю себе! – вздохнул я. – Ладно. Поставим крест и на этом. Расскажи-ка мне лучше, как это вы так быстро поженились... Да, не очень-то долго ты меня оплакивала, моя вдовушка! А может быть, и вовсе не плакала? А? Да скажи хоть слово. Неужто я так и не услышу твоего голоса? Смотри: сейчас поздняя ночь, чуть забрезжит день, я уйду, и все будет так, словно мы никогда не знали друг друга... Воспользуемся же оставшимся временем. Ну, говори же...

Ромильда пожала плечами, взглянула на Помино и нервно усмехнулась. Потом опять опустила глаза и стала разглядывать свои руки.

– Что я могу сказать? Конечно, плакала...

– Чего ты не заслужил! – проворчала вдова Пескаторе.

– Благодарю! Но недолго, ведь правда? – продолжал я. – Эти прекрасные глаза нередко ошибались, но, разумеется, недолго портили себя слезами.

– Нам было очень плохо, – молвила, словно оправдываясь, Ромильда. – И

если бы не он...

– Молодец, Помино! – воскликнул я. – А этот прохвост Маланья, значит, ничего?

– Ничего, – сухо отрезала вдова Пескаторе.

– Все сделал он...

– То есть... нет... – поправил ее Помино, – бедный папа... Ты знаешь, он ведь был член муниципального совета. Ну вот, прежде всего он добился маленькой пенсии, принимая во внимание несчастный случай, а потом...

– Согласился на вашу свадьбу?

– Он был просто счастлив! И захотел, чтобы все жили тут, с ним... Увы! Два месяца тому назад...

Он стал рассказывать мне о смерти отца, о том, как тот полюбил Ромильду и свою маленькую внучку, как оплакивали его смерть во всей округе. Тогда я спросил, что слышно о тете Сколастике, которая так дружила с кавалером Помино. Вдова Пескаторе, еще хорошо помнившая, как грозная старуха запустила ей в лицо комком теста, заерзала на стуле. Помино ответил мне, что она жива, но он уже года два не встречался с ней; затем он, в свою очередь, стал расспрашивать, что я делал, где жил и т. п. Я рассказал все, что можно было рассказать, не называя ни мест, ни имен, и дал им понять, что не очень-то развлекался эти два года. И вот так, беседуя, мы поджидали наступления дня, того дня, когда все должны были узнать о моем воскресении из мертвых.

Бдение и сильные переживания утомили нас. Кроме того, мы озябли. Чтобы мы хоть немного согрелись, Ромильда сама приготовила кофе. Наливая мне чашку, она взглянула на меня с легкой, грустной и какой-то далекой улыбкой:

– Ты, как всегда, без сахара?

Что прочитала она в тот миг в моем взгляде? Ее глаза тотчас же потупились.

В этих бледных предрассветных сумерках я внезапно ощутил, как к горлу моему подкатывает клубок, и с ненавистью посмотрел на Помино. Но под носом моим дымился кофе, опьяняя меня своим ароматом, и я стал медленно потягивать его. Затем я попросил у Помино разрешения оставить у них чемодан – я пришлю за ним, когда найду себе жилье.

– Ну разумеется, разумеется! – предупредительно ответил тот. – Ты не беспокойся: я сам тебе его доставлю.

– Ну, – сказал я, – он ведь пустой. Кстати, Ромильда, не сохранилось ли у тебя случайно что-нибудь из моих вещей – одежда, белье?

– Нет, ничего... – с сожалением ответила она, разводя руками. – Сам понимаешь, после этого несчастья...

– Кто мог представить себе? – воскликнул Помино.

Но я могу поклясться, что у него, скупого Помино, шея была повязана моим старым шелковым платком.

– Ну, хватит. Прощайте и будьте счастливы, – сказал я, пожимая им руки и пристально глядя на Ромильду, так и не поднявшую на меня глаз. Когда она отвечала на мое пожатие, рука у нее дрожала. – Прощайте! Прощайте!

Очутившись на улице, я снова почувствовал себя неприкаянным, хотя и был на родине: один, без дома, без цели.

«Что ж теперь делать? — подумал я. — Куда идти?» Я шел по улице, разглядывая прохожих. Возможно ли? Никто меня не узнавал. Но ведь я не так сильно изменился — каждый, завидя меня, мог бы, во всяком случае, подумать: «Как этот приезжий похож на беднягу Маттиа Паскаля! Если бы глаз у него немного косил, был бы вылитый покойник». Но нет, никто меня не узнавал, ибо никто обо мне больше не думал. Я не вызывал ни любопытства, ни хотя бы малейшего удивления... А я-то представлял себе, какой поднимется шум, переполох, едва только я покажусь на улицах Мираньо! Глубоко разочарованный, я испытывал такое острое унижение, досаду, горечь, что не могу даже передать. Досада и унижение мешали мне обращать на себя внимание тех, кого я-то сам отлично узнавал. Еще бы! Прошло два года!.. Вот что значит умереть! Никто, никто больше не помнил обо мне, словно я никогда не существовал.

Дважды прошел я по городку из конца в конец, и никто меня не остановил. Раздражение мое дошло до того, что я уже подумывал возвратиться к Помино, объявить ему, что уговор наш меня не устраивает, и выместить на нем обиду, которую, как я считал, нанес мне наш городок, не узнавая меня. Но ни Ромильда не последовала бы за мной по доброй воле, ни я не знал бы, куда ее вести. Сперва мне надо было обзавестись жильем. Я подумал, не пойти ли мне прямо в муниципальный совет, в отдел записи актов гражданского состояния, чтобы меня сразу же вычеркнули из списка умерших. Но по пути туда я переменил решение и отправился в библиотеку Санта-Мария Либерале, где застал на своем месте моего почтенного приятеля, дона Элиджо Пеллегринотто, который меня тоже сперва не узнал. Правда, дон Элиджо утверждал, что узнал меня с первого взгляда и готов был уже броситься мне на шею, но ждал только, чтобы я назвал свое имя, так как мое появление представилось ему настолько невероятным, что он просто не мог обнять человека, показавшегося ему Маттиа Паскалем.

Пусть будет так! Он первый горячо и радостно приветствовал меня, а затем почти насильно вытащил на улицу, чтобы изгладить из моей памяти дурное впечатление, произведенное на меня забывчивостью моих сограждан.

Но теперь, назло им, я не стану описывать всего, что произошло сперва в аптеке Бризиго, затем в «Кафе дель Унионе», когда, весь еще захлебываясь от радости, дон Элиджо представил завсегдатаям ожившего покойника. В один миг новость облетела весь городок, и люди, сбегавшиеся поглядеть на меня, засыпали меня вопросами. Они хотели, чтобы я сказал им, кто же был человек, утонувший в Стиа, как будто они сами, один за другим, не признавали в нем меня. А где же я-то был, я сам? Откуда возвратился? «С того света». Что делал? «Притворялся умершим!» Я решил ограничиваться этими двумя ответами — пусть болтунов сильнее грызет любопытство, и оно действительно грызло их довольно долгое время. Не удачливее прочих оказался друг Жаворонок,

явившийся взять у меня интервью для «Фольетто». Тщетно он с целью растрогать меня и заставить разговариваться принес мне номер своей газеты двухлетней давности с моим некрологом. Я сказал ему, что знаю его наизусть: «Фольетто» весьма распространен в аду.

– Да, да, благодарю, дорогой. И за надгробную плиту тоже... Я, знаешь ли, схожу поглядеть на нее.

Не стану пересказывать и «гвоздь» его следующего воскресного номера, где крупным шрифтом набран был заголовок:

МАТТИА ПАСКАЛЬ ЖИВ

В числе немногих, кто не захотел показаться мне на глаза, был, помимо моих кредиторов, Батта Маланья, который, однако же, по словам сограждан, два года назад изъявил глубочайшее сожаление по поводу моего варварского самоубийства. Охотно верю. Тогда, при известии о моем исчезновении на веки вечные, – глубочайшее огорчение; теперь, при известии о моем возвращении к жизни, – столь же величайшее неудовольствие. Я хорошо понимаю причину и того и другого. А Олива? Как-то в воскресенье я встретил ее на улице – она выходила из церкви, держа за ручку своего пятилетнего мальчугана, красивого, цветущего, как она сама. Моего сына! Она бросила на меня приветливый, смеющийся взгляд – и один этот беглый луч сказал мне столько...

Хватит. Теперь я мирно живу вместе с моей старой тетей Сколастикой, согласившейся приютить меня у себя в доме. Мое странное приключение сразу возвысило меня в ее глазах. Я сплю на той самой кровати, где умерла моя бедная мама, и провожу большую часть времени здесь, в библиотеке, в обществе дона Элиджо, который еще далеко не привел в должный порядок старые запыленные книги.

С его помощью я за полгода изложил на бумаге мою странную историю. И все, что здесь написано, он сохранит в тайне, словно узнал это на исповеди.

Мы долго обсуждали все, что со мной приключилось, и я часто говорил ему, что не усматриваю, какую мораль можно из этого извлечь.

– А вот какую, – сказал мне он в ответ. – Вне установленного закона, вне тех частных обстоятельств, радостных или грустных, которые делают нас самими собой, дорогой синьор Паскаль, жить невозможно.

Но я возразил ему, что, в сущности, не узаконил своего существования и не возвратился к своим частным личным обстоятельствам. Моя жена теперь жена Помино, и я не могу в точности сказать, кто же я, собственно, такой.

На кладбище в Мираньо, на могиле неизвестного бедняги, покончившего с собой в Стиа, еще лежит плита с надписью, составленной моим приятелем Жаворонком:

**ПОТЕРПЕВ ОТ ПРЕВРАТНОСТЕЙ СУДЬБЫ,
МАТТИА ПАСКАЛЬ,**

**БИБЛИОТЕКАРЬ.
БЛАГОРОДНОЕ СЕРДЦЕ, ОТКРЫТАЯ ДУША, ЗДЕСЬ ДОБРОВОЛЬНО
УПОКОИЛСЯ.
ТЩАНИЕМ ЕГО СОГРАЖДАН ПОЛОЖЕНА СΙΑ ПЛИТА.**

Я отнес на могилу, как и намеревался, венок из цветов и теперь иногда прихожу сюда поглядеть на себя – умершего и погребенного. Какой-нибудь любопытный следит за мной издалека и, хорошенько разглядев меня, спрашивает:

– Но вы-то кто ему будете?

Я пожимаю плечами, прищуриваюсь и отвечаю:

– Ах, дорогой мой... Я ведь и есть покойный Маттиа Паскаль.

1904

**Послесловие
О Щепетильных соображениях творческой фантазии³⁹**

Господин Альберт Хейнц из Буффало в Соединенных Штатах, раздираемый любовью, с одной стороны, к своей жене и, с другой – к некоей двадцатилетней девице, почел за благо пригласить и ту и другую на совет, дабы принять какое-то согласованное решение.

Обе женщины и господин Хейнц в назначенное время являются в условленное место. Они долго обсуждают вопрос и в конце концов приходят к соглашению.

Все трое решают покончить с собой.

Госпожа Хейнц возвращается домой, стреляется из револьвера и умирает. Тогда господин Хейнц и влюбленная в него двадцатилетняя девица, видя, что со смертью госпожи Хейнц отпали все препятствия к их счастливому соединению, соображают, что у них нет больше никаких причин для самоубийства, и решают остаться в живых и пожениться. Однако судебно-следственные власти расценили все совершенно иначе и арестовали их.

Какой тривиальный исход дела!

(См. нью-йоркские утренние газеты от 25 января 1921 года.)

Допустим, какому-нибудь злополучному драматургу придет в голову никудышная мысль изобразить подобный случай на сцене.

Можно с уверенностью сказать, что его творческая фантазия прежде всего проявит щепетильное стремление какими-либо героическими средствами исправить нелепость самоубийства госпожи Хейнц, дабы сделать его хоть сколько-нибудь правдоподобным.

Но с такой же уверенностью можно утверждать, что, к каким бы

³⁹ Первоначально Пиранделло опубликовал это послесловие в виде эссе в газете «Идея национале» от 22 июня 1921 года как ответ на критическую статью, и с того времени оно включалось во все издания романа.

героическим средствам ни прибегал драматург, девяносто девять театральных критиков из ста заявят, что самоубийство это нелепо, а сюжет пьесы неправдоподобен.

Наша благословенная жизнь полна самых бесстыдных нелепостей, и малых и больших, но она обладает тем бесценным преимуществом, что совершенно спокойно обходится без глупейшего правдоподобия, которому искусство считает себя обязанным подчиняться.

Нелепости, происходящие в жизни, не нуждаются в том, чтобы казаться правдоподобными, так как они на самом деле происходят — в противоположность нелепостям в искусстве, которым необходимо быть правдоподобными для того, чтобы показаться истинными. И вот, достигнув правдоподобия, они зато перестают быть нелепостями.

Случай из жизни может быть нелепым. Произведение искусства, если оно действительно произведение искусства, не может себе это позволить.

Отсюда следует, что глупо утверждать, будто то или иное произведение нелепо и неправдоподобно с точки зрения требований жизни.

С точки зрения требований искусства — да; с точки зрения требований жизни — нет.

В природе есть мир, населенный животными и потому изучаемый зоологией.

В число населяющих его животных включается и человек.

Зоолог может, говоря о человеке, сказать, например, что он животное не четвероногое, а двуногое и что, не в пример обезьяне, или, скажем, ослу, или павлину, у него нет хвоста.

С человеком, о котором говорит зоолог, никогда не может случиться такое несчастье, как, допустим, потеря ноги и замена ее деревянной, потеря живого глаза и замена его стеклянным. Человек, изучаемый зоологом, всегда обладает двумя ногами, и ни одна из них не деревянная; у него всегда два глаза, и ни один из них не стеклянный.

Спорить с зоологом невозможно: если вы покажете ему человека с деревянной ногой или со стеклянным глазом, он ответит вам, что это его не касается, так как это не человек вообще, а некий определенный человек. Правда, мы, со своей стороны, можем ответить зоологу, что человека, с которым он имеет дело, не существует, но зато существуют *человеки*, из которых ни один не тождествен другому и у которых, на их беду, бывают деревянная нога или стеклянный глаз.

Тут мы задаем себе вопрос: надо ли рассматривать как зоологов или как литературных критиков тех господ, кои, вынося суждение о романе, рассказе или пьесе, осуждают тот или иной персонаж, то или иное изображение событий и чувств не с точки зрения искусства, что было бы совершенно справедливо, а с точки зрения человечества, каковое они, видимо, очень хорошо знают, словно оно и впрямь существует в некоем абстрактном мире, то есть за пределами бесконечно разнообразной совокупности людей, способных творить все те

пресловутые нелепости, *которым незачем казаться правдоподобными, ибо они и без того вправду происходят?*

Между тем по своему личному опыту в отношении подобной критики я считаю весьма примечательным следующее обстоятельство. Зоолог считает, что человек отличается от прочих животных тем, что он мыслит, в то время как животные не мыслят. Однако способность мыслить (иначе говоря, то, что свойственно именно человеку) столько раз представлялась господам критикам не своего рода избытком человечности, а, напротив, ее нехваткой у многих моих невеселых персонажей. Для этих критиков, надо полагать, человечность есть нечто более относящееся к области чувства, чем разума. Но если уж говорить отвлеченно, как это делают критики, то, может быть, окажется верным и то, что человек никогда не мыслит так страстно (разумно или неразумно – это ничего не меняет), как тогда, когда страдает, потому что он ведь стремится узнать причину своих страданий, выяснить, кем они ему даны и справедливо ли даны. А когда он наслаждается, то упивается наслаждением, не рассуждая, словно наслаждение – его право.

Судьба животных – страдать, не рассуждая. Тот, кто страдает и в то же время мыслит (именно потому, что страдает), для этих господ критиков *не человечен*. И вот получается так, что тот, кто страдает, должен быть подобен животному, и *человечен* он только тогда, когда уподобляется животному.

Однако недавно я встретил критика, которому весьма благодарен.

Он спрашивает других критиков, откуда они берут критерий для того, чтобы говорить о моей *нечеловечной* и, видимо, неизлечимой «рассудочности», о парадоксальной неправдоподобности моих сюжетов и персонажей и с этих позиций судить о моем творчестве?

«Из так называемой нормальной жизни? – задает он вопрос. – Но что она такое, как не просто система отношений, которые мы выбираем из хаоса повседневных событий и произвольно именуем нормальными». И свое рассуждение он заканчивает так: «Мир, созданный искусством художников, можно судить только по критерию, почерпнутому из самого этого мира».

Должен добавить в похвалу этому критику по сравнению с другими критиками, что, взяв меня как бы под защиту, он, несмотря на это и даже именно поэтому, все же неодобрительно отозвался о моем произведении. По его мнению, я не сумел придать своему повествованию и своим персонажам общечеловеческое значение и смысл. Не сумел настолько, что тот, кто стал бы высказываться о моей вещи, неизбежно задал бы себе недоуменный вопрос: не сознательно ли я поставил перед собой ограниченную задачу – изложить некоторые любопытные случаи, своеобразные психологические состояния?

Но что, если общечеловеческое значение и смысл моих сюжетов и персонажей, в которых, как выражается названный критик, противопоставлены реальность и иллюзия, индивидуальность и ее общественное лицо, что, если это

общечеловеческое значение заключается именно в значении и смысле такого первичного противопоставления? И что, если само противопоставление реальности и иллюзии по содержанию своему всегда оказывается переменчивым, поскольку всякая сегодняшняя реальность неизбежно представится нам завтра иллюзией, однако иллюзией тоже неизбежной, а вне ее для нас никакой реальности не существует? Что, если этот общечеловеческий смысл в том и состоит, что какой-то мужчина и какая-то женщина, поставленные волей других людей или же собственной волей в положение тягостное, ненормальное с общественной точки зрения и, если угодно, нелепое, остаются в нем, терпят его и не скрывают от других то ли по своей слепоте, то ли по своему исключительному простосердечию, *пока не увидят его сами* ? Ибо, едва они его увидят, словно в зеркале, возникшем перед ними, они уже не смогут его терпеть, ощутят весь его ужас и выйдут из него или, если выйти из него для них невозможно, будут испытывать смертную муку. А может быть, общечеловеческий смысл в том и состоит, что мы принимаем положение ненормальное с общественной точки зрения, даже если видим это положение, как в зеркале, которое в данном случае кажется нам нашей иллюзией? Тогда мы словно играем на сцене, но при этом испытываем настоящие муки до тех пор, пока еще возможно играть под удушающей нас маской, которую мы сами на себя надели, которую нам навязали другие люди или жестокая необходимость, до тех пор, пока под этой маской какому-нибудь слишком уж живому нашему чувству не будет нанесена такая глубокая рана, что мы открыто восстанем, сорвем маску и растопчем ее.

«Тогда внезапно, – говорит уже упоминавшийся критик, – волна живой человечности захлестывает эти персонажи, марионетки становятся существами из плоти и крови, и из уст их вырываются слова, опаляющие душу, терзающие сердце».

Еще бы! Наше живое, неповторимое лицо выступило из-под этой маски, делавшей нас марионетками в наших собственных руках или в руках других людей, заставлявшей нас казаться жесткими, деревянными, угловатыми, незавершенными, неотделанными, сложными и напыщенными, как все то, что делается и заводится не само собою, а под давлением обстоятельств в положении ненормальном, невероятном, парадоксальном – одним словом, таком, что под конец мы уже не в силах терпеть и восстаем против него.

Следовательно, если возникает путаница, то она устроена сознательно, если чувствуется хитрая выдумка, то она тоже вполне сознательна. Но не я придумываю и запутываю, а сам сюжет, сами персонажи. И все это, в сущности, раскрывается внезапно: часто перипетии действия слагаются в одно целое тут же на месте и выставляются напоказ зрителям в тот самый момент, когда возникают и комбинируются. Здесь уже заключено все: маска для одного единичного спектакля; комбинации ролей; то, чем мы бы хотели или должны были быть; то, чем мы кажемся другим, в то время как сами лишь до известной степени понимаем самих себя; грубая, неясная метафора нашего подлинного существа;

сложное нередко сооружение, которое мы делаем из самих себя или которое из нас делают другие. Да, это действительно сложная выдумка, где каждый, повторяю, сознательно оказывается своей собственной марионеткой до тех пор, пока наконец всему этому балагану не наносится сокрушительный удар.

Думаю, что могу только порадоваться успехам моего воображения: отличаясь крайней щепетильностью, оно сумело представить в качестве вполне реальных жизненных неурядиц те, что оно само придумало, то есть недостатки в том искусственном сооружении, которое мои персонажи воздвигали над собой и над своей жизнью или которое воздвигли для них другие – словом, недостатки *маски*, пока она вдруг не оказывается сорванной.

Но еще большее утешение я почерпнул в самой жизни или, вернее, в хронике происшествий через двадцать лет после издания моего романа «Покойный Маттиа Паскаль», который сейчас снова выходит в свет.

Когда он появился в первый раз, то в почти единодушном хоре его критиков не было, пожалуй, ни одного голоса, который не упрекнул бы его за неправдоподобие.

Так вот, сама жизнь сооблаговолила дать мне доказательство его истинности, притом доказательство исключительно полное, вплоть до некоторых характернейших подробностей, в свое время изобретенных моей фантазией без чьей-либо подсказки.

Вот что напечатано было в «Коррьере делла сера» от 27 марта 1920 года:

«ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК ВОЗЛАГАЕТ ВЕНОК НА СВОЮ СОБСТВЕННУЮ МОГИЛУ

На днях обнаружился удивительный случай двоемужества, оказавшийся возможным вследствие того, что первый муж был признан умершим, но на самом деле оказался живым.

Изложим вкратце предысторию данного происшествия. В декабре 1916 года в районе Кальвайрате несколько крестьян вытащили из канала «Пять шлюзов» труп мужчины в фуфайке и коричневых брюках. О происшествии дано было знать в полицию, которая предприняла расследование. Вскоре после этого труп был опознан некоей Марией Тедески, моложавой женщиной лет сорока, а также некими Луиджи Лонгони и Луиджи Майоли и оказался телом электротехника Амброджо Казати ди Луиджи, рождения 1869 года, мужа Тедески. Утопленник действительно был очень похож на Казати.

Показания опознавших, как выяснилось, отнюдь не были бескорыстными, что в особенности относится к Майоли и Тедески. Настоящий Казати был, оказывается, жив! Он с 21 февраля предшествовавшего года находился в тюремном

заключении за присвоение чужой собственности и еще до того разошелся со своей женой, хотя они не разводились юридически. По истечении положенных семи месяцев Тедески вышла вторым браком за Майоли, не наткнувшись ни на какие бюрократические препоны. Казати отбыл срок наказания 8 марта 1917 года и только тогда узнал, что он... умер, а его жена вторично вышла замуж и выехала неизвестно куда. Все это выяснилось, когда он отправился в адресный стол на площади Миссори за справкой на предмет получения вида на жительство. Чиновник в окошечке беспощадно объявил ему:

– Но вы же умерли! Ваше законное местожительство на кладбище Музокко, общий участок, могила № 550...

Все возражения человека, требовавшего, чтобы его признали живым, оказались тщетными. Но Казати намеревается добиться своего права... на воскресение из мертвых, и когда в актах гражданского состояния будет сделано соответствующее исправление, второй брак его предполагаемой вдовы окажется аннулированным.

Однако это удивительное происшествие отнюдь не огорчило Казати. Наоборот, он, по-видимому, пришел в отличное расположение духа и, стремясь изведать новые ощущения, отправился на свою собственную могилу, чтобы в знак уважения к своей собственной памяти возложить на надгробный холмик охапку душистых цветов и возжечь над ним лампадку».

Предполагаемое самоубийство в канале; труп, вытасканный из воды и опознанный женой и другим человеком, вскоре на ней женившимся; возвращение живого покойника и, наконец, возложение цветов на собственную могилу! Все фактические данные те же, разумеется, без всего того, что придавало единичному факту общечеловеческие значимость и смысл.

Не могу предположить, что синьор Амброджо Казати, электротехник, прочитал мой роман и принес цветы на свою могилу в подражание Маттия Паскалю.

Между тем в жизни с ее великолепным презрением ко всякой правдоподобности могут найтись такой священник и такой муниципальный чиновник, которые соединят законным браком синьора Майоли и синьору Тедески, не позаботившись проверить один факт, о котором легко было навести справку, а именно: что первый муж, синьор Казати, находится не в могиле, а в тюрьме.

Воображение писателя, разумеется, оказалось бы слишком щепетильным, чтобы этим пренебречь. Теперь оно торжествует, вспоминая об упреке в неправдоподобии, который ему тогда бросали, и имея возможность показать всем и каждому, на какое вполне реальное неправдоподобие способна жизнь

даже в романе, где она, сама того не сознавая, подражает искусству.

«Маски» и «лица» персонажей Пиранделло

Луиджи Пиранделло (1867–1936) была присуждена Нобелевская премия по литературе в 1934 г. за драматургию и прозу. Выступив новатором в жанре новеллы и романа, писатель наибольших успехов добился в области театрального искусства. Он стал создателем в Италии в начале XX в. новой философской драмы. Но путь к этому был долгим.

«Я вышел из хаоса», «Я сын хаоса», – любил повторять Пиранделло. В год, когда он родился на Сицилии, там разразилась эпидемия холеры и семья будущего писателя укрылась от нее в небольшом загородном доме в окрестностях Агридженто. Место это называлось «Хаос». «Итак, я сын хаоса, – вспоминал Пиранделло, – и не аллегорически, а в самом прямом смысле, потому что я родился за городом, в том месте, которое находится возле густого леса и обитателями Джирдженти⁴⁰ на местном наречии называется «Хаос». Однако, называя себя «сыном хаоса», Пиранделло подразумевал и нечто большее – состояние Сицилии и всей Италии, недавно вышедшей из кровопролитной национально-освободительной борьбы (Рисорджименто), в которой участвовал и его отец. Отдельные области Италии, находившиеся прежде под властью итальянских или иностранных правителей, превратились в единое государство. Однако их население продолжало придерживаться старинных обычаев и традиций, заботиться о местных нуждах и говорить на своих диалектах. Это тоже был хаос, из которого еще только предстояло создать единую Италию.

Правящие круги страны проводили жесткую унитарную политику, не учитывая своеобразие местных условий, что вело к обострению отношений между разными частями Италии. На Сицилии в силу ее вековой экономической и культурной отсталости противоречия итальянской действительности ощущались более остро, так как новые социальные отношения приспосабливались здесь к традициям и нормам жизни, существовавшим еще с феодальной поры. Все это приводило к усилению оппозиционных настроений и неприятию политики «итальянцев из Рима», как говорили на Сицилии. И как представление о мире, утратившем гармонию и находящемся в процессе становления, в сознании Пиранделло возник образ хаоса.

Отец будущего писателя, состоятельный арендатор серных копей, хотел, чтобы сын получил техническое образование, но юный Пиранделло настоял на занятиях филологией сначала в университете в Палермо, а затем в Риме. Здесь он работает под руководством известного лингвиста Э. Моначи, по совету которого завершает свое образование в Германии. В 1891 г. Пиранделло заканчивает Боннский университет, написав работу о диалекте родной провинции. Вернувшись в Италию, он сотрудничает в журналах, с 1897 г.

⁴⁰ В 1927 г. было восстановлено старинное название города Агридженто (от древнегреческого Акрагант).

начинает преподавать итальянскую литературу в Римском университете, а с 1908 г. становится профессором этого университета.

Свою литературную деятельность Пиранделло начал не с поэзии, как принято думать, а с прозы. В 17 лет он написал небольшую новеллу из сицилийской жизни под названием «Домишко» (1884). Но это была лишь проба пера, о которой автор скоро забыл, обратившись к более трудному жанру, каким считалась поэзия. В 1889 г. выходит в свет его сборник стихов «Радостная боль», в котором Пиранделло обращается к античным мифам и образам. В его стихах чувствуется стремление к пантеистическому слиянию с природой, олицетворяющей царство чистоты и покоя, а также горькая насмешка над настоящим. В Бонне Пиранделло пишет две другие книги стихов: «Пробуждение Геи» и «Рейнские элегии», опубликованные в 1891 и 1895 гг., уже после его возвращения в Италию. В первой из этих книг культ языческой богини земли, связанный с прославлением природы и земных радостей, противостоит аскетическому идеалу смирения и умерщвления плоти. В «Рейнских элегиях» темы любви и природы переплетаются с прошлым и настоящим величественного Рейна. В 1896 г. выходит в свет перевод Пиранделло «Римских элегий» Гёте, который был духовно близок Пиранделло и своими языческими увлечениями.

Хотя Пиранделло и признавался, что вплоть до 1892 г. ему казалось невозможным писать иначе чем стихами, его настоящим призванием стала проза. Совет попробовать свои силы в прозе дал Пиранделло Л. Капуана, один из основателей и теоретиков веризма, нового литературного направления в Италии. Веризм (от слова «всего» – истинный, правдивый) возник после завершения национально-освободительного движения и создания единого государства как отражение нового умонастроения эпохи.⁴¹ Веристский кружок, куда входили видные писатели, литературные критики и журналисты Дж. Верга, Л. Капуана, Л. Стеккетти, Ф. Камерони, образовался в Милане около 1878 г. Выступая с критикой искусства Рисорджименто, ориентировавшегося главным образом на прошлое, веристы ставили своей задачей создание современной литературы, способной показать итальянское общество на новом этапе его развития.

Веристское движение возникает на базе позитивизма и опирается на теоретические труды и художественное творчество французских натуралистов, и прежде всего Э. Золя. Главным для веристов становится требование объективного изображения действительности. Вслед за своими французскими собратьями по перу веристы придают важное значение собиранию и использованию в произведении искусства жизненных фактов, или «человеческих документов». Другим не менее важным требованием веристской эстетики является изучение «среды», которую писатели понимают достаточно широко, включая в это понятие все, что окружает человека и воздействует на него, в том

⁴¹ Термин появился около 1870 г. для обозначения искусства, близкого к природе. Из изобразительных искусств он проник в литературу и с конца 1870-х гг. стал употребляться наравне с понятиями «реализм» и «натурализм».

числе и природу. Придерживаясь принципа детерминизма – причинной обусловленности человеческого поведения, веристы полагали, что наряду с внешними причинами психология формируется и под влиянием причин внутренних – особенностей данного организма, т. е. физиологии. «Жизнь души» рассматривалась ими как некая функция организма и вместе с тем ставилась в прямую зависимость от условий существования. Пороки отдельного человека они объясняли неблагополучным состоянием общества и его негативным воздействием на индивида. Таким путем писатели пытались вскрыть общественные причины социального зла.

В своем творчестве веристы обратились к жанру наброска, зарисовки с натуры, который они заимствовали из живописи и который полностью отвечал их требованию объективного изображения действительности. В «наброске» («боццетто») в сжатой форме описывалось какое-либо событие или давалась психологическая зарисовка нравов. Он заключал в себе «человеческий документ», который, по мнению веристов, своей горькой правдой сильнее, чем вымысел, воздействует на душу. Веристская новелла и роман тесно связаны с «боццетто». Новелла отличается краткостью, лишена занимательной интриги и трагической концовки, представляя собой жизненный факт или «ломоть действительности». Роман складывается из многих «ломтей действительности», являя собой серию картин или набросков с натуры. Писатели-веристы полагали, что осуществить объективное, «научное» изучение действительности можно в рамках романа из современной жизни, который они провозгласили всеобъемлющим литературным жанром нового времени.

В духе такого классического в своей форме веризма и написана новелла Пиранделло «Домишко», которая носит подзаголовок «Сицилийский набросок» и по своей проблематике близка к сицилийским новеллам Дж. Верги из сборника «Жизнь полей» (1880). Рассказ Пиранделло состоит из пяти «боццетто», в которых на фоне живописного пейзажа рассказывается о любви молодого батрака к дочери его хозяина, о побеге влюбленных и о бессильной ярости ее отца, сжигающего свой домишко. Герои Пиранделло неотделимы от «среды» и так же вписаны в пейзаж, как и персонажи Верги.

Однако очень скоро эта отчетливая ориентация на классический веризм сменяется поисками новых путей в искусстве. Пиранделло увлекается поэзией, а затем в Германии погружается в изучение немецкой литературы и философии. Он интересуется философскими и эстетическими проблемами в тесной связи с психологией, о чем свидетельствуют заметки из его «Боннской записной книжки». В этих записях и статьях конца 1880-х – начала 1890-х гг. Пиранделло говорит о том, что современной прозе не хватает непосредственности выражения, а следовательно, и жизненности. Он утверждает, что новое поколение утратило гармонию, которой в полной мере обладали лишь древние греки, имевшие «четкое представление о жизни и человеке». Пиранделло приходит к заключению, что в последнее десятилетие наблюдается «большой сдвиг идеалов» и что позитивная философия уже не может разрешить

волнующих его поколение вопросов.

В 1890-е гг. Пиранделло знакомится в Риме с Л. Капуаной, который становится его «другом и наставником», и начинает посещать литературный кружок, собиравшийся в его доме. Он принимает участие в обсуждении стихов, рассказов, статей членов кружка, а также читает то, что пишет сам. В это время Пиранделло стоит ближе к Капуане, чем к Верге, восприняв интерес Капуаны к изучению странных психологических «казусов». Свой первый роман «Марта Айала» (1893) о судьбе женщины, которую предрассудки общества едва не приводят к гибели, Пиранделло написал под влиянием Капуаны, который сам разработал эту тему с трагической развязкой в романе «Джачинта» (1879), посвященном Золя. Опубликованный в журнале роман получил более общее название – «Отверженная» (1901), а в отдельном издании 1908 г. он посвящен Капуане. Как будто роман Пиранделло развивается в традициях веризма: здесь есть «среда» – провинциальный сицилийский город, где сознание людей особенно цепко держится за старые традиции и нравственные нормы. Есть и «факт»: муж, обвинив жену в измене на основании одного лишь подозрения, изгоняет ее из дома. Однако Пиранделло показывает случайность, даже иллюзорность «факта», который не соответствует реальному положению вещей, ибо Марта не изменяла мужу. Но, раз возникнув, факт измены влияет на судьбу персонажей. Весь город ополчается против опозоренной женщины, когда же происходит ее настоящее падение и она ждет ребенка от другого мужчины, муж прощает ее и возвращает под родной кров, а сограждане возвращают ей свое уважение.

Конфликт веристского романа, заключающийся в столкновении личности и общества (например, в романе «Джачинта»), заменяется в «Отверженной» проблемой несоответствия реального облика героини и представлений о ней окружающих, поэтому и разрешение этого конфликта у Пиранделло не трагическое, а, скорее, комическое. Сам Пиранделло называл свой роман юмористическим и жаловался, что критика не уловила этой направленности книги. Ирония и юмор не были чужды веристскому искусству. Капуана использовал иронию в «Джачинте», чтобы, как и Флобер в «Мадам Бовари», снизить трагическую развязку. У Пиранделло смысл иронии – в утверждении взгляда на жизнь как на некую игру человеческих судеб, идей или, вернее, иллюзий. В «Отверженной» писатель дал, по сути дела, новое понимание важнейших веристских постулатов.

Отход Пиранделло от веризма, отказ от изображения «среды» и ее определяющего воздействия на человека, взгляд на жизнь как на столкновение трагических и комических случайностей, внимание к подсознательным импульсам, влияющим в большей степени на психологию, чем сознание, еще более явно обнаружилось в сборнике рассказов «Любовь без любви» (1894) и в небольшом романе «Очередь» (1902).

В конце XIX – начале XX в. Пиранделло уже стоял на пороге выработки нового художественного метода, получившего впоследствии название

«юморизма». Первую попытку определить свое изменившееся отношение к действительности и дать оценку состоянию искусства того времени он предпринял в статье «Искусство и современное сознание» (1893), в которой более подробно говорит о кризисе идеалов, переживаемом молодым поколением, о его безверии и разочарованности. Подвергая критике позитивизм за его неспособность в новых условиях объяснить быстро меняющийся мир, Пиранделло все же не отказывается от науки, выделяя психиатрию, которая одна, по его мнению, помогает понять внутреннюю жизнь человеческого «я». Пиранделло ссылается при этом на труды по психиатрии Б.О. Мореля, М. Нордау, на книги Ч. Ломброзо. Позднее он назовет и книгу А. Бине «Изменения личности» (1892), которая произвела на него глубокое впечатление. Пиранделло заинтересовался также работой итальянского ученого Дж. Маркезини «Уловки души» (1905), посвященной той же проблеме. Эти труды как будто подтвердили мнение Пиранделло о том, что не существует «единой души», а следовательно, и единой психологии, которую изучали веристы. На ее место Пиранделло ставит комбинацию случайных и непрочных душевных состояний, составляющих, по его убеждению, психическую жизнь индивида. В этих мыслях получил отражение новый взгляд на личность.

На рубеже XIX–XX веков личность рассматривается уже не как нечто стабильное, зависимое от условий существования, а как меняющееся и непостоянное. Философское обоснование изменчивости личности находили в теории относительности Эйнштейна, из которой заимствовались лишь самые общие положения. Это вело к отрицанию закономерностей развития и причинной обусловленности явлений. В действительности видели проявление самых общих законов, содержание которых легко могло изменяться. Заменяя детерминизм понятием относительности и случайности, освободили и личность от всех общественных связей. Личность получила подвижность; в ней принялись исследовать не объективные закономерности эпохи, а субъективно понятую психическую жизнь. Этому способствовало также распространение фрейдистских идей. Новый взгляд на личность формируется у Пиранделло не без влияния и его семейной драмы – разорение отца и тяжелая психическая болезнь жены, – что лишний раз как будто подтверждало мысль об изменчивости и нестабильности человеческой судьбы.

Свое новое отношение к проблеме личности и ее воплощению в искусстве Пиранделло изложил в книге «Юморизм» (1908). Жизнь в представлении писателя – бесконечный поток, постоянно изменяющийся вокруг нас и в нас самих, и в том, что «мы называем душою и что составляет все живое, этот поток продолжается незаметно... образуя наше сознание, конструируя нашу личность». Этот поток, составляющий глубинную жизнь индивида, не прекращается ни на минуту и получает отражение, или фиксируется, как говорит Пиранделло, в отдельных «формах». Затем он назовет эти «формы» «масками». Это – наши представления о нас самих и об окружающих, которые могут выразить лишь часть кроющейся в нас глубинной жизни. «Формы», т. е. наша

сознательная жизнь, непостоянны и временны и легко могут быть разрушены мощным жизненным потоком.

Ставя «жизнь души» в зависимость от подсознания, Пиранделло утверждает, что в одном человеке сосуществует много душ и что наше «я» многолико. Так человеческая личность теряет свои четкие контуры и раздваивается. О комическом раздвоении собственной личности Пиранделло писал еще в 1890-е гг. в письме к своей будущей жене Антониетте Портулано: «Во мне заключены как бы два человека. Ты уже знаешь одного, другого даже я сам не знаю хорошенько. Я имею обыкновение говорить, что во мне живет «Я» большое и «я» маленькое. Эти два синьора почти постоянно ведут между собою войну, так как один испытывает неприязнь к другому. Первый молчалив и постоянно погружен в свои мысли, второй – легко ведет беседу, шутит и не прочь посмеяться и посмешить... Я полностью разделен между этими двумя лицами».

То же предпочтение стихийного начала логике и разуму характерно и для определения творческого процесса: Пиранделло полагает, что художественное произведение создается «свободным движением внутренней жизни, которое преобразует идеи и образы в гармоническую форму» – мысль, впервые высказанная им еще в 1890-е гг., но теперь эта мысль получает воплощение в новом художественном методе писателя, который он назвал «юморизмом». Пиранделло понимал под «юморизмом» разрушение иллюзий с помощью рефлексии, которой подвергают себя его персонажи; их драма, считал писатель, заключает в себе момент сострадания, поэтому трагическое и комическое, сосуществуя в жизни, отражают «чувство контраста», присущее юмористическому произведению в понимании Пиранделло. Только метод «юморизма» позволит художнику в полной мере раскрыть противоречивую сущность личности в постоянно меняющемся мире.

Философско-эстетические идеи книги «Юморизм» находят полное воплощение в художественном творчестве Пиранделло, сначала в прозе, затем в драматургии. Он написал еще пять романов. Самым известным из них является «Покойный Маттиа Паскаль» (1904). Проблема непонимания героини окружающими в «Отверженной» перерастает теперь в более общую, даже глобальную проблему отчуждения индивида в современном мире – трагедию личности, в которой, по мысли Пиранделло, раскрываются важнейшие противоречия эпохи. Порывая связи с враждебной действительностью и создавая воображаемый мир, человек уходит в иллюзорный мир, а по сути дела, в пустоту. Такой путь проходит и герой романа «Покойный Маттиа Паскаль». Сначала он ведет унылое существование в провинциальном городке на Лигурийском побережье, находясь на нищенском жалованье библиотекаря и проводя время среди пыльных книг, которых никто не читает, и мышей. Семейные дразги, смерть детей, одинокие прогулки по пляжу, чтобы хоть как-то убить время и отделаться от скуки, и, конечно, мечты об освобождении. Неожиданно случай помогает Маттиа – в Монте-Карло он выигрывает в рулетку крупную сумму

денег. Он думает уехать в Америку, чтобы обрести свободу. И снова случай помогает ему – из газет он узнает, что в его родном городке найден утопленник, в котором жена и родные опознали Маттиа. Мечты о свободе как будто становятся реальностью. Маттиа решает отказаться от привычного существования и «маски», которую носил, и начать новую жизнь. Но так как «лицо», сущность человека, по мнению Пиранделло, не совпадает с его «маской», Маттиа принужден надеть на себя новую «маску» – иначе ему нет места в обществе. Для этого ему нужно создать себя как бы заново, изменив даже внешность: он бреет усы и бороду, надевает другой костюм и темные очки, так как один глаз у него косит (позднее он подвергнет себя операции, чтобы избавиться от этого недуга). Он придумывает себе новое имя – Адриано Меис и новую биографию. Под «маской» Адриано Меиса он сначала наслаждается свободой: путешествует, а затем поселяется в Риме в обычной мещанской семье.

Однако очень скоро Маттиа замечает, что его новое существование, по сути дела, мало чем отличается от прошлой жизни и его новая «маска» оказывается еще более стесняющей, чем прежняя. У него нет паспорта, а следовательно, и юридического лица: он не может потребовать удовлетворения за оскорбление, не может заявить в полицию о краже денег, он не может даже ответить на чувства милой и нежной девушки, дочери хозяев его квартиры, полюбившей его. Маттиа в полную меру ощущает свою несвободу и зависимость от «маски» Адриано Меиса. И тогда он еще раз принимает решение освободиться и вернуться к прежней жизни. Предварительно он инсценирует самоубийство и снова меняет свою внешность, чтобы походить на Маттиа Паскаля. Он садится в поезд и едет в родной город. Ему кажется, что он оживает и становится самим собой. Но и это новое освобождение оказывается очередной иллюзией, и возврат к прошлому оборачивается возвращением в пустоту – его место в жизни занято: жена вышла замуж за другого, в библиотеке – другой библиотекарь, и на кладбище под могильной плитой с его именем лежит другой человек.

Маттиа потерял все, чем обладал раньше, даже имя. Теперь он – «бывший Маттиа Паскаль», и у него нет преимущества, которое было прежде, твердого убеждения, что он – это он и никто другой. Он уже ни о чем не мечтает, а, сидя в библиотеке, пишет воспоминания. Так параболы жизни героя Пиранделло завершилась: от несвободы через эксперимент обретения этой свободы он вернулся к тому, с чего начал, потерпев неудачу в попытке «выразить» себя. Да это и невозможно, считает Пиранделло. Одним из первых европейских писателей (и задолго до экзистенциалистов!) он понял и показал трагедию человеческой личности, отчужденной от самой себя. С образом Маттиа Паскаля в творчество Пиранделло вошел не только герой, который стал символом раздвоенного, больного сознания своего времени, но и герой, которому не дано «осуществить» себя, – и в этом суть иронии Пиранделло.

Переведенный на французский и немецкий языки роман сделал известным имя Пиранделло за пределами Италии, а на родине писателя он не вызвал ни энтузиазма, ни похвал – итальянцы еще не были готовы воспринять новаторские

идеи Пиранделло.

Мысль о своеобразном круге, который прошел Маттиа Паскаль, в расширенном плане повторяется в идее круговорота событий и человеческих судеб в романе «Старые и молодые» (1909). Здесь на примере Италии после окончания Рисорджименто Пиранделло высказывает свой взгляд на историю не как поступательное движение, а как топтание на месте, в лучшем случае – возвращение к своим истокам. Этот тезис писателя звучит и в эпиграфе к роману: «Моим детям – сегодня молодым, завтра старым». Всем суетным стремлениям многочисленных персонажей романа Пиранделло противопоставляет прозрение нескольких из них, понявших, что высшей мудростью является желание «просто жить», ни во что не вмешиваясь, за что подчас тоже приходится расплачиваться жизнью.

Проблеме творчества и состоянию современного ему искусства Пиранделло посвятил роман «Ее муж» (1911), получивший в процессе переработки название «Джустино Рончелла, урожденный Боджоло». Новым названием писатель хотел подчеркнуть мысль, что в жизни муж занял место, предназначенное жене. Пиранделло утверждает в романе идею о том, что в искусстве получает отражение не столько логическая деятельность рассудка, сколько непосредственное чувство художника. Поэтому всем дельцам от искусства, в том числе и собственному мужу, противостоит героиня романа, скромная писательница, в которой воплощен подлинный идеал искусства, не подчиняющийся никаким выкладкам ума и денежным расчетам.

Сложным взаимоотношениям жизни, искусства в его высоком понимании и кино как некоего суррогата подлинного искусства, способного, по мнению Пиранделло, лишь копировать действительность, посвящен роман «Снимается кино» (1916), озаглавленный затем «Записки Серафино Губбьо, кинооператора». И, наконец, в последнем романе Пиранделло «Кто-то, никто, сто тысяч» (1926) мысли об отчуждении, одиночестве, бессмысленности существования выражены особенно отчетливо. Идея субъективного восприятия действительности и раздвоения личности, существующей в восприятии других людей, не совпадающем с ее сущностью, заставляет героя романа в поисках самого себя порвать всякие связи с обществом, отказаться от богатства и поселиться в приюте в надежде, что лишь «растительное существование» поможет ему обрести душевный покой.

Под пером Пиранделло изменяется не только содержание романа по сравнению с веристскими романами, меняется и его структура. Веристский роман строился по «методу картин» («Джачинта» Капуаны, «Семья Малаволя» Верги и др.). Смена картин в их неторопливом ритме создавала иллюзию реальной жизни. Отказ Пиранделло от изображения «среды», погружение в глубинную внутреннюю жизнь персонажа, взгляд на действительность как на хаос, в котором безраздельно господствует случай, помогающий проявиться разным сторонам психической жизни персонажа, – все это привело писателя к взгляду на роман как на серию эпизодов, в которых разные сюжетные линии

иногда сталкиваются, а чаще существуют самостоятельно. В романах нет единого стержня повествования, а замедленное развитие действия создает ощущение растянутого времени, в котором случайное сцепление обстоятельств выступает как главный двигатель происходящего.

Новеллистика – другой важный аспект творчества Пиранделло. Он писал новеллы на протяжении всей жизни и часто обращался к ним как источнику своих пьес. С 1900 по 1919 г. Пиранделло написал более двухсот новелл, которые выходили отдельными сборниками, а позже были объединены под общим названием «Новеллы на год» (I–XIII тт. – с 1922 по 1928 г., XIV и XV тт. – 1934 г. и 1937 г.). В этих рассказах жизнь предстает как калейдоскоп, в котором сталкиваются различные человеческие судьбы, и читатель становится участником жизненных драм и комических ситуаций. В новеллах Пиранделло, как и в жизни, трагедия и фарс соседствуют. И в этот хаотический и вечно меняющийся мир постоянно – и неожиданно – вторгается случайность, которая все запутывает, распутывает и меняет лики. Идеи одиночества, отчуждения, «лица» и «маски», омертвляющей это «лицо», стремление персонажей разбить свою «маску» и стать хотя бы на несколько мгновений самим собой – все это и составляет живую ткань рассказов. «Где же выход из этого скорбного и тягостного существования?» – как бы спрашивает писатель. Как можно обрести самого себя? Пиранделло видит единственный выход – уйти от общества, от людей на лоно природы, слиться с окружающим миром, почувствовать себя его частицей, отказавшись от рассудка и памяти. Такова общая тональность новеллистики Пиранделло.

Сначала он продолжал писать на темы, близкие веризму, обратившись к сицилийскому материалу. Жизнь в его новеллах иногда предстает в своем комическом аспекте («Глиняный кувшин», «Живая и мертвая»). Иногда же – это трагедия, причиной которой являются жестокость близких и непонимание окружающих («Черная шаль»). Драматична история двух молодых людей, которых жизнь развела в разные стороны и сделала чужими («Сицилийские лимоны»). Подчас трагедия может обернуться фарсом правосудия («Чистая правда»), и только глубокое горе вызывает чувство сострадания («Брачная ночь»). В этих новеллах не только смех и слезы, есть в них и глубокий лиризм, который рождается от чувства сопричастности человека и природы, как в истории бедного, забитого рабочего на серной шахте, который, впервые увидев на ночном небе луну, заливавшую землю своим ясным светом, заплакал от умиления, почувствовав себя утешенным во всех горестях («Чаула открывает луну»). Как светлячок светит в ночи (в Сицилии его называют «пастушья свечка»), так и любовь пробивается через все препоны и распри («Свинья»). А счастье материнства Пиранделло сравнивает с солнцем, освещающим человеческую жизнь («Счастье»).

Новеллы Пиранделло, подобно его романам, все больше насыщаются философским содержанием. Его герои, окончательно оторвавшись от «среды», живут в своем особом мире, который чище их обыденного пошлого

существования («Некоторые обязательства»), или предпочитают смерть, желая остаться навечно в мире своих грез («Длинное платье»). Истинной оказывается не та жизнь, в которую человек погружен повседневно, а та, что вдруг, нечаянно открывается ему («Свисток поезда»), и в сознании бесполезно прожитой жизни кроется настоящая трагедия («Соломенное чучело»). В этом мире лишь горечь пережитого может на несколько мгновений сблизить бывших врагов, пробудив в них чувство жалости («Скамья под старым кипарисом»).

Одной из самых ужасающих бед современного человека Пиранделло считал одиночество, выходом из которого часто оказывается смерть («В молчании»). Лучше принять смерть, чем жить с истерзанной душой, – так и поступает героиня новеллы «В самое сердце». Лишь немногие персонажи Пиранделло отваживаются разорвать душющие их условности («Тесный фрак») или попросту пренебречь ими («Подумай, Джакомино!»). Комическую интерпретацию темы отчуждения и стирания личности Пиранделло разработал в новелле «Незабвенная душа», героиня которой чем-то напоминает чеховскую Душечку. Пустота, фальшь и лицемерие, неспособность к состраданию прикрываются в обществе «маской» добропорядочности («Все как у порядочных людей»). Но порой даже у самых респектабельных людей появляется желание взглянуть на свою «форму» со стороны, сбросить хотя бы на миг свою «маску», чтобы хотя бы на миг почувствовать себя свободным («Тачка»). Если же герой хочет продлить этот миг свободы, он отказывается навсегда от своей привычной жизни, чтобы погрузиться в мир живой природы – жить «жизнью травинки», стать подобно растениям, птицам, зверям, и смерть тогда совсем не страшна («Пой-Псалом»).

Наряду с зеленым, цветущим деревом – символом животворной, обновляющей человека силы (образ, широко распространенный в натуралистической и веристской литературе), у Пиранделло появляется и образ засыхающего дерева как символ увядания доброты и человеколюбия («Скамья под старым кипарисом»).

Многие новеллы Пиранделло заключают в себе парадоксы, отражая парадоксальность жизненных ситуаций («Три мысли горбуны», «Живая и мертвая» и др.).

Воплощая свои философско-эстетические идеи в новеллах и романах, Пиранделло мечтал о театре. Его зрелая драматургия венчает творческий путь писателя и свидетельствует о новом взлете его таланта. Именно в театре в полной мере проявились оригинальность мысли и режиссерское новаторство Пиранделло, благодаря которым он стал реформатором драмы в Италии.

На рубеже XIX–XX веков на итальянской сцене, помимо веристских пьес, господствовали семейно-психологические драмы Р. Бракко, связанные еще с веризмом; пьесы о «сильной» личности и сильных страстях Г. Д'Аннунцио, а также неоромантические драмы на исторические сюжеты Сема Бенелли. Однако постепенно итальянские писатели начинают отходить от этих традиционных форм и усваивать опыт создателей «новой драмы»: Г. Ибсена, А. Стриндберга,

М. Метерлинка, Г. Гауптмана, Б. Шоу, А. Чехова.

Первую попытку обновления итальянского театра предприняла группа писателей, создавших театр «гротесков»: Л. Кьярелли, П. М. Россо ди Сан Секондо, Л. Антонелли и др. Отказавшись от внешнего бытописания и событийности, они пытались углубиться во внутренний мир человека, раскрыть движения духа и нюансы чувств. В пьесах Кьярелли («Маска и лицо»,⁴² 1916) и Россо ди Сан Секондо («Марионетки, сколько страсти!», 1918) Пиранделло привлекла проблема противоречия между видимостью («маской») и сущностью («лицом») человека, а также и уподобление людей марионеткам, лишенным всякой индивидуальности (у Россо ди Сан Секондо персонажи называются «Синьор в сером», «Синьора с голубым песком», «Певица» и т. п.).

В своей театральной реформе Пиранделло опирался на опыт создателей европейской интеллектуальной драмы, а также на достижения театра «гротесков». В области драматургии он шел тем же путем, что и в прозе, – от ранних пьес, написанных в традициях веризма, к новой философской драме, воплотившей идеи его книги «Юморизм».

В первых веристских пьесах, многие из которых являются переделками его новелл: «Сицилийские лимоны» (1910), «Подумай, Джакомино!» (1916), «Лиола» (1916), «Глиняный кувшин» (1917), «Колпак с бубенчиками» (1917), и других уже проявляется ирония Пиранделло в интерпретации эстетических принципов веризма. Лучшей среди этих пьес является жизнерадостная комедия из сицилийской жизни «Лиола», в которой крестьянский парень и поэт по прозвищу Лиола, живущий в полном согласии со здоровыми требованиями природы и естественной нравственности, противостоит миру сельских богатеев и накопителей. Конфликт, возникший из-за корыстных интересов, разрешается в парадоксальном плане – в борьбе не за красавца, бедняка Лиода, а за богача, немощного старика.

К 1920-м годам основной задачей Пиранделло становится воплощение на сцене новых идей о театре как зрелище, что потребовало от него коренной ломки старых представлений о режиссуре. Именно в эти годы, развивая традиции интеллектуальной драмы Ибсена и особенно Шоу и обогащая их достижениями театра «гротеска», Пиранделло создает свои самые известные философские пьесы: «Шесть персонажей в поисках автора» (1921), «Генрих IV» (1922), «Каждый по-своему» (1924), «Сегодня мы импровизируем» (1930) и др. В этих пьесах с особой остротой ставится проблема отчуждения и невозможности самовыражения человека, противоречия «лица» и «маски», реальности и мечты, относительности истины и т. п. Первой попыткой сценического воплощения идеи «драмы-спектакля», в которой действующим лицом выступает сам театр, стала программная пьеса Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора». Драматург предпослал ей предисловие, в котором обосновывает философские принципы своей пьесы и рассказывает историю ее написания. Тема

42 Жанр своей пьесы Л. Кьярелли определял как «гротеск», отсюда и название всей группы драматургов.

«нереализованного» персонажа была подсказана Пиранделло Капуаной, который в последней новелле сборника «Малый Декамерон» (1901) набросал драму двух влюбленных, «требовавших» от автора завершить их историю.⁴³ Но то, что для Капуаны осталось психологическим «казусом», превратилось для Пиранделло в важный эстетический принцип. Этой темы он коснулся в новелле «Трагедия персонажа» (1911) и более подробно разработал ее в пьесе. Относя себя к «писателям-философам», Пиранделло не нашел «особого» смысла в жизненной драме шести персонажей, которых однажды привела к нему его «служанка» (фантазия), и не стал писать о них ни новеллу, ни роман. Но, созданные воображением и не получившие воплощения в произведении искусства, персонажи обрели неполную жизнь и мучились своей «недосозданностью». Желая избавиться от них, Пиранделло решил выпустить их на сцену. Он попытался вскрыть творческий процесс, показать, как создается художественное произведение и как соотносятся в этом процессе воображение и действительность, искусство и жизнь.

Идея придать действию большую театральность заставила Пиранделло обратиться к приему «театра в театре», популярному еще в эпоху Возрождения. В пьесе Пиранделло занавес поднят, на сцене актеры, занятые репетицией новой пьесы. В этот момент из зрительного зала появляются освещенные ярким светом шесть персонажей: Отец, Мать, Сын, Падчерица, мальчик 14 лет и девочка 4 лет. Чтобы отделить персонажей от актеров труппы, Пиранделло использовал прием импровизированной комедии и «надел» на персонажей маски, выражающие суть каждого из них: Отец – угрызение совести, Мать – страдание, Сын – презрение, Падчерица – месть. Персонажи ищут автора, который воплотил бы их в художественные образы, и предлагают режиссеру поставить их драму на сцене. Пиранделло намеренно сталкивает два плана: реальный (актеры, репетирующие пьесу) и нереальный, фантастический (персонажи из ненаписанной комедии). Созданные воображением персонажи, по мысли Пиранделло, так же реальны, как и актеры, и еще более реальны, чем сама жизнь.

Драма персонажей начинается обыденно и заканчивается трагически. Это история семьи, в которой Отец, думая, что жена влюблена в другого, оставляет ее. Она уходит к секретарю своего мужа и счастливо живет с ним, оставя старшего сына. У нее рождается еще трое детей. После смерти секретаря семья возвращается в родной город. Это – прошлое. Настоящее семьи более драматично. Старшая дочь (Падчерица), чтобы спасти родных от нищеты, становится на путь порока, встречаясь с мужчинами в заведении некоей мадам Паче. Отец, узнав обо всем, раскаивается и поселяет семью в своем доме. Здесь разыгрывается новая трагедия. Старший сын отворачивается от Матери и не признает ее незаконных детей, Падчерица не хочет примириться с Отцом. Семейный конфликт завершается смертью детей: в бассейне тонет маленькая

43 См.: Капуана Л. Рассказ доктора Маджолли // Искусство и художник в зарубежной новелле XX века. Л., 1985. С. 281–286.

девочка и стреляется Младший сын. Режиссер, сбитый с толку всем, что происходит, не может отличить, где игра, а где реальность, и прерывает спектакль. Четверо персонажей покидают сцену – им так и не удалось воплотить себя в искусстве.

В пьесе нет последовательного развития сюжета. Драма персонажей раскрывается то в их рассказе, то в показе на сцене отдельных моментов из их жизни (например, встреча Падчерицы и Отца в заведении мадам Паче), то в финале – смерти двух детей. Эта смерть такая же фантастика, превращенная в реальность, как и появление на сцене мадам Паче, которой не было в числе персонажей. Такова сила искусства, которое может, по утверждению Пиранделло, не только заменять жизнь, но и опережать ее. Он поставил искусство на уровень действительности, противопоставив правдоподобию реальность иллюзии.

Прошлое, настоящее и непосредственная реальность как бы сосуществуют в пьесе Пиранделло, что позволяет ему глубже раскрыть драму персонажей. Эта драма психологическая, однако в ней отразился и социальный момент – трагическое положение индивида в современном писателю обществе, что он подчеркнул в судьбе Падчерицы.

Проблему отчуждения и разобщенности людей своего времени драматург попытался обосновать философски с помощью неадекватности «лица» и «маски». В пьесе «маски» всех персонажей отражают лишь малую долю их глубинной внутренней жизни. Только «маска» Матери совпадает с ее истинным лицом страдающей женщины, целиком поглощенной одним чувством – любовью к детям.

Постановка «Шести персонажей» в Риме ознаменовалась скандалом; пьеса шла под громкие крики негодования и одобрения зрителей, большинству из которых трудно было отказаться от традиционных представлений о театре и воспринять новаторские идеи Пиранделло.

Проблему «драмы-спектакля» Пиранделло разрабатывает в двух других пьесах: «Каждый по-своему» и «Сегодня мы импровизируем», составивших вместе с «Шестью персонажами» «театральную трилогию». В новых пьесах, используя тот же прием «сцены на сцене», Пиранделло создает яркое театральное представление, стирая традиционные грани между режиссером, актерами и зрителями. Актеры как бы получают возможность импровизировать, а зрители – непосредственно участвовать в развитии действия. Так актеры, режиссер и зрители как бы вместе создают спектакль – «чудо искусства», которое длится мгновение. Пиранделло особо подчеркнул роль режиссера в творении этого «чуда».

Пьеса «Генрих IV» по праву считается одной из самых глубоких философских драм Пиранделло, которую иногда ошибочно именуют фарсом. Главный герой (настоящее его имя не называется) выступает только под «маской» германского императора Генриха IV, жившего в XI в., а его одинокая вилла предстает как императорский замок с тронным залом. Другие персонажи

пьесы выступают под своими собственными именами и под именами исторических лиц. Но пьеса Пиранделло не историческая, а философская. В ней рассказывается не об участии германского императора, вступившего в конфликт с папской властью, а о трагической судьбе одинокого человека, испытавшего предательство в любви и дружбе.

Действие пьесы развивается в двух планах – прошлом и настоящем. Прошлое – молодость героя, любовь и надежды на счастье, а также и безумие в течение двенадцати лет после случайного падения с лошади, неожиданное выздоровление и разыгрывание в течение восьми лет роли императора Генриха IV. Уход от действительности в иллюзию обусловлен в пьесе конфликтом героя со светским обществом, к которому он прежде принадлежал. Когда герой, выздоровев, узнал о том, что его соперник в любви, подстроивший несчастный случай, овладел сердцем его возлюбленной, он решил не возвращаться в общество, в котором для него уже не было места. Добровольно надетая «маска» Генриха IV сделалась своеобразной формой самозащиты и вместе с тем протеста и насмешки, превратив карнавальный маскарад в реальность его нового бытия.

Настоящее – встреча мнимого Генриха IV через двадцать лет с его бывшей возлюбленной и ее юной дочерью, невестой племянника главного героя, а также с его соперником и врагом и доктором, готовым вылечить больного. Все они появляются перед Генрихом IV переодетыми в костюмы исторических лиц той эпохи. Как будто их миссия гуманна – они хотят помочь главному герою обрести рассудок. Однако, вскрывая противоречие между видимостью и сущностью действующих лиц, Пиранделло показывает Генриха IV мудрецом и философом, а настоящими безумцами тех, кто хочет вернуть его в общество с его лицемерной моралью. В тронном зале разыгрывается настоящий спектакль, в котором сталкивается «игра» двух сторон: добровольная, но вынужденная игра Генриха IV и игра – светская забава приехавших на виллу, которые подвергают его жестокому испытанию: вместо портретов Генриха IV и его возлюбленной в молодости в рамы встают племянник главного героя и его невеста. В этот кульминационный момент развития действия Генрих IV вынужден сбросить «маску», чтобы разоблачить обман. Он показывает свое истинное лицо одинокого и страдающего человека и мстит за себя, пронзив шпагой своего противника. Акт возмездия, совершенный через двадцать лет, является нравственной победой главного героя, но он и углубляет его драму – теперь он уже всегда должен носить свою «маску», уйдя в созданный им иллюзорный мир.

В «Генрихе IV» нет развития характера главного героя. Его внутренняя жизнь раскрывается с помощью идеи «лица» и «маски» и предстает как сумма душевных состояний, изменчивых и непостоянных, в зависимости от ситуаций, в которых оказывается герой. Важную роль в самораскрытии персонажей драмы Пиранделло отводит парадоксу: приехавшие на виллу гости разыгрывают исторических лиц XI в., что ставит их в положение шутов, а мнимый сумасшедший, понимая это шутовство, издевается над ними и даже выходит из своей роли. Второй парадокс – замена портретов живыми людьми – приводит к

обратному результату: умственно здоровый человек, отомстив за себя, навсегда надевает «маску» безумия. Парадоксы в пьесах Пиранделло – это не только наследие театра «гротеска», для которого главным была пародия на современное общество и буржуазную семью, в парадоксах Пиранделло получили отражение трагизм действительности и противоречивость сознания его времени.

В пьесах Пиранделло нет не только характера, но и развития действия в его традиционном понимании. Внимание переносится с событий на «словесное» действие, которое движет пьесу по замкнутому кругу, возвращаясь всякий раз к тому, с чего оно началось. В новой структуре пьесы нашел свое воплощение взгляд писателя на бесполезность всяких усилий самовыражения персонажей. Таким образом, «юморизм» в драматургии Пиранделло – это прежде всего анализ внутреннего мира персонажей, приводящий к разрушению иллюзий, а также соединение в пьесе трагических и комических черт.

В утверждении философского содержания драмы и новых требований режиссуры на итальянской сцене важную роль сыграл основанный Пиранделло в Риме в 1925 г. «Театро д'арте» («Художественный театр»). Деятельность театра продолжалась три года; его гастрольные поездки по Европе и в Латинской Америке принесли Пиранделло мировое признание.

Завершают драматургическую деятельность Пиранделло пьесы, которые он сам назвал «мифами»: «Новая колония» (1928), «Лазарь» (1929), «Горные великаны» (1936). Его обращение к «мифам» продиктовано стремлением обрести нравственно-философскую опору в фашистской Италии, в которой он все больше чувствовал одиночество. Это и время глубоких раздумий писателя над судьбами искусства в современном мире.

Жанр театральной притчи, к которому обратился драматург, по его мысли, открывал больше возможностей изображать вечные и неизменные человеческие чувства, которые приобретали очертания мифологических аллегорий и символов. В пьесе «Новая колония» Пиранделло проводит идею о невозможности социального переустройства общества на примере неудачной попытки начать новую жизнь на одиноком острове нескольких представителей «дна». Пьеса «Лазарь» – притча о потере и обретении веры и о духовном обновлении персонажей. Через всю пьесу проходит противопоставление догмы (ее олицетворяет огромное распятие) и жизни (ее символом является зеленый кипарис). Наконец, последняя, неоконченная пьеса «Горные великаны» как бы подводит итог творческому пути писателя. В ней в форме иносказания Пиранделло воплотил свои заветные мысли о роли и назначении искусства в современном мире. В контексте творчества Пиранделло «Горные великаны» завершают тему «Шести персонажей в поисках автора», но теперь эта тема раскрыта иначе: «чудо искусства» – это не сам спектакль, а фантазия, которая его создает. Однако это «чудо» – живую поэзию – нельзя соединить с реальной действительностью, в которой господствует грубое физическое начало, лишенное духовности, которое олицетворяют Горные великаны и их слуги (очевидный намек на фашистскую правящую верхушку). Преодолеть

противоречие искусства и жизни Пиранделло намеревался (по свидетельству его сына Стефано) с помощью могучего масличного дерева, которое должно было воплотить важную для писателя мысль о вечности прекрасного, высшим выражением которого является искусство, и самой жизни.

Дорогой для Пиранделло образ дерева – олицетворение жизни – связан и с его посмертной судьбой: прах писателя покоится возле величественной сосны в «Хаосе», в окрестностях Агридженто, где он когда-то увидел свет.

Творчество Пиранделло развивалось в переломный для итальянской истории и культуры период. Работая на стыке двух эпох, Пиранделло одним из первых ощутил и запечатлел в своих произведениях кризисный, трагический характер своего времени. Он был новатором в области новеллы, романа и драмы. Вершиной его творчества, безусловно, является его философский театр, в котором воплотились смелость мысли и творческая оригинальность. Он добивался максимального воплощения своей идеи «драмы-спектакля» как театрального действия, в которое вовлечен и зритель. От актеров Пиранделло требовал полного слияния с героями пьесы, внутренней напряженности и эмоциональности при речевой передаче текста, тщательного следования авторским ремаркам в развитии действия и в поведении персонажей, использования мнимой импровизации и приема «сцены на сцене». Все эти средства режиссерски подчинялись одной цели – утверждению реальности театральной иллюзии и силы искусства. Новаторские идеи Пиранделло и новые принципы режиссуры во многом определили пути развития европейской драматургии XX века.

И. Володина